

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ГОД ИЗДАНИЯ

VII

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1958

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Ажманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. П. Григорьев (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов
(и. о. зам. главного редактора), Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Е. А. БОКАРЕВ

СМЫЧНОГОРТАННЫЕ АФФРИКАТЫ ПРАДАГЕСТАНСКОГО
ЯЗЫКА

(Опыт реконструкции)

К дагестанской ветви кавказской семьи языков относится около тридцати языков, большинство которых представляет собой совокупность ряда диалектов, иногда очень сильно отличающихся друг от друга. Некоторые из этих языков (например, аварский, даргинский, лакский, лезгинский) изучаются уже давно, и языковедение располагает здесь довольно значительными материалами: текстами (все эти языки являются литературными), грамматиками, словарями. Но и по этим языкам (особенно по их диалектам) нужно еще многое сделать для того, чтобы сравнительно-историческое их исследование было в полной мере плодотворным.

Однако большинство дагестанских языков лишь недавно стало объектом углубленного изучения, а некоторые из них до последнего времени почти совершенно не были известны науке. За последнее время сделано многое в области исследования бесписьменных языков и диалектов Дагестана. Но лишь немногие из трудов этого рода опубликованы, большая же часть их до сего времени не стала еще достоянием научно-лингвистической общественности.

Генетическое родство дагестанских языков предполагалось уже с того времени, когда началось первоначальное собирание материалов по этим языкам¹. П. К. Услар, трудами которого по горским языкам Дагестана положено начало их углубленному и систематическому изучению, рассматривал свои описательные работы как подготовительные и предполагал, что описание этих языков должно быть завершено трудами сравнительно-исторического характера². Единичные сопоставления отдельных фактов дагестанских языков производились Усларом и языковедами, изучавшими эти языки после него — А. М. Дирром, Н. Я. Марром и др. Первые систематические исследования дагестанских языков в сравнительно-историческом плане провел Н. С. Трубецкой, которому удалось сделать ряд важных наблюдений и выводов³. Сводный очерк сравнительно-исторической фонетики

¹ См. об этом: М. Я. Немировский, Из прошлого и настоящего кавказской лингвистики, «Изв. Ингушского научно-исследоват. ин-та [краеведения]», вып. 1, Владикавказ, 1928; Е. А. Бокарев, Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков, ВЯ, 1954, № 3.

² Письмо П. К. Услара к А. П. Берже от 26 марта 1859 г., в кн.: П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языковедение. II, Тифлис, 1888, стр. 7. О деятельности П. К. Услара см.: А. С. Чикобава, П. Услар и вопросы научного изучения горских иберийско-кавказских языков (К 80-летию со дня смерти), сб. «Иберийско-кавказское языковедение», VII, Тбилиси, 1955; Ю. Д. Дешериев, Значение научного наследия П. К. Услара для советского кавказоведения, ВЯ, 1956, № 3.

³ См. N. T r o u b e t z k o y, Les consonnes latérales des langues caucasiques-septentrionales, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. XXIII, fasc. 3, 1922; N. T r o u b e t z k o y, Studien auf dem Gebiete der vergleichenden Lautlehre der nordkaukasischen Sprachen, «Caucasica», fasc. 3, Leipzig, 1926; е г о ж е, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitschr. für die Kunde des Morgenlandes», Bd. XXXVII,

дагестанских языков дал французский исследователь Р. Лафон, который систематизировал и значительно дополнил наблюдения и выводы Н. С. Трубецкого¹. Из зарубежных ученых сравнительно-историческим изучением дагестанских языков занимался также Ж. Дюмезиль. Однако он скептически относился к возможности установления строгих фонетических соответствий в кавказских языках и исследовал преимущественно морфологию, основываясь лишь на приблизительном фонетическом сходстве сопоставляемых морфологических фактов².

Плодотворно разрабатывались вопросы сравнительно-исторической фонетики и грамматики кавказских языков в советской лингвистике. Особенно большая работа проводилась тбилисскими языковедами во главе с А. С. Чикобава. Сравнительно-историческое изучение дагестанских языков развернулось также в научных учреждениях Махачкалы и Москвы. Основное внимание, естественно, уделялось сравнительному изучению отдельных групп ближайшерадственных языков с тем, чтобы в дальнейшем можно было перейти к более широкому охвату языков, генетически менее близких друг к другу. Работ такого рода появилось уже немало и еще большее число их ждет своего опубликования. Перечислим некоторые из них, не останавливаясь на тех, которые посвящены частным вопросам. Исследованию соответствий в области консонантизма языков аваро-андо-цезской группы посвящена коллективная работа Т. Е. Гудава, Д. С. Имнайшвили, Э. А. Ломтадзе, З. М. Магомедбековой и И. И. Церцвадзе³. Соответствия в области гласных цезских языков освещены в докладах Э. А. Ломтадзе и Д. С. Имнайшвили⁴. Звуковым соответствиям в цезских языках посвящен также специальный раздел в исследовании автора настоящей статьи⁵. Закончен большой труд Ш. И. Микаилова о диалектах аварского языка, рассматриваемых в сравнительно-историческом плане. Даргинско-лакским связям посвящена специальная статья Ш. Г. Гауриндашвили⁶, а аваро-лакским — доклад И. И. Церцвадзе⁷. Вопрос о звуковых соответствиях в лакском и других

Wien, 1930; е г о ж е, Die Konsonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen, «Caucasica», fasc. 8, 1931; е г о ж е, Zur Vorgeschichte der ostkaukasischen Sprachen, «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937)», Paris, 1937.

¹ R. Lafon, *Études basques et caucasiennes*, «Acta Salmaticensia», Filosofia y letras, t. V, № 2, Salamanca, 1952.

² G. Dumézil, Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du nord, Paris, 1933; е г о ж е, Morphologie comparée et phonétique comparée. A propos des langues caucasiennes du nord, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. XXXVIII, fasc. 1, 1937.

³ Т. Е. Гудава, Д. С. Имнайшвили, Э. А. Ломтадзе, З. М. Магомедбекова, И. И. Церцвадзе, О звуковых соответствиях в языках аварско-андийско-дидойской группы (Тезисы), «III (IX) Научная сессия Ин-та языкознания [АН ГрузССР]. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1952.

⁴ Э. А. Ломтадзе, Соответствия между гласными звуками в дидойской группе дагестанских языков (напучинско-гунаибский, хваршиянский, гинухский, дидойский), «Сообщения АН ГрузССР», т. XVII, № 1, 1956 [этот доклад под названием «Соответствия между гласными звуками в языках и наречиях дидойской группы дагестанских языков» был прочитан на VI (XII) Научной сессии Ин-та языкознания АН ГрузССР в июне 1955 г.]; Д. С. Имнайшвили, Некоторые закономерности изменения гласных под влиянием соседних согласных в дидойском, гинухском и хваршияском языках, «VI (XII) Научная сессия Ин-та языкознания [АН ГрузССР]. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1955.

⁵ См. Е. А. Бокарев, Цезские (дидойские) языки Дагестана. Опыт сравнительно-исторической характеристики. Докт. диссерт., М., 1954.

⁶ Ш. Г. Гауриндашвили, О лакско-даргинских звуковых соответствиях, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», VI, 1954.

⁷ И. И. Церцвадзе, О лакских соответствиях аварским латеральным согласным, «XIV Научная сессия Ин-та языкознания [АН ГрузССР]. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1957.

Дагестанских языках подробно освещается в неопубликованной еще работе С. М. Хайдакова о лакской лексике. Близок к завершению совместный труд Е. А. Бокарева, Ю. Д. Дешериева и Б. Б. Талибова по сравнительно-историческому изучению языков лезгинской группы. Следует, наконец, указать и на работу Ю. Д. Дешериева по составлению сравнительной грамматики вейнахских языков, которые хотя и не могут быть включены в группу дагестанских языков, но настолько близки к последним, что легко сопоставляются с ними при сравнительно-историческом изучении тех и других языков.

При попытках исторически осмыслить те или иные явления в отдельных языковых группах исследователь вынужден часто выходить за пределы непосредственно изучаемой группы языков с тем, чтобы создать более широкую историческую перспективу. Так, например, изучение аффрикат в лезгинских языках потребовало от автора настоящей статьи параллельного изучения этих же звуков в других группах дагестанских языков, чтобы можно было сделать выводы о фонологической системе пралезгинского языка и о фонетической характеристике отдельных фонем, входящих в эту систему.

В настоящее время уже и можно и нужно изучать не только отдельные группы дагестанских языков, но и всю дагестанскую ветвь кавказских языков в целом. Несмотря на то, что для решения ряда отдельных вопросов материала еще собрано недостаточно, все же можно уже теперь сделать ряд выводов о характере прадагестанского языка и об историческом пути развития отдельных дагестанских языков и языковых групп.

Рассмотрим звуковые соответствия в области смычногортанных аффрикат в различных дагестанских языках, попытаемся восстановить исходную систему этих аффрикат прадагестанского языка и на основе достигнутого выявить трансформацию данной системы в отдельных дагестанских языках.

*

В области негеминированных смычногортанных переднеязычных аффрикат ζl и ζl дагестанские языки мало отличаются друг от друга и сохраняют в большинстве случаев исходный звук без перемен. Те незначительные изменения, которые мы можем наблюдать, в основном, сводятся к взаимной мене свистящих и шипящих аналогов этих аффрикат. Примеры¹:

«огонь» — аварск. ζla , анд. ζla , цезск. ζlu , лакск. ζlu , дарг. ζla , лезг., рут. ζlaj , таб., аг. $\zeta laj/\zeta la$, цах., буд., кр. ζla , хин. ζla^b , арч. $o\zeta l$, бабб., чеченск. ζle ;

«десять» — аварск. $an\zeta l$, анд. $g\zeta lo$, цезск. $o\zeta lu$, лакск. $a\zeta l$, дарг. $ve\zeta la$, лезг. ζlu , таб. $ji\zeta lu$, аг. $u\zeta lu$, рут., цах., кр. $ji\zeta ly$, хин. jaz , арч. $vi\zeta la$, уд. $vi\zeta l$, бабб. $it\zeta ml$, чеченск. imt .

¹ В статье, кроме общепринятых, имеются следующие условные сокращения лезгинских языков и диалектов: аг. — агульский, акуш. — акушинский диалект даргинского языка, анд. — андийский, арч. — арчинский, авх. — ахвахский, ахт. — ахтынский диалект лезгинского языка, бабб. — баббийский, ботл. — ботлхский, буд. — будухский, гуз. — гузвизский, кар. — каратинский, конх. — конхидатинский диалект андийского языка, кр. — крызский, мун. — мувинский диалект андийского языка, рикв. — рикванинский диалект андийского языка, рут. — рутульский, таб. — табасаранский, уд. — удинский, хв. — хваршинский, хин. — хиналугский, цах. — цахурский, цуд. — цудахарский. Примеры по андийским языкам и диалектам нами берутся, в основном, из статьи И. И. Церцадзе «Об одном литературном согласном и соответствующих ему рфлексас в аварско-андийско-дидойской группе дагестанских языков» («Сообщения АН ГрузССР», т. XIII, № 7, 1952); примеры по рикванинскому диалекту — из работы Я. Сулейманова «Некоторые фонетические особенности рикванинского говора андийского языка» («Уч. зап. [Ин-та истории, языка и лит-ры им. Г. Цадасы Дагест. филиала АН СССР]», т. III, Махачкала, 1957).

•	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
•	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI
	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI

Таким образом, для прадагестанского языка¹ можно восстановить негеминированный смычногортанный аффрикат *цI*, который без изменения сохранился почти во всех дагестанских языках и лишь в хиналугском перешел в шипящий аналог *цI* или *з*, а в войнахских языках в конечном положении дал *mI/mI/mm*.

Можно привести аналогичные примеры, которые наглядно показывают, что в прадагестанском языке существовал и шипящий негеминированный смычногортанный аффрикат *цI*, который также сохранился без изменений почти во всех дагестанских языках:

«блоха» — аварск. *цIетI*, анд. *цIонни*, цезск. *цIики*, лакск. *цIака*, дарг. *цIина*, лезг. *цIумI*, таб. *цIуд*, аг. *цIуд*, рут. *цIит*, цах., арч. *цIин*, кр., буд. *цIуд*, хин. *цIуьт*;

«девять» — аварск. *ичI-*, анд. *гьочI-*, цезск. *очI-*, лакск. *урчI-*, дарг. *урчI-*, лезг. (ахт.) *вучIу-*, таб. *вучIу-*, аг. *йерцIу-*, рут. *вучIу-*, цах. *йуь-цIуь-*, кр., буд. *вичIу-*, арч. *учIа-*, хин. *йоз*.

•	аварск.	анд.	ц. св.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
•	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	—	—	—
	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	цI	—	—	—

В приведенных примерах лишь в даргинском и агульском мы встречаем вместо *цI* его свистящий аналог *цI* и в хиналугском — *з*.

В прадагестанском языке существовали также и геминированные смычногортанные переднеязычные аффрикаты (*цIцI* и *цIцI*), которые в современных дагестанских языках дали сильно отличающиеся друг от друга рефлексы, к тому же меняющиеся в зависимости от своей фонетической позиции. Рассмотрим вначале рефлексы конечного *цIцI*:

«гумно» — аварск. *гьочIцIо*, анд. *гьинцIцIу*, лакск. *ттарациIалу*, лезг. *рат*, таб. *рацц*, аг. *ратI*, рут. *раьт*, цах. *атта*, хин. *роцI*, арч. *цIцIу*, уд. *эцI*;

«вошь» — аварск. *нацIцI*, анд. *ноцIцIи*, цезск. *ноци*, лакск. *нацI*, дарг. (цуд.) *низ*, дарг. (акуш.) *нер*, лезг. *нет*, таб. *ницц*, аг. *нетI/нетт*, хин. *нимцI*, арч. *нацI*, уд. *неци*, бацб. *мацI*, чеченск. *меза*.

•	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.	
•	цIцI	цIцI	цIцI	ц	цI	рь	т	цц	mI	т	тт	—	—	цI	цIцI	цI	цI	з
	цIцI	цIцI	цIцI	ц	цI	рь	т	цц	mI	т	тт	—	—	цI	цIцI	цI	цI	з

¹ Точнее — для восточнокавказского праязыка, так как здесь приводятся и примеры из войнахских языков, которые не входят в число дагестанских, а только примыкают к ним.

Анализ приведенных примеров показывает, что только аварский и андийские языки сохранили исходный геминированный аффрикат tʃtʃI ; в лакском, хиналугском, арчинском (в конечном положении) и бацбийском языках tʃtʃI совпало с негеминированным tʃI ; в лезгинском и рутульском tʃtʃI , утрав спирантный элемент, дало придыхательное m , а в агульском — непридыхательное mt/mI ; в цезских, табасаранском и удинском утеряна смычногортанность, в результате чего в цезских языках возникло tʃ , а в табасаранском и удинском — $\text{tʃtʃ}/\text{tʃtʃ}$; в чеченском и цудахарском диалекте даргинского языка утерян смычный элемент, в результате чего получилось z ; наконец, в акушинском диалекте даргинского языка образовался сложный рефлекс p , т. е. p , сопровождаемое в межвокальном положении гортанной смычкой.

Иначе сложилась судьба tʃtʃI в начале слова:

«коза» — аварск. $\text{tʃI}\text{tʃe}$, анд. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{tʃa}$, хв. tʃan (цезск. tʃan), лакск. $\text{tʃI}\text{tʃu}$, лезг., кр. $\text{tʃe}\text{z}$, таб., рут. $\text{tʃI}\text{z}$, аг. $\text{tʃe}\text{zI}$, цах. $\text{tʃe}\text{z}$, хин. $\text{tʃI}\text{ol}$, арч. $\text{tʃI}\text{tʃe}\text{I}$, бацб. $\text{tʃI}\text{tʃu}$.

*	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
tʃtʃI	tʃtʃI	tʃtʃI	tʃ	tʃI	—	tʃI	tʃI	tʃI	tʃI	tʃI	tʃI	—	tʃI	tʃtʃI	—	tʃI	—

В аварском, андийских, цезских, лакском, хиналугском, арчинском и бацбийском языках рефлексы tʃtʃI в конечном и начальном положении не отличаются друг от друга, в остальных же языках отличия их существенны: в лезгинском и рутульском *tʃtʃI в конечной позиции дало m , а в начальной — tʃI , в табасаранском — соответственно tʃ и tʃI , в агульском и цахурском — mt и tʃI . Рассмотрение рефлексов tʃtʃI в конечной позиции также подтверждает положение о том, что в прадагестанском языке существовало фонологическое противопоставление между геминированными и негеминированными аналогами смычногортанных свистящих аффрикат tʃtʃI и tʃI , что сохранилось из современных дагестанских языков лишь в аварском, андийских, частично в арчинском и цезских.

Рассмотрим также рефлексы лабиализованного геминированного tʃtʃI : «мя» — аварск. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{ar}$, анд. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{er}$, цезск. tʃI , лакск. $\text{tʃI}\text{a}$, дарг. (акуш.) tʃu , дарг. (пуд.) tʃu , лезг. mIvar , таб. $\text{tʃe}\text{ur}$, аг. mtur , рут. dur , цах. do , кр. tar , буд. tur , хин. $\text{tʃI}\text{u}$, арч. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{or}$, бацб., чеченск. $\text{tʃI}\text{e}$;

«пупок» — аварск. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{ino}$, гуыз. $\text{tʃ}\text{b}-\text{mI}\text{or}$, лакск. $\text{tʃI}\text{un}$, лезг. mIvan («молозиво»), цах. dan , кр. $\text{tʃI}\text{u}\text{mur}$, хин. $\text{tʃI}\text{um}$, арч. $\text{tʃI}\text{tʃI}\text{an}$, уд. $\text{tʃI}\text{an}$, чеченск. $\text{tʃI}\text{an}$.

*	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
tʃtʃI	tʃtʃI	tʃtʃI	tʃ	tʃI	z	mIe	tʃe	mt	t	t	t	t	tʃI	tʃtʃI	tʃI	tʃI	tʃI

Обращает на себя внимание, что лабиализованное tʃtʃI дает своеобразные, отличные от приводившихся выше рефлексы в даргинском, лезгинском, табасаранском, рутульском, цахурском, частично в агульском, причём в ряде языков сохранилась исходная лабиализация, в других она исчезла, вызвав соответственную лабиализацию последующего гласного,

и, наконец, в третьих исчезла бесследно, если не считать своеобразного рефлекса самого лабиализованного согласного.

Аналогичным образом устанавливается наличие в прадагестанском языке геминированного *чIчI*, отличного от негеминированного *чI*, хотя слов, подтверждающих наличие этого геминированного аффриката, гораздо меньше:

«крапива» — аварск. *мичIчI*, анд. *мичIчI*, гуыз. *мич*, лакск. *мичI*, лезг. *мидж* («съедобная трава»), таб. *варджи*, кр., буд. *медж*, хин. *маьI*, уд. *мечч*, баб. *митIмI*, чеченск. *митт*.

В межвокальном положении судьба *чIчI* несколько иная:

«правый» — лакск. *урчIу*, анд. *гьанчIчIул*, лезг. *эрчIи*, таб. *арчул*, аг. *журджал*, рут. *гьарчед*, арч. *орчI*, уд. *ачча*, чеченск. *аьтту*.

	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	баб.	чеченск.
<i>чIчI</i>	<i>чIчI</i>	<i>чIчI</i>	<i>ч</i>	<i>чI</i>	—	<i>чI</i> <i>дэс</i>	<i>чч</i> <i>дэс</i>	<i>дэс</i>	<i>ч</i>	—	<i>дэс</i>	<i>дэс</i>	<i>чI</i>	<i>чI</i>	<i>чч</i>	<i>тIтI</i>	<i>тт</i>

Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, *чIчI* дает отличные от рефлексов негеминированного *чI* рефлексы в аварском, андийских, цезских, лезгинском, табасаранском, крызском и будухском. С другой стороны, в ряде языков рефлексы *чIчI* представляют собой определенную аналогию рефлексам *цIцI*. Особенно показательна аналогичность рефлексов этих геминированных смычногортанных аффрикат в цезских, хиналугском и удинском языках.

Анализ материала аварского и андийских языков показывает, что в этих языках имеется также *цIцI*, иное по своему происхождению — генетически оно оказывается связанным не с исходным смычногортанным аффрикатом, а со звонким аффрикатом *дз*:

«луна» — аварск. *моцIцI*, анд. *борцIцIи*, цезск. *буци*, лакск. *барз*, дарг. (пуд.) *баз*, лезг. *варз*, таб. *ваз*, *вадз*, аг., рут., цах. *ваз*, кр. *ваьз*, буд. *воз*, хин. *вацI*, арч. *бац*, баб., чеченск. *бутт*;

«язык» — аварск. *мацIцI*, анд. *мицIцIи*, цезск. *мец*, лакск. *маз*, дарг. *медз*, лезг., аг. *мез*, таб. *мелз*, рут., цах. *миз*, арч. *мац*, уд. *муз*, чеченск. *мотт*.

	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	баб.	чеченск.
<i>дз</i>	<i>цIцI</i>	<i>цIцI</i>	<i>ц</i>	<i>з</i>	<i>дз</i>	<i>з</i>	<i>дз</i>	<i>з</i>	<i>з</i>	<i>з</i>	<i>з</i>	<i>з</i>	<i>цI</i>	<i>ц</i>	<i>з</i>	<i>тт</i>	<i>тт</i>

Рефлексы *дз* отличны от рефлексов исконного *цIцI*, что и подтверждает наличие этих двух особых фонем в прадагестанском языке. Особенно показательны в этом отношении данные лакского, даргинского, всех лезгинских (за исключением хиналугского), а также баббийского и чеченского языков. Только в аваро-андо-цезских языках (а также в хиналугском) эти две фонемы совпали.

Можно также установить наличие в прадагестанском языке и звонкого *дж*, совпавшего с *чIчI* в аваро-андо-цезских языках:

«ставить, стоять» — аварск. *чIчезе*, анд. *чIчIду* («держатъ»), цезск. *ича*, лакск. *ацIан*, дарг. *хебузес*, лезг. *ажъазас*, аг. *эьузас*, рут. *лузун*, цах. *илгарас*, кр. *кьузридж*, бацб., чеченск. *латтар*¹.

*	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
дж	чIчI	чIчI	ч	цI	з	з	—	з	з	з	з	—	—	—	—	тт	тт

Приведенные звукосоответствия показывают, что в аварском, андийских, цезских, чеченском и бацбийском языках рефлексы *дж* совпали с рефлексами *чIчI*, в языках лезгинской группы и в даргинском — с рефлексом *дз*, а в лакском — с рефлексом *цIцI*.

Интересны соответствия аваро-андо-цезским латеральным аффрикатам в других дагестанских языках, которые в настоящее время латеральных звуков не имеют². В литературе не раз высказывалось мнение, что латеральные в дагестанских языках — вторичного происхождения³. В пределах небольшой журнальной статьи нет возможности рассмотреть проблему латеральных в целом. Однако о латеральных смычногортанных аффрикатах можно с уверенностью сказать, что их существование относится уже к эпохе общедагестанского единства.

Рассмотрим примеры соответствия аваро-андийскому латеральному смычногортанному аффрикату *кьI*⁴ в других дагестанских языках:

«мясо» — анд. *рикьIи*, цезск. *релI*, лакск. *дикI*, дарг. *дивь*, лезг. *йак*, таб. *йикь*, аг. *йакI*, рут. *йак*, кр., буд. *йакь*, хин. *лаькка*, арч. *акьI*, уд. *эжэ*, бацб. *дитэ*, чеченск. *дилх*.

Несколько иные соответствия в положении перед гласным:

«любить» — аварск. *бакьIине*, лакск. *ччан*, дарг. *дигес*, лезг., аг. *кIан*, таб. *ккун*, цах. *ыкканас*, кр. *икаэдж*, хин. *йикьуй*, арч. *кьIан*, уд. *баксун*.

*	аварск.	анд.	цезск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	уд.	бацб.	чеченск.
кьI	кьI	кьI	лI	кI кк чч	ь э	к кI	кк	кI	к	— кк	к	к	кк	кьI	кь	тх	лх

Исходный латеральный смычногортанный аффрикат *кьI* сохранился только в аварском, андийских и арчинском языках; в цезских языках он утратил свою смычногортанность и превратился в подгортанный аффрикат *лI*,

¹ В сопоставляемых словах глагольный корень состоит из одного слога, которому в некоторых языках предшествует локальный преверб.

² Латеральные звуки за пределами аваро-андо-цезских языков имеются также в арчинском языке.

³ В литературе последних лет эта точка зрения высказывалась, в частности, в статье Т. Е. Гудова в «К вопросу о генезисе латерального звука *l* в языках аварско-андийско-дидойской группы и его фонетическом соответствии в картвельских языках» (сб. «Иберийско-кавказское языкознание», VI, 1954).

⁴ Латеральный смычногортанный аффрикат мы обозначаем *кьI*, так как буква *кь*, принятая в практическом аварском алфавите, в других дагестанских алфавитах обозначает смычногортанный вульварный смычный; знак *лI* используется нами для обозначения латерального подгортанного аффриката.

в лакском перешел в смычногортанный заднеязычный *кI//ч*, в агульском — также в *кI*, в лезгинском — в *кI//к*, в табасаранском и хиналугском — в непрдыхательное *кк*, в рутульском, крызском и будухском — в придыхательное *к*, в цахурском — в *кк|к*, в удинском — в увулярное *кэ*, в даргинском в *э//э*, в бацбийском и чеченском — в сочетании согласных *тх* и *лх*. Высказывавшееся предположение о том, что латеральный смычногортанный произошел из смычногортанного заднеязычного, является недостаточно обоснованным, так как *кI* имеет совершенно иную судьбу. См., например:

«сердце» — аварск. *ракI*, анд. *рокIво*, цезск. *рокIу*, лакск. *дакI*, дарг. *уркIи*, лезг. *рикI*, таб. *йукI*, аг. *йиркIе*, рут., цах., кр., буд. *йикI*, хин. *ункI*, арч. *икIе*, уд. *ужк*, бабц., чеченск. *дог*.

Интересны звуковые соответствия так называемого пятого латерального, открытого в ахвахском языке Л. И. Жирковым и независимо от него — З. М. Магомедбековой¹. Это негемнированный смычногортанный аффрикат, аналогичный геминированному *кьI*, известному во всех аваро-андо-цезских языках. Позднее этот пятый латеральный был обнаружен также в каратинском языке (З. М. Магомедбековой), в муниномском и кванхидатлинском диалектах андийского языка (И. И. Церцвадзе)², а также в некоторых диалектах аварского языка — в гидском (Ш. И. Микаиловым)³ и в кахибском (З. М. Магомедбековой).

И. И. Церцвадзе посвятил пятому латеральному специальную статью, где привел соответствия, которые этот звук имеет в различных языках и диалектах аваро-андо-цезской группы. Пятому латеральному в собственно андийском диалекте андийского языка, а также в кванадинском и годоберинском языках соответствует *л*; в гагатлинском, ривнинском и ашалинском диалектах андийского языка, в тукитинском диалекте каратинского языка, в карахском и чохском диалектах — *л'*; в бутлихском языке и карахском диалекте аварского языка, зилоевском и чанковском диалектах андийского языка — *ʔ*; в хунзахском и анцухском диалектах аварского языка — *тI*; в цезских языках — *кьI* и т. д. Приведенные в статье И. И. Церцвадзе материалы со всей очевидностью показали, какое большее значение имеет эта фонема при сравнительно-историческом исследовании языков и диалектов аваро-андо-цезской группы и при реконструкции фонетической системы их праязыка. Несомненно, что существование пятого латерального с полным правом можно возвести по крайней мере к эпохе аваро-андо-цезского праязыка.

Сопоставление аваро-андо-цезских языков с другими дагестанскими далее показывает, что пятый латеральный дает совершенно закономерные звуко-соответствия и во всех других группах дагестанских языков. Так, например, в лакском языке ему закономерно соответствует *кI*; то же соответствие мы находим и в даргинском. Языки лезгинской группы дают или *кь* (лезгинский, рутульский, крызский, будухский) или же *кI* (табасаранский, агульский, цахурский, хиналугский, арчинский). Наличие во всех группах дагестанских языков большого числа слов, обнаруживающих закономерные соответствия пятому латеральному, дают нам полное право возводить этот согласный к эпохе общедагестанского языкового единства.

¹ См. Л. И. Жирков, Ахвахские сказки, «Языки Северного Кавказа и Дагестана. Сб. лингвистических исследований», вып. II, М.—Л., 1949; З. Магомедбекова, Основные морфологические категории ахвахского языка. Канд. диссерт., Тбилиси, 1949; е е ж е, Вопросы фонетики ахвахского языка, сб. «Иберско-кавказское языкознание», VII, 1955.

² См. И. И. Церцвадзе, Об одном латеральном согласном...

³ Ш. И. Микаилов, О некоторых фонетических особенностях южноаварских диалектов, «Труды второй научной сессии [Даг. научно-исслед. базы АН СССР]», Махачкала, 1949.

Приведем некоторые примеры, подтверждающие этот вывод:

«тонкий» — кар. *бетI'ераб*, мун. *бетI'ера*, анд. *белора*, рикв. *бел'ора*, богт. *бе'эра*, аварск. *тIереиаб*, лакск. *кIуьла*, дарг. *букIула*, лезг. *кьелечI*, аг. *кIилеф*, хин. *кIыр*, арч. *кIала*;

«колос» (в некоторых языках — «голова») — кар. *тI'ора*, конх. *тI'ора*, рикв. *л'ора*, анд. *лора*, аварск. *тIор*, цезск. *кьара*, лакск. *чIали* (из *кIали*), лезг. *кьыл*, таб. *кIуа*, аг. *кIил*, рут. *кьуа*, цах. *вукIуа*, кр. *кьыа*, буд. *кьал*, хин. *микIур*;

«пот» — мун. *гьентI'о*, аварск. *гIетI*, лезг. *гьекь*, таб. *амкI*, аг. *гIемкI*, кр., буд. *акь*, арч. *амкI*;

«крыша, веранда» — кар. *тI'ама*, ахв. *тI'аме*, мун. *тI'ом*, рикв. *л'ом*, анд. *лом*, аварск. *тIам*, цезск. *кьло*, гуыз. *кьламе*, лакск. *чIаму* (из *кIаму*), лезг. *кьван*¹.

	ахв.	анд.	богт.	цезск.	аварск.	лакск.	дарг.	лезг.	таб.	аг.	рут.	цах.	кр.	буд.	хин.	арч.	ул.
тI'	тI'	л	ь	кI	тI	кI	кI	кь	кI	кI	кь	кI	кь	кь	кь	кI	—

Таким образом, мы видим, что рассмотренные латеральные аффрикаты также должны быть отнесены к эпохе прадагестанского языка. Лишь впоследствии они были утеряны в большинстве дагестанских языков и сохранились только в аваро-андо-цезских и арчинском языках.

Проведенные разыскания показывают, что наряду со сравнительно-историческим изучением отдельных групп дагестанских языков, которое в настоящее время является главной задачей сравнительно-исторических исследований, вполне возможно и своевременно вести систематические исследования дагестанской ветви кавказских языков в целом в сравнительно-историческом плане, ставя своей целью реконструкцию прадагестанского языка.

Реконструкция общедагестанского праязыка, проводимая одновременно с реконструкцией праязыков тех языковых групп, которые возникли в результате дифференциации общедагестанского языка, имеет большое методическое значение при сравнительно-историческом изучении дагестанских языков. Реконструкция праязыков различных степеней дает возможность установить хронологическое соотношение между историческими процессами, протекавшими в дагестанских языках на различных этапах их исторического развития. Даже при отсутствии памятников древней письменности на дагестанских языках, можно, пользуясь сравнительно-историческим методом, воссоздать в общих чертах их историческое прошлое и наиболее существенные процессы их исторического развития. Сравнительно-исторический метод позволяет устанавливать не только факты относительной хронологии, но, при помощи культурно-исторического анализа общего лексического фонда сравниваемых языков, также устанавливать более или менее уверенно, к каким конкретным историческим эпохам следует отнести существование того или иного языкового единства. Таким образом, сравнительно-историческое изучение младописьменных и бесписьменных языков Дагестана не только принципиально возможно, но уже и теперь в состоянии давать вполне надежные выводы об историческом прошлом дагестанских языков.

¹ Соответствие аварского *тI* лакскому *кI* подробно изучено С. М. Хайдаковым в еще не опубликованной работе о лакской лексике; отмечается оно также в тезисах указанного выше доклада И. И. Ц е р ц в а д з е «О лакских соответствиях аварским латеральным согласным».

Влч. В. ИВАНОВ

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВ CENTUM И SATĚM

Уточнение некоторых вопросов, касающихся развития индоевропейских «гutturальных» фонем, оказывается в настоящее время возможным, с одной стороны, благодаря исследованию неизвестных или недостаточно изученных ранее языков (анатолийских, кафирских и др.), с другой стороны, благодаря применению современных методов фонологии и лингвистической географии.

1. С фонологической точки зрения различие между диалектами типа centum и диалектами типа satem следует понимать как различие между такими индоевропейскими диалектами, где заднеязычным фонемам были противопоставлены лабиовелярные, и такими индоевропейскими диалектами, где заднеязычными были противопоставлены палатальные фонемы. Поэтому традиционное понимание языков centum с фонологической точки зрения является удовлетворительным, тогда как часто встречающиеся определения языков satem, как таких языков, где палатальные превращаются в спиранты или аффрикаты (или в свистящие и шипящие), следует признать совершенно неудовлетворительными. Эти традиционные определения подменяют фонологическую причину явления его фонетическим следствием. Совершенно очевидно, что в диалектах типа satem первоначально фонологически существенным было противопоставление велярных и палатальных фонем; фонетические средства, при помощи которых осуществлялась дифференциация этих фонем в отдельных диалектах, с фонологической точки зрения имеют второстепенное значение и становятся существенными лишь тогда, когда благодаря спирантизации палатальных изменяются соотношения между фонемами (см. ниже о соотношении между ассимиляцией и изменением *s*). Этот вывод можно подтвердить типологическими сопоставлениями в языках, где существование фонологического противопоставления велярных и палатальных предшествовало позднему фонетическому изменению палатальных. Это имело место, например, в древнеанглийском языке¹, славянских языках² и т. п.

На необходимость фонологического уточнения традиционной характеристики языков satem обратил внимание в своей последней монографии Е. Курилович, показавший, что более древнее (общиндоевропейское) явление палатализации не следует смешивать с ассимиляцией, по-разному протекавшей в разных индоевропейских диалектах³. Однако Е. Курило-

¹ Ср. А. И. Смирницкий, Вопросы фонологии в истории английского языка, «Вестник МГУ», 1946, № 2, стр. 87—88.

² См. R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 2, Prague, 1929, стр. 19 и 31—32; Н. Ван-Вейк, К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода, «Slavia», ročn. XIX, seš. 3—4, 1950, стр. 308—309; ср. F. Mareš, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», ročn. XXV, seš. 4, 1956, стр. 477.

³ J. Kurýłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 371—372.

вич ограничился приведением чисто фонологических доводов в пользу этой точки зрения. Между тем она может быть подтверждена и анализом данных отдельных диалектов, на что впервые обратил внимание В. Пизани¹. Но в работах Пизани, во-первых, использованы далеко не все данные, которые можно привести в настоящее время благодаря открытию ранее неизвестных фактов, во-вторых, отсутствует фонологическая интерпретация рассматриваемых явлений.

Здесь, как и во многих других случаях, оказывается необходимым объединение методов и результатов двух направлений современной индоевропеистики, до сих пор развивающихся независимо друг от друга: структурного, которое устанавливает относительную хронологию истории индоевропейских диалектов путем применения методов современного структурного описания языковой системы, и географического, основывающегося прежде всего на исследовании пространственных соотношений. Лишь сочетание этих методов и привлечение вновь открытых фактов может позволить воссоздать реальную картину развития индоевропейских диалектов в пространстве и времени (а не вне пространства и вне времени, как исследовался праязык в младограмматической индоевропеистике).

2. Для доказательства того, что диалекты *satəm* характеризуются фонологическим противопоставлением веларных и палатальных (а не однотипным фонетическим изменением палатальных в сибиланты), чрезвычайно важно, что для отдельных диалектов *satəm* оказывается возможным реконструировать смычные палатальные как продолжение индоевропейских палатальных. В этом отношении особенно существенны данные арийских (индо-иранских) языков.

Уже давно Меллер и Пизани предположили, что отражение палатальных в виде *ṣ* и *d* в древнеперсидском (ср. др.-перс. *ṣiga* «сильный» при авест. *sura-*, др.-перс. *adam* «я» при авест. *azət* и т. п.) позволяет реконструировать общиранские смычные как продолжение индоевропейских палатальных². Эта точка зрения оказалась вероятной и для всех арийских диалектов в целом, как показали замечательные исследования Г. Моргеншерне по кафирским языкам.

Носители кафирских языков, принадлежащих к числу индо-иранских языков, обитают в крайне труднодоступных горных районах Афганистана. Географическое положение Кафиристана объясняет, почему кафиры были в значительной степени изолированы от своих ираноязычных соседей — мусульман. С этим связано и сохранение древних обычаев и древней религии жителями области, названной мусульманами Кафиристаном — «страной неверных»³. Географические, культурно-исторические и социальные особенности Кафиристана делают очень вероятной гипотезу Моргеншерне о том, что в языках кафиров могли сохраниться некоторые весьма древние черты. Архаичность кафирских языков особенно отчетливо проявляется в отражении палатальных фонем. Фонема, которая для индоевропейских языков *satəm* реконструируется в виде **k̑*, отражается в кафирских языках как *č* (в отличие от близких к кафирским индоарийских

¹ См. литературу, указанную в обзоре В. П и з а н и! «Общее и индоевропейское языкознание», сб. «Общее и индоевропейское языкознание (обзор литературы)», перевод с нем., М., 1956, стр. 137.

² V. P i s a n i, *Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee*, Roma, 1933, стр. 559

³ О быте, обычаях и религии кафиров наглядное представление дают предметы материальной культуры, привезенные из экспедиций Г. Моргеншерне и хранящиеся в Этнографическом музее в Осло. Пользуясь случаем принести благодарность профессору Г. Моргеншерне за любезно сообщенные им сведения о кафирах и их языках.

языков, где * \tilde{h} отражается как \acute{s} ¹, и в отличие от авестийского s и древнеперсидского š ; ср. в кафирском языке вайгали $\acute{s}\acute{i}$ «собака», др.-индийск. $\acute{s}(u)v\acute{a}$, авест. $sp\acute{a}$, род. падеж $s\acute{i}n\acute{o}$. Фонема * \tilde{g} отражается в кафирских языках как z (в отличие от индо-арийских, где \tilde{g} отражается как j); ср. вайгали $\tilde{z}\acute{a}$ «колена», др.-индийск. $j\acute{a}nu$, авест. $\tilde{z}\acute{a}nu$. Фонема * $\tilde{g}h$ отражается в кафирских языках как z , тогда как в древнеиндийском она отражается как h ; ср. вайгали $\tilde{z}\acute{o}$ «сердце», др.-индийск. $h\acute{r}d$, авест. $zar\acute{a}d$. Соответствие между разными индо-иранскими диалектами могут быть представлены следующим образом (см. таблицу:

Реконструированная фонема	Древнеиндийский	Кафирский	Авестийский	Древнеперсидский
* \tilde{h}	\acute{s}	c	s	(s), š
* \tilde{g}	j	z	z	(z), \acute{d}
* $\tilde{g}h$	h	z	z	(z), \acute{d}

На основании отражения * \tilde{g} и * $\tilde{g}h$ можно было бы говорить о большей близости кафирского к авестийскому, тем более что для этих диалектов общим является не только фонетический результат развития, но и фONOлогическое совпадение рефлексов * \tilde{g} и * $\tilde{g}h$, которые в древнеиндийском различаются (в то же время в древнеиндийском совпали в одной фонеме h рефлексы * $\tilde{g}h$ и * $g^{(u)h}$ перед гласным переднего ряда, тогда как в кафирском и авестийском эти рефлексы различны; ср. др.-индийск. $hanti$, кафирск. вайгали $j\acute{a}\acute{a}$ «убивать», авест. $j\acute{a}inti$ «он убивает»). Однако не следует преувеличивать значения фонетической близости результатов развития звонкого и звонкого придыхательного палатальных в авестийском и кафирском. Авестийское развитие ни в коей мере нельзя считать общеиранским, так как древнеперсидский и ряд позднейших близких к нему иранских диалектов² указывает на возможность реконструкции общеиранских палатальных фонем, не являвшихся еще спирантами. В отражении глухой палатальной фонемы факты кафирских языков, где засвидетельствована глухая аффриката, согласуются с данными древнеперсидского языка. Поэтому существование рядом с глухой аффрикатой с звонкого спиранта z в кафирских языках следует объяснить изменением звонкой аффрикаты уже на протяжении истории самих кафирских языков, что подтверждается параллельным рефлексом * $\tilde{g} > j$ в некоторых кафирских языках (в авестийском и других иранских диалектах, следовательно, имеет место параллельное развитие). Это предположение согласуется с общефонетической закономерностью, согласно которой спирантизация звонкого смычного или звонкой аффрикаты осу-

¹ Случай, где * \tilde{h} в кафирских языках отражается как \acute{s} , Morgenstierne объясняет заимствованием из индо-арийского. Например, слово $d\acute{o}\acute{s}$ «десять» в кафирском языке вайгали признается индо-арийским заимствованием (ср. др.-индийск. $das\acute{a}$ «десять»). См. G. Morgenstierne, The Waigali language, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», bd. XVII, Oslo, 1954, стр. 162 и сл. (из указанного исследования взяты и другие приводимые ниже примеры из языка вайгали). Однако нельзя считать полностью исключенной и возможность двойного отражения палатальных (как в ряде других индоевропейских диалектов $sat\acute{e}m$), хотя против этого говорят такие формы, как $du\acute{e}$ «десять» в кафирском языке кати ($c\acute{e}$, а не \acute{s}) и т. п. Подробный анализ данных кафирских языков, относящихся к проблеме палатальных, содержится в статье G. Morgenstierne, Indo-European k in Kafiri, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», bd. XIII, Oslo, 1945.

² Ср. P. Tedesko, Dialektologie der Westiranischen Turfantexte, «Le monde oriental», vol. XV, fasc. 1—3, Uppsala, 1921, стр. 189 (Тедеско принимал традиционный тезис о первоначальности авестийского состояния).

шестьвается раньше, чем спирантизация парной глухой фонемы¹. Следовательно, на основании данных древнеперсидского и некоторых близких к нему иранских диалектов, с одной стороны, и на основании данных кафирских языков, с другой, можно предположить, что в общеарийский период палатальные фонемы отражались в виде среднеязычных смычных. Этот вывод, как показал безвременно погибший талантливый польский индоевропеист З. Рысевич, может быть подтвержден тем, что в исходе древнеиндийских слов, кончающихся на древний палатальный, появляется *-t'*².

Таким образом, данные указанных выше арийских языков позволяют считать, что общеарийским отражением индоевропейских палатальных были смычные фонемы, развившиеся в спиранты и аффрикаты уже на протяжении истории отдельных арийских диалектов. В. Пизани считал, что подтверждением поздней даты ассимиляции палатальных в арийских диалектах являются относительно поздние заимствования, подобные древнеиндийскому *paraśu* «топор»³. Эта гипотеза может быть подтверждена сопоставлением с осетинским *færgæt* «топор» и заимствованным из арийских языков «тохарским А» *porat-* и «тохарским Б» *peret*. В этом осетинском заимствовании и в «тохарском» термине можно видеть отражение периода, когда в арийских диалектах это заимствованное слово произносилось не со спирантом (как в древнеиндийском *paraśu-* и язгульском *paršš*), а со смычным, который являлся продолжением более древнего палатального⁴.

¹ Е. Д. Поливанов, Краткая классификация грузинских согласных, «Бюллетень Средне-Азиатского ун-та», вып. 8, Ташкент, 1925, стр. 116 (ср. Вяч. В. Иванов, Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова, ВЯ, 1957, № 3, стр. 61 и 72); N. van Wijk, Quelques remarques sur les mi-occlusives devenant fricatives, «Acta linguistica», vol. II, fasc. 1, 1940—1941. Этой общезвонической закономерностью можно объяснить и различие между хеттской аффриктой *z* из **t'* и спирантом *š* из **d'*, которое еще Педерсен сравнил с результатами славянской палатализации (см. J. Kurylowicz, Le hittite, «Reports for the Eight International Congress of linguists», vol. II, Oslo, 1957, стр. 294).

² Z. Rysiewicz, Zagadnienie palatalnych w językach dardyjskich, «Studia językoznawcze», Wrocław, 1956, стр. 285—292 (с историей вопроса и библиографией). Ср. интерпретацию конечного *-t'* в работах Е. Куриловича: J. Kurylowicz, L'apophonie en indo-européen, стр. 373; е го же, Indoiranica, «Comptes rendus de la Société des sciences et des lettres de Wrocław», vol. 3, 1948, année III», Wrocław, 1953, Communication № 1, стр. 5 (где признается, что группа *tš* <**ks* является общеарийской, хотя из этого не делается выводов, подобных утверждениям З. Рысевича). Работы Рысевича и Куриловича показывают, что развитие группы **ks* в индо-иранском не противоречит гипотезе Моргеншерна.

³ В. Пизани, Общее и индоевропейское языкознание, стр. 137. Утверждение Пизани о том, что это заимствование бесспорно восходит к средиземноморскому субстрату, нуждается в уточнении: см. Вяч. В. Иванов, Новая литература о диалектном членении общиндоевропейского языка, ВЯ, 1956, № 2, стр. 115—116 (приведенные в названной статье данные еще не были учтены в специальной монографии: W. Wüst, Idg. péleku-«Axt. Beil»: eine paläo-linguistische Studie, Helsinki, 1956; относительно сопоставления с греческим крито-микенским *pe-re-ke-ue* см. теперь также O. Szemérenyi, The Greek nouns in -és, «MNHMН ХΑΡΙΝ. Gedenkschrift P. Kretschmer», II, Wien, 1957, стр. 162).

⁴ Поэтому представляется, что это слово в осетинском не обязательно должно быть заимствованием из древнеперсидского, как полагает В. И. Абаев (Древнеперсидские элементы в осетинском языке, «Иранские языки», 1, М.—Л., 1945, стр. 8—9; е го же, Осетинский язык и фольклор, М.—Л., 1949, стр. 139—140). Характерно, что в древнеперсидских памятниках это слово не засвидетельствовано. Поэтому его можно считать словом какого-либо архаичного иранского диалекта, сохранявшего древний характер арийских палатальных (но не обязательно именно из того диалекта, который развился в древнеперсидский язык). Ср. сходную точку зрения, излагаемую в работе: H. W. Bailey, A problem of the Indo-Iranian vocabulary, «Roznik orientalistyczny», t. XXI, 1957, стр. 68—69 (и примеч. 53). Пользуясь случаем привести благодарность В. И. Абаеву за ценные замечания, высказанные им при обсуждении настоящей работы на заседании кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ.

В настоящее время можно думать, что арийские собственные имена и глоссы в переднеазиатских текстах II тысячелетия до н. э. являются заимствованиями из месопотамского арийского диалекта¹ (а не из индоарийского, как полагали ранее многие ученые). Поэтому значительный интерес для определения абсолютной хронологии фонетического развития арийских фонем, восходящих к палатальным, могло бы представить исследование клинописной передачи этих фонем. Они обычно передаются посредством клинописных знаков, изображающих *z*; ср. клинописное *ra-an-za-* в книге о коневодстве Киккули, соответствующее др.-индийск. *raṅsa-* «пять», иранск. *raṅz-, raṅč-, raṅz-*², клинописное *Mat-ti-u-a-za* (арийское собственное имя, вторая часть которого соответствует др.-индийск. *vāja* «сила победы») и т. п. Если бы эти имена встречались только в хеттской клинописи, можно было бы предположить, что *z* (в хеттском — аффриката) передает арийскую аффрикату, но это допущение наталкивается на трудности, связанные с тем, что аналогичную передачу арийских рефлексов палатальных Кронассер предполагает и в аккадских клинописных памятниках³ (в аккадском *z* является спирантом, а не аффрикатой).

Отражение палатальных фонем в качестве смычных, которое можно реконструировать для арийских диалектов, хорошо согласуется с фактами, обнаруживаемыми в других языках *satəm*. Пизани еще в 1933 г. сопоставил с древнеперсидскими фактами данные албанского языка, где индоевропейское **ǵh* перед гласными переднего ряда дает *dh*⁴. Ввиду того, что албанский язык в настоящее время все чаще сопоставляется с фракийским⁵, а не с плирийским, необходимо подчеркнуть, что и для фракийского языка установлено двойное отражение индоевропейских палатальных, аналогичное их отражению в древнеперсидском⁶. Такое же двойное отраже-

¹ Для доказательства этого положения, высказанного в последнее время А. Камменхубер (A. K a m m e n h u b e r, Zu den hethitischen Pferdertexten, «Forschungen und Fortschritte», 28 Jg., Hf. 4, Berlin, 1954), особенно важно последнее открытие Бейли (см. Н. В. В а и л е у, указ. соч., стр. 64). Бейли показал, что месопотамский арийский коневодческий термин *artana-* «поворот (круг), на котором тренируют лошадей», не имеющий точного семантического соответствия в индоарийском, близко родствен осетинскому *ʒууʒрды* «тренировать лошадь» (см. В. Ф. М и л л е р, Осетинско-русско-немецкий словарь, под ред. и с доп. А. А. Фреймана, т. I, Л., 1927, стр. 233). Это соответствие приобретает особое значение потому, что с исторической точки зрения вполне вероятны связи скифских коневодческих племен с другими арийскими коневодческими племенами, пришедшими в Переднюю Азию, по-видимому, через Кавказ из Северного Причерноморья. В этом отношении очень важна гипотеза Бенвениста об отражении в осетинском (скифском) специального коневодческого значения корня, в других арийских языках не имеющего этого значения (см. об осетинском *домы* «укрощать»: E. V e n v e n i s t e, Homophonies radicales en indo-européen, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 51, fasc. 1, 1955). Вместе с тем эти данные хорошо согласуются с другими открытиями в последнее время фактами, которые свидетельствуют об особом положении осетинского и скифского языков среди других иранских (и в целом арийских) диалектов; см. E. V e n v e n i s t e, Notes avestiques, «Asiatica. Festschrift Friedrich Weller», Leipzig, 1954 (по поводу осетинск. диорек. *инцѣи*; ср. о скифск. *Ἰσζυρος* в книге: L. Z g u s t a, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955, стр. 100); е г о ж е, Études sur la phonétique et l'étymologie de l'ossète, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 52 (1956), fasc. 1, 1957; е г о ж е, Analyse d'un vocable primaire, там же.

² См. о диалектных иранских формах P. T e d e s o, указ. соч., стр. 191 и сл.

³ См. об этой проблеме Н. К р о н а с с е r, Indisches in den Nuzi-Texten, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Bd. 53, Hf. 3 und 4, Wien, 1957, стр. 187 (по поводу сопоставления клинописного *zi-ir-ra-* с ведическим *jīra* «быстрый»).

⁴ V. P i s a n i, указ. соч., стр. 559 и сл.

⁵ См. в особенности Н. В а r i ć, Poreklo Arbanasa u svetlu jezika, «Lingvističke studije», Sarajevo, 1954.

⁶ См.: Д. Д е ч е в, Характеристика на тракийският език, София, 1952, стр. 13 и 56; V. P i s a n i, Thrakisches, «Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung auf dem

ние палатальных предполагается в другом древнем индоевропейском языке Балканского полуострова — «догреческом» или пелазгском¹. Менее ясными являются данные «тохарских» языков. Но принимаемое Эванджелисти развитие индоевропейского **gh* в *ts* перед гласными переднего ряда позволило бы предположить, что и в «тохарских» языках **ǵh* давало в этом положении **dh* (как в албанском), потому что в «тохарском» *ts* совпали индоевропейские фонемы **dh* и **ǵ^h* (в указанном положении)². Не во всех указанных случаях тождество фонетического развития свидетельствует о географических связях между языками. Приведенные факты с достаточной определенностью позволяют сделать вывод, что для диалектов типа *satəm* исходным было состояние, в котором палатальные еще не ассимилировались. Именно поэтому отражение такого состояния (например, в кафирском) следует рассматривать как архаизм, а не как нововведение. В отличие от общих нововведений общие архаизмы не являются веским аргументом в пользу наличия диалектных связей³.

3. Если данные диалектов *satəm*, сохраняющих древнее отражение палатальных до ассимиляции, существенны для реконструкции древнейшего состояния, но не для установления диалектных связей, то данные диалектов, осуществляющих ассимиляцию палатальных, наоборот, имеют значение для лингвистической географии, но не для реконструкции древнейшего состояния. Исследование диалектов, в которых палатальные превращаются в спиранты, позволило Мейе уже в первой его работе о членении индоевропейской языковой области установить, что диалекты, в которых осуществляется это развитие, в то же время являются диалектами, где индоевропейское **s* изменяется в *š*⁴. Значение этого открытия очень велико, так как совпадение двух этих изоглоссов позволяет исследовать данное явление методами структурной диалектологии, учитывающей не только единичные связи диалектов, но и структурные черты, их объединяющие. Фонологический анализ этих явлений был в недавнее время произведен А. Мартине⁵ и Е. Куриловичем⁶. Результаты исследований этих ученых доказывают, что в диалектах индо-иранской и балтийско-славянской языковых областей ассимиляция палатальных была связана с тем, что палатальный в определенных позициях был отождествлен с *s*, унаследованным от общиндоевропейского. Как показал Рысевич, в тех позициях, в которых происходит изменение *s* в *š* в древнеиндийском, древний палатальный в исходе слова отражается как *-k* (а не как *-l*), что подтверждает тождественность условий, влиявших на развитие *s* и на развитие древних палатальных в индо-арийском⁷.

Для того чтобы проверить правильность гипотезы, связывающей ассимиляцию палатальных в диалектах типа *satəm* с развитием индоевропей-

Gebiete der indogermanischen Sprachen», Bd. 75, Hf. 1/2, 1957, стр. 77 (впервые установлено П. Крешмером; P. Kretschmer, *Mythische Namen*, «Glotta», Bd. XV, Hf. 1—2, Göttingen, 1926, стр. 76).

¹ См. Вяч. Вс. Иванов, [реп. на кн.:] W. Merlingen, *Das «Vorgriechische» und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen*, ВЯ, 1955, № 6, стр. 125.

² См. E. E. van Geliisti, *I modi di articolazione indoeuropei nelle palatalizzazioni tocariche*, «Ricerche linguistiche», I, 1950 (см. там же сопоставление с албанскими и древнеперсидскими фактами).

³ Поэтому, например, неправ был Д. Дечев (указ. соч.), когда он приводил двойное отражение палатальных в качестве аргумента о близости фракийского и древнеперсидского языков.

⁴ A. Meillet, *Les dialectes indo-européens*, Paris, 1908, гл. XII.

⁵ A. Martinet, *Concerning some Slavic and Aryan reflexes of IES*, «Word», vol. 7, (1951), стр. 91—95; его же, *Economie des changements phonétiques*, Berne, 1955, стр. 237 и сл.

⁶ J. Kurjowicz, *L'apophonie en indo-européen*, стр. 372—375.

⁷ Z. Rysiewicz, указ. соч., стр. 290.

ского *s* в тех же диалектах, следует рассмотреть особенности рефлексов индоевропейского *s* в тех диалектах, где палатальные не превратились в спиранты. Поэтому исключительную ценность представляют данные кафирских языков, где палатальные в древнейший период самостоятельной истории этих языков отражались (по Моргеншерне) в виде среднесычных смычных, тогда как *s* оставалось без изменения в позиции после *i* (в противоположность тому, что наблюдается в других арийских диалектах, а также в славянском); ср., например, вайгали *dās* «вчера», *iās* «солома», *must* «кулак», кати *mūsə* «мышь». Эти факты, во-первых, подтверждают структурную взаимообусловленность изменения *s* и ассибиляции палатальных в языках *satəm*, во-вторых, свидетельствуют о том, что оба эти процесса не были обще-арийскими¹. Это, однако, не исключает возможности существования диалектных связей между данными явлениями в индоарийских и иранских диалектах, с одной стороны, и сходными процессами в балтийско-славянской языковой области, с другой. Новейшие исследования в области осетинского и других восточноиранских языков, кафирских языков и месопотамского арийского разрушили традиционное представление о строгой замкнутости индо-иранской группы и ее двучленном делении на индийскую и иранскую подгруппы. Арийскую языковую область («арийский простор»; ср. древние названия Хорезма — авестийск. *airyañt vaēθa*, пехлевийск. *Erān-veš*) следует представлять как раздробленную на диалекты обширную территорию, которую частично могли покрывать изоглоссы, распространяющиеся и на другие индоевропейские диалекты². В этом случае нет никакой существенной разницы между тем, как можно понимать отношения между древними диалектами арийской языковой области, и тем, как понимается в современной лингвистике диалектное членение италийско-кельтской языковой области. Характерно, например, что венецкий язык, которому посвящен целый ряд новейших исследований, объединяется некоторыми явлениями только с латинским языком (но не с фалияским, особенно близким к латинскому), тогда как другие черты связывают венецкий язык не с диалектами италийско-кельтской области, а с другими (в частности — германскими и иллирийскими) диалектами западно-индоевропейской языковой области. Точно так же большинство арийских диалектов обнаруживает изменение палатальных и *s*, отличающее их от наиболее архаичных в этом отношении диалектов арийской же области — кафирских, но в то же время объединяющее их с некоторыми другими диалектами *satəm*, в которых имеет место аналогичное преобразование исходной фонологической системы. С точки зрения пространственной лингвистики Кафиристан можно рассматривать как изолированный ареал, сохраняющий архаичные явления не только по отношению к арийским диалектам, но и по отношению к некоторым другим диалектам *satəm*.

4. В диалектах типа *satəm* противопоставление веллярных и палатальных обычно осуществляется во всех позициях. Но в индоевропейской языковой области имеются и такие диалекты, в которых противопоставле-

¹ Поэтому нуждается в уточнении замечание Мартине о времени фонологизации особого варианта *s* в арийском (см. A. M a r t i n e t, *Economie des changements phonétiques*, стр. 238). Не учтена специфика соотношения *s* и палатальных в кафирском и в работе Куриловича (J. K u r i l o w i c z, *L'apophonie en indo-européen*, стр. 373, примеч. 16), где утверждается, что с фонологической точки зрения различие между ведическим и кафирским не существенно.

² Ср. о конденции пространственно-временного континуума диалектов: В. В. И в а н о в и В. Н. Т о н о р о в, *К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков* (IV Международный съезд славистов. Доклады), М., 1958, стр. 5 и сл.

ние велярных и палатальных нейтрализуется во всех позициях, кроме позиции перед *u*.

Как показывают новейшие исследования, такими диалектами являются анатолийские. После расшифровки хеттских иероглифических текстов в языке этих текстов (очень близком к лувийскому языку) был обнаружен ряд слов, где индоевропейский палатальный в позиции перед *u* отражается как \check{s} ¹, например *asüwa*- «лошадь», *šüwan*- «собака», *šurna*- «рог»². Последнее слово особенно важно для определения относительной хронологии этого явления, так как в нем *u* не унаследовано от общеиндоевропейского, как в двух первых случаях, а развилось при специфическом для некоторых анатолийских диалектов превращении слогового сонанта $\check{r} > ur$, аналогичном развитию в догреческом, германских и некоторых других индоевропейских языках. В то же время в иероглифических хеттских текстах встречается слово *dakam* «земля», родственное клинописному хеттск. *tekan*, *tagn*-, «тохарск. А» *tham*, «тохарск. Б» *kem*, греч. $\chi\theta\upsilon\beta$ и т. п., где индоевропейский палатальный не ассимилируется³, так как он не находится перед *u*. Точно такое же соотношение обнаруживается и в клинописном хеттском языке, а также и в других анатолийских языках, где индоевропейский палатальный перед *u* развивается в \check{s} ; ср. клинописное хеттск. *šüna*-, *šunna*- «наполнять(ся)», иероглифическое хеттск. *šüna*-, палаяск. *šüna*-, лувийск. *šüna*-, др.-индийск. *śvayati*, греч. $\chi\upsilon\epsilon\omicron$ и т. п.⁴. В других положениях в клинописном хеттском и других анатолийских языках различие между палатальными и велярными нейтрализовалось еще в доисторический период (поэтому долгое время клинописный хеттский язык безоговорочно относили к числу языков сентум). Как уже отмечалось выше, ассимиляция палатального (например $\check{k} > \check{s}$ в хеттском) с фонологической точки зрения является второстепенным явлением. Поэтому отражение палатальных в хеттском языке и других анатолийских языках, в которых противопоставление велярной и палатальной фонемы осуществлялось только перед *u*, можно сопоставить с отражением этих фонем в тех диалектах сентум (греческом и латинском), где палатальный и непалатальный различаются только в положении перед *u*⁵ (ср. греч. $\dot{\iota}\pi\omicron\varsigma$: $\chi\alpha\tau\upsilon\omicron\varsigma$,

¹ О доказательствах правильности чтения соответствующего знака (которое долгое время оспаривалось) см. P. M e r i g g i, I nuovi frammenti e la storia di Kargamis, «Athenaeum», Nuova serie, vol. 30, fasc. III—IV, Pavia, 1952, стр. 175.

² Относительно последнего слова ср., однако, замечания X. Кронассера (H. K r o n a s s e r, Zum Bildhethitischen, «Archiv orientální», t. 25, 4, 1957, стр. 515, примеч. 10). В целом концепция X. Кронассера представляется крайне сомнительной (ср. в особенности его предположение о заимствованном характере иероглифического хеттского названия «собаки»).

³ Это явление заставило Фридриха, который исходил из принимавшегося до недавнего времени многими учеными тезиса о принадлежности иероглифического хеттского к языкам сатем, усомниться даже в правильности чтения этого слова (см. J. F r i e d r i c h, [ред. на:] «Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung», «Bibliotheca orientalis», Jg. IX, № 2, 1952). Но позднее он вынужден был признать, что это слово принадлежит к одному из наиболее достоверно известных слов языка хеттских иероглифических надписей (см. J. F r i e d r i c h, Hethitisches Wörterbuch, Lief. 4, Heidelberg, 1954, стр. 336). Ср. H. K r o n a s s e r, Zum Bildhethitischen, стр. 514 и 522.

⁴ A. G o e t z e, [ред. на ки.:] J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, «Language», vol. 30, № 3, 1954, стр. 403—405; V. P i s a n i, [ред. на ки.:] J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, «Paideia», anno IX, № 2, 1954, стр. 128; A. K a m m e n h u b e r, Beobachtungen zur hethitisch-luvischen Sprachgruppe, «Revue hittite et asianique», t. XIV, fasc. 58, 1956, стр. 1—4; H. G. G ü t e r b o c k and E. P. H a m p, Hittite *švayaya*-, там же, стр. 22—25.

⁵ Из трех объяснений данных фактов, суммированных в статье: W. S. A l l e n, Some problems of palatalization in Greek, «Lingua», vol. VII, 2, 1958, стр. 131—132, наиболее убедительной представляется точка зрения В. Пизани.

лат. *equus: vapor*). Однако в греческом и латинском языках сочетание палатального и *и* может совпадать с лабиовелярным (двойное $\pi\lambda$ в $\epsilon\pi\lambda\omicron\varsigma$ остается неясным, так как в микенском греческом *i-go* использован обычный знак для лабиовелярного)¹. Между тем в хеттском языке, где сочетания гуттурального и *и* возможно еще не превратились в лабиовелярные² (в отличие от обычных языков *sentum*), сочетание палатального и *и* не совпало с лабиовелярными и развилось в сочетание двух фонем: $\check{s} + u$. Таким образом, эта особенность хеттского и других анатолийских языков может быть объяснена положением этих языков, промежуточным между языками типа латинского, где сочетание палатального и *и*, отличное от сочетания велярного с *и*, отождествлялось с лабиовелярными, и языками типа древнеиндийского, где сочетание палатального с *и* развилось в сочетание двух фонем (др.-индийск. *aśva-*, иероглифич. хеттск. *ašwa-* «лошадь», лат. *equus*).

С языками *satəm*, в которых осуществилась ассибиляция палатальных, анатолийские языки сближаются не только в фонологическом, но и в фонетическом характере сочетаний, отражающих группу палатальный + *и* (где в анатолийских языках, как и в древнеперсидском³, палатальная фонема отождествлена с древним **s*). Вместе с тем в анатолийских языках встречаются отдельные слова, где \check{s} развилось из палатального и не в положении перед *и*; ср. хеттск. *šaša-* «заяц»⁴, родственное др.-индийск. *śaśa-* «заяц» (с ассибиляцией из **śaśa*), сакск. *sahē*, пашту *sōe* (*sōya*), др.-в.-нем. *haso*, прусск. *sasins* «заяц». Но эти слова, по-видимому, следует считать заимствованиями из диалекта, где палатальный превратился в спираント не только в положении перед *и*, но и в других позициях (в то же время *šaša-* не может быть заимствованием из арийского, так как арийский палатальный в хеттской клинописи передавался через *z*, а не через *s*).

Анатолийские языки можно считать южным продолжением обширной группы индоевропейских диалектов, являющихся переходными между языками *sentum* и теми диалектами *satəm*, которые осуществили ассибиляцию палатальных. Устанавливая наличие этих переходных диалектов, В. Порциг утверждал, что в диалектах типа *satəm* встречаются слова с несуществившейся ассибиляцией, тогда как в диалектах типа *sentum* слова с ассибиляцией палатальных не встречаются⁵. Это последнее утверждение является неправильным, о чем свидетельствуют прежде всего данные греческого языка, содержащего целый ряд заимствований из догреческого

¹ Ср. об этом M. Lejeune, *Essais de philologie mycénienne* (II-Les inventaires de roues), «Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes», série 3, t. XXIX, fasc. II, 1955.

² E. P. Hahn, *Les labio-vélaires en indo-européen et en anatolien*, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 50, fasc. 1, 1954; ср. E. H. Sturtevant, E. A. Hahn, *A comparative grammar of the Hittite language*, vol. I, New Haven, 1951, стр. 38—39 и 55. Ср. замечания Куриловича (относительно форм типа $\epsilon\pi\lambda\omicron\varsigma$) о том, что отождествление с лабиовелярным групп гуттуральный + *и* осуществлялось позднее, чем появилась фонологическая категория лабиовелярных (см. J. Kurjowicz, *L'arophonie en indo-européen*, стр. 358).

³ Об особенностях развития сочетания палатальный + **w* в древнеперсидском ср.: G. Morgenstierne, *Indo-European k' in Kafiri*, стр. 226, примеч. 3; R. G. Kent, *Old Persian*, New Haven, 1950, стр. 34.

⁴ Ср. о родственных связях этого слова: V. Pisani [ред. на кн.:], J. Friedrich, *Hethitisches Wörterbuch*, «Paideia», anno VIII, 1953, № 4—5, стр. 309; anno IX, 1954, № 2, стр. 128; J. Kurjowicz, *Le hittite*, стр. 296. Ср. о др.-индийск. *śaśa-* и родственных названиях «зайца»: W. Porzig, *Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets*, Heidelberg, 1954, стр. 197; G. Morgenstierne, *An etymological vocabulary of Pashto*, Oslo, 1927, стр. 66.

⁵ W. Porzig, указ. соч., стр. 72 и сл.

языка, где осуществилась ассимиляция палатальных¹ (ср. выше о двойном отражении палатальных в догреческом).

Анатолийские языки, благодаря своему промежуточному положению, содержат как аномальные слова с осуществившейся ассимиляцией палатальных не только перед *и*, но и в других позициях (например, хеттское *šaša-*), так и аномальные слова, в которых не осуществилась ассимиляция палатального перед *и*. Среди этих последних особый интерес представляет клинописное хеттск. *zama(n)kur* «борода», родственно др.-индийск. *śmañri* «борода»². Отсутствие ассимиляции палатального перед *и* в хеттском вполне согласуется с данными других диалектов переходной зоны; ср. алб. *tjekër* «борода» и литовск. *smakra*³. Очевидно, такая фонетическая трактовка данного слова объединяла все диалекты этой зоны, в отличие от арийских.

Совпадение отражения древнего палатального в диалектах балканской и балтийской переходной зоны и в анатолийских языках можно отметить и в латышск. *kuņa* «сука», словинск. *kuņa* «сука», фракийск. *Καυ-δακω* («душитель псов»), фригийском названии «собаки» и лидийск. *Καυ-δακωλη*⁴. Другое отражение палатального в иероглифическом хеттск. *šuman-* «собака» объясняется наличием последующего *и*, которое отсутствует в родственном лидийск. *Καυ-*. Точно так же различие между иероглифическим хеттск. *šurna* «frog» и клинописным хеттск. *kaṣaṣar* «frog», находящее соответствие в различии русского *серна* и *корова*, литовск. *širna* «серна» и *kaugė* «корова» и т. п.⁵, объясняется наличием в иероглифическом хеттском *и*, которое отсутствует в клинописном хеттском слове. Сопоставление иероглифического хеттск. *šurna-* и клинописного хеттск. *kaṣaṣar* позволяет утверждать, что ассимиляция палатального осуществилась на протяжении истории отдельных анатолийских диалектов в период, следующий за изменением **i > u* в некоторых из этих диалектов⁶. Следовательно, для общепалатального можно восстановить палатальные фонемы так же, как их можно восстановить для общерийского состояния и для древнейшего состояния других диалектов *satem*.

5. То обстоятельство, что в анатолийских языках различаются перед *и* древние веларные и палатальные, тогда как группы гуттуральный *+и*, возможно, еще не превратились в лабиовеларные, служит веским аргументом в пользу предположения Куриловича о вторичном (диалектном) характере лабиовеларных и о большей (но лишь относительно) древности палатальных, возводимых к общендоевропейскому (хотя их фонологиза-

¹ К их числу, возможно, принадлежит ряд слов микенского греческого языка, для написания которых использован знак 85; ср. о словах с этим знаком J. C. H. a. d. w. i. s. k. La représentation des sifflantes en grec mycénien, «Études mycéniennes», Paris, 1956, стр. 89; см. также L. R. P. a. l. m. e. r. A. Mycenaean tomb inventory, «Minos», vol. V, 1957, fasc. 1, стр. 65—66, где предлагается отождествление (впрочем, не вполне убедительное) *se-re-ma* и *σέρμα*, являющегося догреческим названием «озена».

² Ср. об этой этимологии, предложенной Ларшем, Вяч. В. И. в а. н. о. в. Древнеиндийское *asram* «слева, кровь» и хеттское *ēšahri* «слезы», «Языковедские исследования в честь на академик Стефан Младенов», София, 1957, стр. 479.

³ Ср. W. P. o. r. z. i. g. указ. соч., стр. 75.

⁴ Об этих словах см.: Вяч. В. И. в а. н. о. в. Новая литература о диалектном членении общендоевропейского языка, стр. 112, а также E. F. r. a. e. n. k. e. l. Baltische, slavische und iranische Beiträge («Münchener Beiträge zur Slavikunde», Bd. IV, München, 1953, стр. 115), где указаны иллирийские имена, близкие к фракийскому и лидийскому сложным словам.

⁵ Вяч. В. И. в а. н. о. в. О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков, «Вопросы славянского языкознания», вып. 2, М., 1957, стр. 9.

⁶ См. о развитии слоговых сонантов в хеттском: O. S. z. e. m. e. r. é. n. y. i. Hittite pronominal inflexion and the development of syllabic liquids and nasals, «Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», Bd. 73, Hf. 1—2, 1955; J. K. u. r. y. l. o. w. i. c. z. L'apophonie en indo-européen, стр. 226.

ция и объясняется более древними изменениями вокализма¹). Против попыток сведения трех рядов гуттуральных фонем к двум (а в конечном счете — к одному) в последнее время выдвигаются, однако, возражения двойного рода. Во-первых, в особенностях палатализации гуттуральных албанского, армянского и тохарского языков некоторые ученые видят свидетельство того, что в этих диалектах сохранялись все три ряда заднеязычных². Однако эта гипотеза, основанная на данных трех индоевропейских языков, характеризующихся наименее ясным звуковым развитием, никак еще не может считаться подтвержденной во всех деталях. Вторым аргументом, выдвигаемым против теорий, сводящих три ряда к двум (а затем и к одному), является типологическое сопоставление с неиндоевропейскими языками³. Так, У. С. Аллен в конце своей блестящей статьи об абазинском глагольном комплексе высказывает мнение, согласно которому данные абазинского языка, где имеются палатальные, велярные и увулярные смычные, говорят в пользу традиционной реконструкции трех рядов гуттуральных⁴; данными абазинского языка он склонен подтвердить не только традиционную теорию лабиовелярных, но и гипотезу о существовании в индоевропейском лабиоларингального, высказанную еще Суитом и недавно развитую Мартине. Подобные типологические сопоставления легко можно было бы умножить. Не только в северо-западно-кавказских языках, но и в ряде африканских языков можно найти палатальный, велярный и лабиовелярный ряды фонем, причем лабиовелярным соответствуют лабиоларингальные⁵. Однако для установления древности лабиовелярных, помимо фонологической проблемы возможности существования фонологической системы, различающей три ряда заднеязычных согласных, следовало бы изучить вопрос об относительной устойчивости лабиовелярных, являющийся не только фонологическим, но и фонетическим. Именно эта сторона проблемы, как представляется, может оказаться существенной для доказательств гипотезы о позднем возникновении лабиовелярных в индоевропейском. Если предположить, что лабиовелярные существовали уже в общиндоевропейском языке, из этого бы следовало, что лабиовелярные сохранялись во многих диалектах на протяжении нескольких тысячелетий. Между тем история различных языков свидетельствует о том, что лабиовелярные исторически неустойчивы⁶. Это можно подтвердить как примерами из индоевропейских языков *centum*, где лабиовелярные были постепенно устранены (ср. историю древнегреческого, кельтских, оско-умбурского, романских языков, развитие $k^w > p$ в анатолийском диалекте письма из Арцавы⁷ и т. п.), так и примерами из неиндоевропейских язы-

¹ J. K u r t o w i c z, L'apophonie en indo-européen, стр. 356-375. См. там же, на стр. 357, о несостоятельности точки зрения, согласно которой лабиовелярные возникли в более древнюю эпоху.

² См. литературу, приведенную в обзоре В. Пизани (указ. соч., стр. 138).

³ См. В. Пизани, там же, стр. 139.

⁴ W. S. A l l e n, Structure and system in the Abaza verbal complex, «Transactions of the Philological society. 1956», Hertford, 1956, стр. 172—173. См. описание абазинских смычных в книге: А. Н. Г е н к о, Абазинский язык, М., 1955, стр. 45—46; ср. W. S. A l l e n, Some problems of palatalization in Greek, стр. 129 и сл.

⁵ См., например, U. F e y e r, Ein Beitrag zur Lautlehre des Gû-Dialektes der Ewesprache, «Afrikanistische Studien», Berlin, 1955.

⁶ При анализе фонологического развития древнегреческой звуковой системы это неоднократно подчеркивал Е. Д. Поливанов (см., например, Е. Д. П о л и в а н о в, Фонетические конвергенции, ВЯ, 1957, № 3, стр. 80). Но неустойчивость лабиовелярных объясняется не только фонетически, как думал Поливанов, но и фонологически: положением лабиовелярных в системе, содержащей лабиовелярные, велярные и лабиальные.

⁷ Это развитие (ср. *pipit* из $*k^w i k^w i t$ в письме из Арцавы) предполагает монофонематическую трактовку $*k^w$. Однако это не противоречит тому, что группы гут-

ков, например, африканских, где лабиовелярные часто устраняются¹. Если статическая типология позволяет реконструировать особый ряд лабиовелярных фонем, то динамическая типология не позволяет отодвигать время возникновения этого ряда на несколько тысячелетий от того периода, когда были созданы памятники языков, где реально существовали лабиовелярные фонемы².

Рассмотренные выше данные позволяют считать, что древнейшим фонологическим противопоставлением, достижимым с помощью сравнения отдельных диалектов друг с другом, была оппозиция велярных и палатальных фонем (вопрос о внутренней реконструкции одного ряда, расщепившегося на эти два, в настоящей работе не ставился, так как он относится к более древней эпохе истории общиндоевропейского языка). Ассимиляция палатальных фонем и связанное с ней изменение *s* происходили на протяжении истории отдельных диалектов. Сохранение в хеттском и других анатолийских языках различия между велярными и палатальными в положении перед *i*, во-первых, свидетельствует о древности этого различия, во-вторых, подтверждает то, что развитие гуттуральных зависело от судьбы сочетаний гуттуральных фонем и *i*. Это может служить косвенным аргументом в пользу гипотезы о вторичности ряда лабиовелярных.

Таким образом, индоевропейскую языковую область нельзя разделить только на две диалектные группы — группу *satĕm* и группу *centum*. Некоторые части этой области (например, Кафиристан) представляют собой изолированные ареалы, сохраняющие архаичное противопоставление палатальных и велярных. Общие нововведения обнаруживаются в двух диалектных группах: в группе диалектов, осуществивших фонологизацию лабиовелярных и устранение различия палатальных и велярных, и в группе диалектов, осуществивших ассимиляцию палатальных, фонологически связанную с изменением *s*. Некоторые диалекты (в том числе анатолийские) занимают промежуточное положение между двумя этими группами. Следовательно, вместо традиционного двучленного деления индоевропейских языков на группу *centum* и группу *satĕm* нужно признать существование нескольких типов диалектов с переходными говорами между ними.

туральный + *i* еще могли к тому времени отличаться от **k^w* (из **k* перед гласным переднего ряда, т. е. **k^wi* из **ki* и т. п.).

¹ См. о развитии лабиовелярных в языке тви в книге: D. Westerman, Sprachbeziehungen und Sprachverwandschaft in Afrika, Berlin, 1949, стр. 19, примеч. 24 (ср. о лабиовелярных там же, стр. 11—12).

² Палатальные тоже относятся к исторически неустойчивым фонемам, но в древнейший период письменной истории индоевропейских языков они преобразовались почти во всех диалектах, в отличие от лабиовелярных. Это представляется косвенным аргументом в пользу большей (хотя и относительной) древности палатальных.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. ГРИГОРЬЕВ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СТРУКТУРАЛИЗМЕ И СЕМАНТИКЕ

Опубликованная в журнале «Вопросы языкознания» статья С. К. Шаумяна¹ начинает серьезный и важный для советского языкознания разговор о структурализме. До последнего времени в нашей языковедческой литературе господствовал однозначно отрицательный подход к этому направлению. Публиковавшиеся статьи носили односторонне критический характер и обилием отрицательных ярлыков и упрощенных определений отпугивали читателя от серьезного ознакомления с трудами структуралистов. Между тем работа, проделанная структуралистами, давно уже стала научно-историческим фактом, определившим собой целый этап в развитии языкознания. Неоценимой заслугой структурализма перед языкознанием явилось открытие структуры языка как совокупности соотношений между языковыми формами. С открытием структуры языка языкознание обрело, наконец, свой собственный предмет исследования, отличный от предмета исследования логики, психологии речи, истории культуры и других смежных наук. Не менее важной заслугой структурализма следует признать начатую им разработку объективной методики исследования языка, которая кладет конец субъективистским истолкованиям языковых фактов и придает языкознанию характер точной науки.

Опираясь на объективные методы исследования языка, структурализм в последние годы успешно прокладывает себе дорогу в технику, обеспечивая формализацию процессов речи, которая требуется для таких новых отраслей техники, как машинный перевод и техника анализа и синтеза речи. Это проникновение структурализма в технику является весьма знаменательным, если учесть, что техника в наши дни становится пробным камнем языковедческих теорий, важным критерием оценки результатов научно-исследовательской работы и в области языкознания. Ясно, что в этих условиях появление в центральном органе советского языкознания статьи, содержащей откровенно доброжелательную характеристику структурализма, само по себе является отрадным фактом. Статья С. К. Шаумяна «О сущности структурализма», несомненно, будет иметь положительные последствия для развития языкознания в нашей стране. Она заставит многих дать более реалистическую оценку проделанной структуралистами работы, поможет увидеть положительное содержание структурализма за порою ошибочными, а в некоторых случаях и явно идеалистическими высказываниями отдельных его представителей. Статья С. К. Шаумяна в конечном итоге будет способствовать признанию того факта, что критическое усвоение опыта структурализма отвечает научной целесообразности

¹ С. К. Шаумян, О сущности структурализма, ВЯ, 1956, № 5, стр. 38.

и может дать значительные преимущества при решении стоящих перед языкознанием важных практических задач.

Тем не менее редакция журнала поступила правильно, признав статью дискуссионной. Статья С. К. Шаумяна требует серьезного обсуждения не только потому, что самый вопрос о сущности структурализма является весьма сложным и не может быть исчерпан в небольшой работе, но также и потому, что излагаемый в статье взгляд на сущность структурализма является чересчур односторонним и по существу неверным.

*

В качестве главного общетеоретического положения структурализма в статье С. К. Шаумяна неправомерно выдвигается принцип коммутации. В действительности принцип коммутации в структуралистских работах занимает гораздо более скромное место: это лишь методический прием, с помощью которого выявляется различительная функция звуков речи. Универсальную трактовку принципа коммутации С. К. Шаумян, очевидно, заимствовал у Л. Е. Ельмслева, который, хотя практически этого принципа и не применяет, считает его самым основным языковым соотношением и распространяет его действие на все единицы языка, независимо от их протяженности¹.

Следует признать, что идея расширения сферы действия принципа коммутации сама по себе представляется заманчивой. Однако в рамках теории Л. Ельмслева это расширение приводит лишь к ряду противоречий. В частности, уже распространение принципа коммутации на слоги нарушает требование минимального различия между сопоставляемыми формами и таким образом обесценивает этот методический прием. Кроме того, два слога, различающиеся хотя бы одной фонемой, обязательно должны быть признаны разными слогами, независимо от всех других обстоятельств. Иначе говоря, инвариантность слога выявляется не в чередовании значений, а определяется инвариантностью входящих в него звуков. Поэтому проверка слогов на коммутацию практически не имеет смысла. Сомнительной является и возможность распространения принципа коммутации на слово. Проверка на коммутацию, как она применялась до сих пор в структурализме, состоит в регистрации параллелизма в чередовании форм и значений на разных уровнях: форм — на уровне фонем, а значений — на уровне морфем или слов. Значение в этой проверке является действительно лишь вспомогательным средством. Суть явления коммутации состоит в том, что чередование формальных единиц на самом низком уровне (фонем) приводит к чередованию в такой же мере формальных единиц на более высоком уровне (морфем). Происходящая смена значений является лишь показателем смены формальных единиц более высокого уровня. Это иерархическое соотношение чередований, гарантирующее объективность данного методического приема, утрачивается при переносе его на слово. Так, в примере Л. Ельмслева замена датск. *lak* на *læk* представляет собой не параллельное чередование единиц разного уровня, а просто замену одного слова другим. Никаких практических результатов от такой проверки ожидать нельзя.

Нельзя ожидать реального эффекта и от распространения принципа коммутации на содержательную сторону речи. В применении к языковой форме явление коммутации дает в руки исследователя строго объективный критерий функциональной значимости тех или иных формальных признаков. При переносе же этого критерия на значение он лишается объектив-

¹ L. Hjelmslev, *Omkring sprogteoriens grundlæggelse*, København, 1943, стр. 60.

ности, поскольку замена одних значений другими — это такая операция, которая не поддается объективному контролю и, таким образом, постоянно будет служить источником субъективизма в исследовании. Поэтому тезис Л. Ельмслева о необходимости распространения принципа коммутации на содержательную сторону речи может лишь явиться препятствием в деле разработки объективной методики лингвистического исследования, в котором у структуралистов имеются значительные достижения.

Нужно сказать, что и само определение принципа коммутации в работе Л. Ельмслева «Введение в теорию языка» вызывает ряд недоуменных вопросов. В этой работе принцип коммутации определяется как соответствие между корреляцией в плане выражения и корреляцией в плане содержания¹. Остается, однако, неясным, что следует понимать под выражением и содержанием — их «форму» или их «субстанцию». Если при определении принципа коммутации Л. Ельмслев имеет в виду «форму» языка, т. е. то, что С. К. Шаумян называет элементами соотношений, то неясно, как могут участвовать в коммутации варианты, которые, очевидно, не являются элементами соотношений и не относятся к «форме». Если, напротив, имеется в виду «субстанция» языка, то столь же сомнительным становится место инвариантов в коммутации. Кроме того, Л. Ельмслев говорит о коммутации знаков и в то же время определяет знак как двустороннее единство формы содержания и формы выражения. Спрашивается, в каком смысле можно говорить о параллельном чередовании содержаний и выражений знака, если это — две стороны одного явления.

*

Основной вывод, к которому приходит С. К. Шаумян в результате рассмотрения принципа коммутации, состоит в том, что «значения и звуки, взятые сами по себе, представляют собой нечто внешнее по отношению к языку...»². Это положение настойчиво проводится на протяжении всей статьи и, видимо, является ее главным тезисом. Тем не менее оно не подкрепляется сколько-нибудь убедительными доказательствами. Так, необходимость «отказаться от рассмотрения звуков языка как физического явления»³ мотивируется ссылкой на существующие несоответствия между фонологическими системами разных языков. Например, [k] и [g] составляют разные фонемы в русском языке и являются вариантами одной фонемы в голландском, а [e] и [ɛ], не различающиеся в русском языке, являются различными фонемами во французском. По мнению С. К. Шаумяна, «с физической точки зрения [k] и [g] должны считаться разными звуками, потому что они резко отличаются друг от друга, а [e] и [ɛ] должны рассматриваться как разновидности одного и того же звука, потому что они сходны друг с другом. Однако ссылка на физические критерии приводит к противоречиям, которые доказывают ее несостоятельность»⁴. Отметим, во-первых, что, говоря о физических критериях, С. К. Шаумян в определении степени сходства звуков руководствуется своим субъективным восприятием. Во-вторых, С. К. Шаумян не замечает того факта, что варианты различия, как правило, оказываются слабее различий фонологических. Например, различия между закрытым и открытым *e* французского или немецкого языка лишь в слабой степени обнаруживаются в вариантных различиях русского языка.

Суть дела, однако, не в субъективной оценке степени сходства между звуками. Главный недостаток приведенного рассуждения С. К. Шаумяна

¹ L. Hjelmslev, указ. соч., стр. 66.

² С. К. Шаумян, указ. соч., стр. 42.

³ Там же, стр. 41.

⁴ Там же.

состоит в том, что сделанный им вывод о несостоятельности физических критериев никак не вытекает из приведенных фактов. На основании этих фактов более правильно было бы заключить, что фонологические системы разных языков строятся на различном звуковом материале. Если же рассуждать так, как рассуждает С. К. Шаумян, то аналогичный вывод можно сделать и относительно «элементов соотношений». Известно, например, что в английском языке насчитывается примерно 30 фонем, в русском же их более сорока. Следовательно, по крайней мере, десять «элементов соотношений» используются в русском языке и не используются в английском. Отсюда следует, что «элементы соотношений» представляют собой нечто внешнее по отношению к языку. Ясно, что такой вывод был бы неосновательным. Но столь же неосновательно заключать о нефизическом характере звуков языка из того факта, что в разных языках в различительной функции используются разные звуковые признаки.

Сделанный С. К. Шаумяном вывод не только не обоснован, но он и не соответствует взглядам большинства представителей структурализма. В структуралистских работах можно найти много высказываний, подчеркивающих значение физического (артикуляционного и акустического) критерия при определении фонем. Важность критерия фонетического сходства при определении фонем подчеркивает, например, Э. Фишер-Иоргенсен¹. Л. Блумфилд, отмечая, что до сих пор языковеды имели дело преимущественно с артикуляционными признаками фонемы, утверждает: «Можно ожидать, что в ближайшие десятилетия лаборатории дадут физическое (акустическое) определение каждой фонемы любого языка»². И нужно сказать, что сейчас, с развитием новых электро-акустических методов анализа речи, это положение Л. Блумфилда полностью оправдывается.

С. К. Шаумян не должен был проходить мимо подобных высказываний представителей структурализма. Однако дело ведь не только в высказываниях. О сущности той или иной теории, того или иного направления в науке нужно судить не по высказываниям представителей данной теории или направления, а прежде всего по их действительному подходу к предмету исследования, по методам и результатам их работы. Структурализм в фонетике ознаменовался функциональным подходом к звукам речи. Различительная функция звука в речи была провозглашена основным, первичным его критерием. Но это вовсе не означало отказа от рассмотрения физической стороны звуков речи. Напротив, применение функционального критерия дало в руки фонетиста точный инструмент, при помощи которого оказалось возможным из всего многообразия звуковой материи выделить те акустические и артикуляционные свойства, которые несут функциональную нагрузку и, следовательно, очень важны для языковеда. Не отвлечение от физической природы звуков, а дифференцированный подход к многообразным и изменчивым свойствам звуковой материи, причем дифференцированный с точки зрения структуры языка, — вот что означал функциональный критерий в фонетике.

Рассмотрим, например, методику выявления фонологической структуры, которая предлагается в книге З. Харриса «Методы в структуральной лингвистике»³. Согласно этой методике, фонологический анализ начинается с сегментации речевого потока по акустическим и артикуляционным

¹ См. E. Fischer-Jørgensen, The phonetic basis for identification of phonemic elements, «The Journal of the Acoustical Society of America», vol. 24, № 6, 1952, стр. 611.

² Цитируем по кн.: W. T w a d d l e, On defining the phoneme, Baltimore, 1935, стр. 23.

³ Z. S. H a r r i s, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951.

признакам. Затем выявленные в первом приближении сегменты прослеживаются через ряд повторений одной и той же фразы. Тем самым уже на этом этапе начинается отделение звуковых признаков, несущих функциональную нагрузку в языке, от тех акустических и артикуляционных особенностей, которые с точки зрения функционирования языка не имеют значения (изменение которых не меняет смысла высказывания). На третьем этапе производится подстановка сегмента в другие фразы вместо фонетически сходных с ним сегментов. Операция подстановки позволяет произвести дальнейшее ограничение круга звуковых признаков, которые предположительно могут иметь смыслоразличительную функцию в данном языке, так как «... эти уникальные сегменты являются взаимозаменяемыми потому, что они идентичны в некотором отношении (например, в отношении звонкости в английском языке), несмотря на различия, которые могут быть между ними в другом отношении (например, абсолютная разница по громкости в английском)»¹. И так вплоть до объединения сегментов с дополнительным распределением в фонему, которое пусть «ради удобства», но все же происходит на основании фонетического сходства между сегментами.

К тому же убеждению в важности физических критериев мы приходим при рассмотрении методики разложения фонем на дифференциальные признаки, которая в настоящее время разрабатывается Р. Якобсоном и другими лингвистами. В результате такого разложения фонема однозначно определяется ограниченным числом дифференциальных признаков, т. е. определенной совокупностью акустических или артикуляционных свойств. «Дифференциальные признаки ... тесно связаны с физическим процессом речи»², дифференциальные признаки собственно и есть акустические либо артикуляционные свойства звуков речи. Так, «согласность» у Р. Якобсона акустически определяется наличием антирезонансов, распределенных по всему частотному диапазону речи. Мягкость в русском языке характеризуется «смещением энергии вверх по оси частот»³, фрикативность определяется плавным нарастанием шумового импульса или еще более акустически-хаотическим распределением фазы составляющих белого шума⁴, и т. д. Реальность дифференциальных признаков, их вполне физический характер доказываются экспериментально. Например, если сгертеть с магнитной записи передний скат щелевого звука, то звук утратит свой различительный признак — плавность нарастания шумового импульса — и будет восприниматься как смычный (например, [f] как [p] или [pf]). Аналогичным образом ограничение фильтрами спектра речи может приводить к тому, что характерные для данного гласного звука области резонансного усиления будут срезаны и звук либо утратит свою опознаваемость, либо перейдет в другие гласные звуки. Реальность, физический характер дифференциальных признаков вытекает и из возможности автоматического анализа речи при помощи специальных устройств. Работы в этом направлении нельзя еще считать совершенно законченными. Тем не менее к настоящему времени уже созданы аппараты, которые могут (пусть с еще недостаточной точностью) автоматически производить анализ устной речи,

¹ Z. S. Harris, указ. соч., стр. 32.

² См. E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonemic aspect, *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 29, № 1, 1953, стр. 38.

³ Там же, стр. 35.

⁴ См. Л. А. Варшавский и И. М. Литвак, Исследование некоторых физических характеристик и формантного состава звуков русской речи, «Научно-технический сборник [Гос. союзного научно-исслед. ин-та Мия-ва радиотехн. пром-сти СССР]», вып. 1—2 (3—4), Л., 1955.

выделять из спектра речи значащие элементы и выдавать на выходе буквопечатный текст¹.

Ясно, что никакое устройство для автоматического анализа речи не может работать на материале «элементов соотношений», освобожденных от физической реальности. Такие устройства могут работать только с совершенно реальными физическими (в данном случае акустическими) величинами, поддающимися измерению и преобразованию в электрические токи и напряжения. Эти успехи технической мысли могут послужить хорошим уроком для языковедов. Они лишней раз напоминают о том, что нельзя отрывать от физической природы звуков речи, от их акустических и артикуляционных свойств. Предметом изучения языковедов должны быть не чистые элементы соотношений, а физические звуки речи в их взаимных соотношениях, совокупность которых и образует фонологическую систему языка. Функциональный критерий при правильном его применении не может служить препятствием к изучению физической природы звуков речи. Напротив, такой критерий дает возможность точно оценить физические свойства звуков с точки зрения языковой структуры. Пользуясь функциональным критерием, языковед может оказать большую помощь инженерам в решении важных практических задач, стоящих перед различными отраслями техники. Ориентация на чистые элементы соотношений, наоборот, уводит языковеда от решения этих практических задач, ликвидировать всякую возможность сотрудничества языковеда с инженерами, необходимость которого в настоящее время вполне назрела.

Конечно, трактовка фонологических понятий не во всех структуралистских работах является четкой и определенной. Как правильно указывает Ч. Хоккет, «инженер-связист вправе не понимать, что лингвисты подразумевают под фонологией, ибо мы, лингвисты, были достаточно туманными в наших фонологических рассуждениях»². С. К. Шаумян, поскольку он взялся говорить о сущности структурализма, надлежало бы разобраться в этих «туманностях», разобраться в существующих в структурализме противоречивых точках зрения. Однако С. К. Шаумян предпочел принять точку зрения Л. Ельмслева, выдав ее за фундаментальную основу структурализма вообще, что явно не соответствует фактам. Л. Ельмслев занимает важное место в структурализме, но это все же не весь структурализм. Более того, Л. Ельмслев даже пытается в какой-то мере отмежеваться от структурализма, объявляя свою теорию глоссематикой. В его теории мы находим полное изгнание из языка звуковой субстанции. Л. Ельмслев настолько последователен в своих взглядах, что отказывается и от учета дифференциальных признаков фонемы. Да и самый термин «фонема», все же напоминающий о каком-то фонетическом содержании, Л. Ельмслев заменяет термином «сенема», что в переводе на русский язык означает «пустая единица». С. К. Шаумян замечает эту прямолинейность Л. Ельмслева; однако, вместо того чтобы насторожиться, он пытается подправить теорию Л. Ельмслева путем... освобождения дифференциальных признаков от их физического характера. Для него «ясно, что дифференциальные признаки — это вовсе не акустические свойства, а такие же семиологические элементы, как и сами фонемы» (стр. 52).

Таким образом, С. К. Шаумян делает шаг в сторону по сравнению со своими взглядами 1952 г., когда он еще признавал дифференциальные

¹ Л. А. В а р ш а с к и й, Характеристические признаки звуков речи и перспективы предельной частотной компрессии, «Научно-технический сборник НИИ МРТП и Секция по исследованию речи Комиссии по акустике АН СССР», вып. 4, 1957.

² См. Ch. H o c k e t t [реп. на кн.:], C. L. S h a n o n and W. W e a v e r, The mathematical theory of communication, Urbana, 1949, «Language», vol. 29, № 1, 1953, стр. 84.

признаки существенными акустическими свойствами¹. Теперь для него «дифференциальные признаки — это семиологические, а стало быть, реляционные элементы фонем, тогда как акустические свойства есть физические элементы звуков» (стр. 52). Что, однако, следует понимать под термином «реляционный»? Если «реляционный» значит «относительный», то акустика данно уже научилась обращаться с относительными величинами и, следовательно, сможет разобраться и в дифференциальных признаках фонемы, поскольку относительный характер величины не устраняет ее физического смысла. Но С. К. Шаумян просто отсылает читателя к термину, который ничего не значит и лишь способен ввести в заблуждение своей научной видимостью.

*

Так же некритически С. К. Шаумян принимает и тезис Л. Ельмслева о внешнем по отношению к языку характере семантики. Л. Ельмслев в своей знаковой концепции развивает одно из наиболее слабых положений Ф. де Соссюра о несколько «таинственном» явлении, состоящем в том, что «мысль-звук требует наличия делений и что язык вырабатывает свои единицы, оформляясь между двумя бесформенными массами»². Ельмслев освобождает это положение де Соссюра от психологической трактовки и ставит его на «твердую» почву логистических представлений о формировании действительности человеческим сознанием. Значение (*meningen*) в плане содержания — это аморфная непрерывная среда (*continuum*), которой является доязыковая действительность. На эту аморфную среду каждый язык накладывает свои границы, в результате чего действительность разбивается на субстанции содержания, которые подводятся под ту или иную языковую форму.

Показателем в этом смысле пример, приводимый Л. Ельмслевым. Анализируя датск. *træ* «дерево», он пишет: «эта вещь в моем саду является величиной субстанции содержания, которая связывается (*tilordnes*) с формой содержания и подводится под нее совместно с различными субстанциями содержания (например, с материалом, из которого изготовлена моя дверь)»³. Аналогичные соотношения Л. Ельмслев обнаруживает и в плане выражения, где значением (*meningen*) является аморфная масса звука, разбиваемая на субстанции выражения (звуки, слоги, слова и фразы) языковой формой выражения. В результате получается известная шестистаякная концепция языкового знака, занимающая в последнее время умы многих языковедов, несмотря на то, что эта концепция почти ничем, кроме нескольких примеров, не подкрепляется.

В плане содержания аморфность «значения» иллюстрируется примером разбиения непрерывного спектра цветов в различных языках. Этот пример фигурирует и во многих других работах сторонников и противников Л. Ельмслева в качестве наиболее серьезного довода в пользу его концепции. В литературе уже обращалось внимание на некоторые слабые стороны этого примера. В частности, указывалось, что Л. Ельмслев, сравнивая обозначения цветов в разных языках, ограничивается лишь одно-корневыми словами. Между тем в этом разбиении спектра на равных началах могут участвовать и сложные слова, и словосочетания (ср. в русском: голубой — синий — темно-синий, но светло-зеленый — зеленый — темно-зеленый; в немецком: *hellblau — blau — dunkelblau, rosa — rot — dunkelrot*).

¹ См. С. К. Шаумян, Проблема фонемы, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4, стр. 330.

² См. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 112.

³ L. Hjelmslev, указ. соч., стр. 52.

Указывалось также, что отсутствие в языке специальных обозначений для цветов вовсе не определяет способности человека, говорящего на этом языке, различать эти цвета в восприятии и выражать их различия в языковой форме¹.

Однако при рассмотрении этого примера обычно проходят мимо того факта, что непрерывного спектра цветов как такового в природе не существует. Он может быть получен лишь искусственно. В окружающей же нас среде существуют вещи, явления, элементы этой среды, которым присущ тот или иной цвет или несколько цветов, как правило, с четкими границами между ними. Таким образом, спектр цветов разбивается на составляющие не языком, а вещами и явлениями окружающего нас мира, независимо от языка и помимо него. Это практическое разделение спектра цветов, естественно, зависит от географических и социальных условий; оно осуществляется по-разному на севере и на юге, в тропических джунглях, в пустыне, в тайге и тундре. Таким практическим разбиением спектра и определяется терминология цветов у народа, населяющего ту или иную местность. В этом смысле весьма важный факт отмечается в работе Г. А. Глисона «Введение в описательную лингвистику». В языке басса (Либерия), помимо целого ряда специальных обозначений, имеются, указывает Глисон, два наиболее общих обозначения цветов: *hwi*, охватывающее цвета фиолетовый, синий и зеленый, и *ziza* — желтый, оранжевый и красный (т. е. цвета морского побережья и цвета пустыни)². На первый взгляд такое деление спектра представляется произвольным и менее удобным, чем, скажем, разбиение спектра в английском языке. Однако терминология цветов в языке басса является более подходящей, например, для ботанического описания. Как известно, цветковые окраски распадаются на два ряда; эти ряды примерно охватываются указанными терминами языка басса.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении примера непрерывного спектра цветов опровергается, а не подтверждается знаковая концепция Л. Ельмслева. Спектр цветов не формируется языком, а разбивается объективной действительностью, причем разбивается по-разному; поэтому он и отражается в языках по-разному, в зависимости от конкретных географических и социальных условий и, конечно, в какой-то мере в зависимости от истории данного языка.

Знаковой концепции Л. Ельмслева можно и нужно противопоставить понимание значения слова как языковой формы выражения понятия и, следовательно, как общественной формы отражения свойств и отношений объективного мира в человеческом сознании. При таком подходе значение уже невозможно отделить от языковой формы именно потому, что значение не существует до и помимо языка. При таком подходе теряют всякий смысл рассуждения о логически предустановленных значениях, не зависящих от конкретных языков. Значение конкретно и существует в конкретном языке, а семантические сходства и различия между языками — это сходства и различия в системе значений этих языков.

С. К. Шаумян вслед за Л. Ельмсловым отделяет значение от языка, оставляет в языке только «несобственно значения». Однако, что представляют собой эти последние, трудно догадаться. Ссылка на элементы соотношений ничего не дает, потому что любой предмет может быть представлен как элемент соотношения. Например, цвета голубой и синий соотно-

¹ См. B. Sier t s e m a, A study of glossematics. Critical survey of its fundamental concepts, The Hague, 1955, стр. 151.

² H. A. G l e a s o n, An introduction to descriptive linguistics, New York, 1956, стр. 5.

сятся как друг с другом, так и с другими цветами и, следовательно, являются элементами соотношений. У Л. Ельмслева языковая часть значения, так называемая форма содержания, является также наиболее неопределенным понятием. С одной стороны, форма содержания — это элемент соотношений, характер которых конкретно не определяется (Л. Ельмслев называет три типа соотношений: взаимообусловленность, односторонняя обусловленность и независимость. Значит ли это, что и форм содержания насчитывается всего три типа?). С другой стороны, форма содержания связывается с понятием ценности (*valeur*), которую сам Л. Ельмслев определяет как «дифференциальный минимум значения»¹. Это определение, во-первых, соприкасается с понятием дифференциальных признаков речевой ситуации Л. Блумфилда, а во-вторых, напоминает неуловимое общее значение традиционной грамматики. Во всяком случае это определение сводит форму к части субстанции содержания (дифференциальный минимум) и, следовательно, — хочет этого или не хочет Л. Ельмслев, — вводит субстанцию в саму структуру языка. Наконец, форма содержания у Л. Ельмслева представляется и как некая алгебраическая величина, под которую произвольно подводятся различные вещи и явления объективного мира. В таком понимании форма содержания есть нечто, устраняющее многозначность слова. Например, форма содержания слова *træ* в датском — это нечто, объединяющее раздельные величины субстанции «дерево как растение» и «дерево как материал», или во французском *pas* объединяет величины субстанции «не» (отрицание) и «шаг». Таким образом, вынесение значения за пределы языка не вносит ясности в вопросы семантики, а, наоборот, лишает их всякой определенности.

В какой мере тезис о внешнем по отношению к языку характере семантики отражает взгляды структурализма вообще? Прежде всего следует сказать, что позиция структурализма в отношении семантики более чем в других областях определяется полемикой с представителями традиционного языкознания. В некотором смысле можно даже утверждать, что само возникновение структурализма было своеобразной реакцией на несостоятельность традиционного языкознания именно в области толкования семантической стороны языковых фактов.

Традиционная методика семантического исследования основана на использовании назывной (номинативной) функции слова, на соотношении слова с обозначаемым предметом или явлением действительности. На основе соотнесения слова с обозначаемым предметом или явлением строилась семантическая классификация, существо которой состояло в том, что обозначаемые словами предметы и явления подводились под общие логические категории субстанции, качества, действия, лица и т. п., а эти логические категории признавались за общие значения соответствующих классов слов. Благодаря этому в языковедческой литературе вошли в употребление также термины, как «имя действия», «имя состояния», «имя деятеля», «имя орудия» и т. п.

Ясно, что такой подход к значению страдает серьезными недостатками. Он, во-первых, оставляет вне рассмотрения структуру языка, поскольку языковые формы определяются и объясняются не из отношения их друг к другу, а через отношение к обозначаемым явлениям и поскольку в основу классификации кладутся логические категории действительности, которые, как показал опыт логического направления в языкознании, не получают непосредственного отражения в структуре языка. Во-вторых, такой подход к значению не свободен от элементов субъективизма хотя бы уже

¹ L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Étude de grammaire, «Acta jutlandica», VII, 1. 1935, стр. 86.

потому, что, вообще говоря, нет предела для дробления значений. Другим более важным источником субъективизма является то обстоятельство, что наличие назывной функции не избавляет исследователя от необходимости прибегать к субъективной оценке. Это очень ощутимо в случаях, когда само соотнесение формы с элементами действительности становится затруднительным (ср., например, класс отвлеченных существительных). Особенно это касается области грамматических значений, по отношению к которым возможность применения критерия назывной функции становится далеко не очевидной. Между тем «семантический» подход характерен для традиционного рассмотрения проблем как морфологии, так и синтаксиса. Естественно, что в грамматике недостатки такого подхода к значению проявились особенно остро. Здесь мы встречаемся с бесконечными перечнями падежных и иных значений. В грамматике особенно сильно сказывается влияние тех или иных субъективных логических и психологических взглядов, которых придерживается исследователь, а также вредное влияние переноса на иноязычный материал форм и отношений родного или наиболее изученного языка. Ориентация на субъективную оценку значения зачастую просто приводила к совершенно не поддающимся контролю рассуждениям об «определчивании» или «утрате предметности», о степенях «конкретности и абстрактности», о «растворении» одних значений в других значениях, об «оттенках» и «окрасках» и тому подобном.

Попытка преодолеть ограниченность традиционной семантики была предпринята Ф. де Соссюром, который ввел значение непосредственно в структуру знака. Однако для того чтобы отделить значение от обозначаемой вещи, Ф. Соссюру пришлось самый знак перенести в область субъективного. Его знак — это единство звукового впечатления и психического образа вещи, существующее только в мозгу индивида. Поэтому при самом решительном утверждении «знаковости» значения в концепции Ф. Соссюра при ближайшем рассмотрении обнаруживается все то же номинативное понимание значения, так как замена вещи и звука их психическими эквивалентами в сущности ничего не меняет в характере их соотношения. Вместе с тем свойственные номинативному пониманию значения элементы субъективизма оказались включенными в самую концепцию знака и сделали ее непригодной для практического использования. Этим и следует объяснить тот факт, что идеи Ф. Соссюра оказали столь малое влияние на формирование взглядов дескриптивной лингвистики — единственной из школ структурализма, которая с самого начала сделала своим предметом исследования единицы языка, имеющие значение. Для обеспечения объективности лингвистического исследования представители этого направления отказались вообще считать значение сколько-нибудь состоятельным критерием языковой формы. Идеи Ф. Соссюра были развиты в рассмотренной выше знаковой концепции Л. Ельмслева, основной смысл которой состоит в том, чтобы преодолеть номинативный подход к значению или, выражаясь словами Ельмслева, избежать «ошибочного представления о языке как номенклатуре или запасе этикеток, предназначенных для закрепления за априорно существующей вещью»¹.

Если же оценивать позицию структурализма в целом, то нужно сказать, что отношение структуралистов к семантике определялось главным образом не в теоретическом, а в методическом плане. Структуральная лингвистика решает прежде всего вопрос о месте значения в методике лингвистического исследования, причём отказ от использования семантического критерия во многих случаях уживается с признанием значения в качестве основы функционирования языка.

¹ L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlæggelse, стр. 53.

Нужно, однако, сказать, что в методике дистрибутивного анализа значение является все же совершенно побочным фактором и учитывается лишь весьма косвенно через семантические различия, проявляющиеся в диаграммах распределенности. Поэтому отказ от семантического критерия, позволивший структуралистам избавиться от ряда недостатков традиционной грамматики, вместе с тем явился причиной ряда ограничений, присущих методу структурального анализа. Фактически область семантики осталась за пределами структурального анализа. Представители структурализма, которые в пылу полемики не дошли до полного изгнания значения из языка, отчетливо сознают этот недостаток своего направления и ищут пути его преодоления. «Чисто структурные исследования имеют свое значение, но они остаются незаконченными без признания и соответствующего анализа семантических факторов», заявляет, например, Е. Найда¹.

Между тем значение является основным фактором языка и определяет не только назывную функцию формы, но и все особенности ее функционирования. Значение определяет соотношения формы с другими формами и, следовательно, может быть определено объективно из самих языковых соотношений. Эта задача — задача разработки объективной методики семантического анализа — приобретает в настоящее время первостепенное значение. Естественно, что при ее решении необходимо в полной мере использовать опыт объективного исследования языка, накопленный представителями структурализма.

При разработке такой объективной методики семантического исследования целесообразно использовать языковые факты, которые так или иначе уже не раз отмечались в языковедческой литературе, а в ряде работ признаются строгой закономерностью языковой структуры². Мы имеем в виду осознаваемые в речевой практике переходы между различными частями речи типа: «...он *требователен* к себе и к другим, но *требовательность* эта такова, что он отталкивает от себя своих однокурсников» («Лит. газета» от 6 X 56). В этих переходах, которые могут быть названы семантическими преобразованиями, часто непосредственно выявляется синонимия языковых форм, например: «В моем воображении встает образ дяди. Конечно, я понимал, что он *обыкновенный* человек. Но воображение не любит *заурядности*» («Огонек», дек. 1956, № 50). В этих переходах выявляется также лексическая многозначность; ср. следующие два примера: «Они должны считать, что он *бежал* — испуганный, дрожащий. Да у него были две причины для *бегства*, ясные для его врагов: страх перед ними и опасение быть обвиненным в нападении, в убийстве» (В. Иванов, По следу); «Он *бежал* вдоль берега. *Бежал* замечательно красиво, как будто *бе* был его любимым делом» (Н. Балчин, В маленькой лаборатории). В этих примерах многозначность глагола *бежать* выявляется в переходах его в существительные *бег*, *бегство*.

Ясно, что семантические преобразования могут осуществляться лишь на базе общностей и различий в значении соответствующих частей речи. Слова, относительно которых осуществляется преобразование, находятся при этом в строго определенном семантическом соотношении, основанном на тождестве отражаемого элемента действительности, оказываются связанными в своих значениях. Изменение значения одного из слов нарушает эту связь и ликвидирует самую возможность данного семантического пре-

¹ E. A. Nida, A system for the description of semantic elements, «Word», vol. VII, № 1, 1951, стр. 1.

² Ср. H. Glinz, Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik, Bern, 1952, стр. 187.

образования. С другой стороны, семантические преобразования являются первичным, доступным непосредственному наблюдению и действительным для всех языковым фактом, в котором проявляется то или иное значение слова. Поэтому способность к тому или иному типу семантического преобразования может служить строгим объективным критерием значения формы, который и может быть использован при разработке объективной методики исследования семантической структуры языка. При этом, опираясь на встречающиеся в речевой практике естественные преобразования, можно широко пользоваться экспериментом, выясняя возможность преобразования конкретных высказываний в те или иные типы и определяя, таким образом, семантический вариант слова, относительно которого преобразование осуществляется.

*

Из сказанного вытекает, что, начав нужным для советского языкознания разговор о структурализме, С. К. Шаумян, однако, совершенно неправильно ориентирует читателя на одностороннее понимание сущности структурализма в духе знаковой концепции Л. Ельмслева. И это не случайно. С. К. Шаумян с самого начала лишил себя возможности правильного критического подхода к структурализму, объявив данное направление «целостной и последовательной теорией языка» (стр. 39). Это тем более неверно, что как раз в теории языка имеют место наибольшие расхождения во взглядах школ и отдельных представителей структурализма. Структурализм — это прежде всего метод. Именно в методике исследования объединяются все школы и направления структурализма. К сожалению, С. К. Шаумян почему-то не касается структуральной методики исследования. Имеющийся в статье раздел «метод структуральной лингвистики» посвящен изложению некоторых «методологических принципов, которым должно подчиняться построение всякой научной теории как логической системы» (стр. 44). Может быть, такое рассмотрение общих принципов дедуктивных наук и представляет определенный интерес. Однако оно не может замнить собой анализа применяемого структуралистами конкретного метода дистрибутивных соотношений. При рассмотрении общих принципов дедуктивных наук остается в стороне специфика структуральной методики, ее конкретная сущность.

Что касается теоретических положений структурализма, то они либо являются разрозненными обобщениями накопленных структуралистами фактов, либо служат введением в методику исследования и основаны на положениях традиционного языкознания, а также на понятиях современной психологии и логики (бихевиоризм, логический позитивизм). Принципы, выдвинутые Ф. де Соссюром, прямо или косвенно были восприняты всеми школами. Однако совершенно бесспорным оказался лишь самый принцип подхода к языку как к системе соотношений, как к структуре. Но другим же положениям де Соссюра, например о природе языкового знака, о месте диакритики в лингвистическом исследовании и т. д., среди структуралистов возникли серьезные разногласия, которые не разрешены до настоящего времени¹. Работа Л. Ельмслева представляет собой чуть ли не единственную попытку построения теории языка на фундаменте структуралистских взглядов. Поэтому С. К. Шаумян в поисках «фундаментальных черт структурной лингвистики именно как целостной и последовательной теории языка» (стр. 39) неминуемо должен был прийти

¹ См. H. S p a n g - H a n s s e n, Recent theories on the nature of the language sign, Copenhagen, 1954.

к теории Л. Ельмслева, которую он и принял за сущность структурализма.

Однако попытку Л. Ельмслева создать теорию языка нельзя признать удачной и не только потому, что построенная им теория произвольна и противоречива¹, но также потому, что она задумана как имманентная теория языка. Между тем сущность языка раскрывается в его функциях — в функции коммуникативной и функции выражения мысли, которые направлены во вне и проявляются в актах общения и познания. Из актов общения и познания только и могут быть выведены первые и исходные понятия для построения теории языка. Теория языка не может быть с начала и до конца имманентной, если она должна отражать действительное положение вещей. Конечно, нельзя отменить с порога и результаты работы школы Л. Ельмслева. В этом отношении у нас имеется кое-какой опыт, который учит более серьезно относиться к различным теориям и направлениям в языкознании. Глоссематика как обобщение конкретных языковых структур должна занимать существенное место в структуральной лингвистике.

С. К. Шаумян в стремлении подвести все школы и направления в структурализме под общий знаменатель концепции Л. Ельмслева признает только наличие терминологических расхождений между этими школами. Однако дело тут не только в терминах. Дескриптивная лингвистика и глоссематика различаются коренным образом по подходу к предмету исследования и по задачам, которые при этом ставятся. «Предметом исследования дескриптивной лингвистики является какой-нибудь один язык или диалект»², а результаты дескриптивного анализа всегда действительны только для данного исследуемого языка. В отличие от этого Л. Ельмслев добивается универсальных результатов. Его задачей является получение схем языковых соотношений, действительных для всех языков мира и составляющих универсальную грамматику языка вообще. В таком смысле эти две школы действительно дополняют друг друга. Ясно, что получение общих схем, универсальных принципов построения языка является одной из важнейших задач языкознания. Нужно лишь, чтобы такие схемы были действительным обобщением конкретных языковых структур, а не выводились чисто дедуктивно из принятых теоретических положений, как это часто делают Л. Ельмслев и его последователи.

Итак, можно сделать следующие выводы: 1. Статья С. К. Шаумяна неправильно ориентирует читателя на одностороннее понимание сущности структурализма в духе знаковой концепции Л. Ельмслева. 2. Звуки речи — конкретные физические явления, поддающиеся измерению и автоматическому анализу при помощи специальных устройств. Ориентация на чистые элементы соотношений уводит языковеда от решения практических задач прикладного языкознания, ликвидирует всякую возможность сотрудничества языковеда с инженерами, необходимость чего в настоящее время вполне назрела. 3. Значение невозможно отделить от языка именно потому, что оно не существует до и помимо языка. Значение может быть определено объективно из самих языковых соотношений, в частности из семантических преобразований, осуществляемых в речевой практике. 4. Критическое усвоение опыта структурализма отвечает научной целесообразности и является обязательным подготовительным этапом работы по внедрению в языкознание математических методов исследования.

¹ Детальный критический обзор работ Л. Ельмслева содержится в указанной выше книге В. Сиертсема.

² Z. H a g g i s, указ. соч., стр. 19.

Р. А. БУДАГОВ

**СИСТЕМА ЯЗЫКА В СВЯЗИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ЕГО ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ***

1

В последнее время среди известной части советских лингвистов все чаще и чаще высказывается мнение, согласно которому теоретические позиции того или иного лингвиста или даже целого лингвистического направления будто бы не имеют никакого значения для понимания практических результатов их работы¹. Такая точка зрения представляется мне глубоко ошибочной. Она неизбежно приводит к недооценке теории. В действительности, чем крупнее ученый, тем большее значение для выяснения практических результатов его работы имеют те теоретические взгляды и положения, которые им разделяются и развиваются. Иначе и быть не может, если теория является действительной теорией и вырастает в процессе глубокого изучения языковых фактов. Всякая же теория, которая так или иначе не опирается на факты, вообще не может быть названа теорией.

Разграничение синхронии (современного состояния) и диахронии (истории), обоснованное Ф. де Соссюром и И. А. Бодуэном де Куртене, имело для своего времени большое значение и стимулировало изучение языка как системы. Ученые о синхронии было направлено против той школы в языковедении, которая ставила перед собой задачу исследования отдельных форм и категорий языка, не решая вопроса о взаимодействии данных форм и категорий с системой языка в целом. Глава младограмматиков Герман Пауль еще в 1880 г. подчеркивал, что единственно научной грамматикой является грамматика историческая и что при установлении принципов исследования существенно не столько то, что это «принципы науки о языке», сколько то, что это принципы изучения истории языка (Prinzipien der Sprachgeschichte)². Ф. де Соссюр с большим остроумием критиковал подобные утверждения и стремился доказать, что научному изучению подлежит не только история языка и историческая грамматика, но и система языка в том состоянии, в каком она существует в данную эпоху. Так обосновывалась идея синхронной грамматики, синхронного описания языка.

Но уже Ф. де Соссюр не только защищал право исследователя изучать современное состояние того или иного языка в его системных отношениях, но и резко разграничивал задачи изучения синхронии и диахронии языка. «Противопоставление двух точек зрения, — писал он, — синхронии

* В основе статьи — доклад автора, прочитанный в марте 1957 г. в Институте языковедения АН СССР на дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.

¹ См. статьи: С. К. Шаумяна (ВЯ, 1956, № 5, стр. 39), М. И. Стеблина-Каменского (ВЯ, 1957, № 1, стр. 35), Р. Г. Пиотровского (ВЯ, 1957, № 4, стр. 26) и др.

² Н. Пауль, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, 5-е Aufl., Halle, 1920, стр. 20.

ческой и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»¹. Задача исследователя, по мнению Ф. де Соссюра, не сводится к реабилитации синхронных описаний языка, известных еще в грамматической традиции XVII в. Проблема заключается в том, чтобы, вскрыв глубокое различие и своеобразную полярность задач, стоящих перед синхронной и диахронной, установить затем принципы изучения синхронного состояния языка и затем в с и м о от его исторического прошлого. Ф. де Соссюр так и поступил в своем «Курсе общей лингвистики».

Прежде чем разобраться, насколько правомерно резкое противопоставление синхронии и диахронии², необходимо обратить внимание на то, как стали понимать эти термины ближайшие ученики и последователи Ф. де Соссюра. Л. Ельмслев в ранней своей работе «Principes de grammaire générale», всесторонне защищая и дальше развивая идею синхронной грамматики, стремился доказать, что синхрония вовсе не означает статичности, так как в самой синхронии в скрытом виде заключена динамика языкового развития (о чем говорил еще В. Гумбольдт)³.

Однако попытка доказать, что синхрония и диахрония не сводятся к противопоставлению статичности и динамики языка, оказалась неудачной. У самого Соссюра подобное противопоставление синхронии и диахронии, по-видимому, было навеяно положением Э. Дюркгейма о том, что в общественных науках «всегда следует различать статику и динамику» (*la statique et la dynamique*)⁴. В этом случае статика прямо отождествлялась с синхронией, а динамика — с диахронией.

Л. Ельмслев в последующих, более поздних своих работах уже не только не возражал против сближения синхронии со статическим состоянием языка, но сам стал разрабатывать методы статического изучения языка⁵. Не случайно поэтому и тот факт, что Ж. Вандриес, говоря о принципах исследования синхронии языка, уже в 1933 г. назвал свою статью «Задачи изучения статической лингвистики»⁶. Синхрония тем самым все более и более связывалась с положением языка в строго определенную эпоху. Это положение — своеобразный фотографический снимок языка в его горизонтальном разрезе.

Разумеется, не все последователи Ф. де Соссюра считают, что синхрония должна вытеснить диахронию. Сам Ф. де Соссюр, призывая лингвистов заниматься синхронией, прекрасно понимал значение и диахронических исследований. То же нужно сказать и о таких ученых, как, например, А. Мейе и Ж. Вандриес. Последний в упомянутой статье о статической лингвистике, подчеркивая важность изучения синхронного состояния языка, вместе с тем писал, что историческое языковедение по-прежнему остается главной областью лингвистических исследований⁷. В то же время в ряде других направлений зарубежного языковедения, и прежде всего в американской дескриптивной лингвистике и отчасти в датском структурализме, синхрония почти полностью вытеснила исторические разыскания.

¹ Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 90.

² См. об этом Р. А. Б у д а г о в, Из истории языковедения (Соссюр и соссюрианство). Материалы к курсам языковедения, изд. МГУ, М., 1954.

³ L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, København, 1928, стр. 56.

⁴ E. Durkheim, La sociologie, сб. «La science française», t. I, Paris, 1915, стр. 41. Еще до Дюркгейма аналогичные мысли выражал и Огюст Конт, настаивавший на противопоставлении статической и динамической социологии.

⁵ См., например, L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953.

⁶ J. Vendryes, Sur les tâches de la linguistique statique, «Journal de psychologie», XXX année, № 1—4, Paris, 1933, стр. 172 и сл. Понятие «статической лингвистики» встречается уже у Ф. де Соссюра (указ. соч., стр. 87).

⁷ J. Vendryes, указ. соч., стр. 173.

Что же такое современное понимание синхронии? Какие задачи ставит перед собой синхронное изучение языка?

Сущность синхронии в ее противопоставлении диахронии, пожалуй, наиболее ярко и остро сформулировал Шарль Балли: «Историческая лингвистика, — писал он, — является созданием лингвистов, но не имеет отношения к говорящим, синхронная лингвистика, напротив того, является делом говорящих, но не относится к лингвистам». Приводя это положение Балли, В. Вартбург замечает, что первая половина утверждения Балли правильна, тогда как вторая — неправильна: люди, говорящие на определенном языке, существуют издавна, а синхронное изучение языка возникает в связи с научным интересом к системе языка¹.

Больше того, язык неотделим от человека с периода появления самого человека, тогда как синхрония, предполагая сознательное отношение к языку и определенный уровень культуры, возникает, разумеется, в совершенно другую эпоху жизни человека.

Иными словами, попытка доказать, что синхрония — это сами люди, говорящие на данном языке, а диахрония — язык, исторически восстановленный специалистами-лингвистами, оказывается по меньшей мере неточной, так как и в первом, и во втором случае речь идет об отнюдь не и п людех к своему языку. Между тем человек овладел языком значительно раньше, чем приобрел к нему известный теоретический интерес.

Так как синхрония — это такая же наука, как и диахрония, то вряд ли правомерно приравнение синхронии к «естественному состоянию» языка, а диахронии — к состоянию, искусственно восстанавливаемому. Разграничение скорее нужно искать в том, что синхрония стремится установить не только законы функционирования языка, но и то, как практически пользуются люди своим языком, тогда как диахрония обращена к историческому прошлому языка. Однако в обоих случаях сохраняется активное вмешательство человека в сложный механизм языка (изучение языка), лишь определяемое разными целями. Отличие заключается также и в том, что современным состоянием родного языка бессознательно интересуются все люди, говорящие на данном языке (чтобы говорить на языке, нужно хотя бы механически владеть его системой), между тем как диахрония — область знаний, доступная лишь специалистам-лингвистам.

Итак, и синхрония, и диахрония — это прежде всего области науки о языке. Поэтому их специфику нужно искать не за пределами данной науки, а в самой науке. Синхрония оперирует больше всего понятием языковой системы. Обратимся к этому понятию.

Синхронное изучение языка основывается, как известно, на том положении, что категории грамматики, как и звуки речи, в языке противопоставлены. Единственное число, например, не может существовать само по себе, а должно быть противопоставлено множественному или двойственному числу. Язык не располагает одним падежом или одним наклоном. Сами падежи, как и наклоны, времена, виды, обнаруживаются, формируются и уточняются в своих значениях во взаимодействии с другими падежами, с другими наклонениями, с другими временами и т. д. То же относится и к звукам речи: глухие согласные, например, обычно регистрируются в языке лишь в той мере, в какой им противопоставлены звонкие согласные. Все это очевидно и давно известно.

¹ W. W a r t b u r g, Betrachtungen über das Verhältnis von historischer und deskriptiver Sprachwissenschaft, «Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally», Genève, 1939, стр. 4.

Проблема системы языка имеет, однако, и другую, чисто теоретическую сторону. Со времен И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра понятие системы языка претерпело существенные изменения. Если сторонники исторического языкознания, признав значение синхронного состояния языка и синхронных описаний этого состояния, стремятся все же абстрагировать современный язык с его историей, то сторонники «чистой» или абсолютной синхронии резко возражают против подобного сближения. Они утверждают, что синхронное состояние языка должно изучаться «в самом себе и для себя» и что описание подобного состояния ни в коем случае не должно нарушаться и «портиться» вмешательством истории.

Но если синхрония абсолютно независима от истории языка, то с чем же она соотносительна? Сторонники новой концепции неодинаково отвечали на поставленный вопрос. Одни из них, как, например, Ш. Балли, усматривали в статике языка различные «тенденции» и тем самым делали уступку истории языка¹. Другие, например Анри Фрей и его последователи, соотносили статику языка с различными «потребностями» (*les besoins*), которые, по их мнению, определяют особенности самой языковой системы. Фрей устанавливал «потребность в экономии речевых усилий», «потребность в экспрессии выражения», «потребность в ассимиляции сходных явлений», «потребность в неизменяемости знака» и т. д.²

Новейших сторонников «чистой» синхронии, в частности дескриптивистов и глоссематистов, теперь не устраивают подобные толкования. Они идут дальше в этом направлении, стремясь «очистить» языковые отношения, наблюдаемые в синхронии, от всего материального. Лишившись фона истории, синхрония все же стремится на что-то «опереться». И вот такой опорой для синхронии оказываются статистика и математика, с которыми синхрония теперь все больше и больше связывается.

Разумеется, сами по себе подсчеты различных языковых явлений могут быть и полезны, и необходимы. Однако когда всевозможные подсчеты превращаются в самоцель у современных глоссематистов, цифры начинают подменять науку о языке. Общественная наука о языке превращается в своеобразную науку о цифрах, которые лишь иллюстрируются языковыми данными. Такое смешение различных наук неправомерно и невозможно. Цифры в науке о языке сами по себе ничего не объясняют, создавая лишь видимость объяснений.

Совершенно по другому поводу и в другой связи, рассматривая вопрос о применении «силошного» статистического метода к литературоведению, А. Г. Горнфельд писал еще в двадцатых годах нашего столетия: «Проверив алгеброй гармонию» и разделив гласные на согласные или наоборот, мы найдем, что Лев Толстой относится к Салиасу, как бесконечность к нулю, и что Чехов выше Бориса Лазаревского не в сто раз, а только в девять и семь восьмых. При применении нового (статистического. — Р. Б.) метода критика становится ...точной наукой на манер аналитической химии³. Конечно, литература и язык — совсем разные явления, но *mutatis mutandis* сказанное относится и к языку⁴

¹ Ш. Балли, *Общая лингвистика и вопросы французского языка*, перевод с франц., М., 1955, стр. 6.

² H. Frey, *La grammaire des fautes. Introduction à la linguistique fonctionnelle*, Paris, 1929, стр. 25 и сл. (ср. также названия глав этой книги).

³ А. Г. Горнфельд, *Художественное слово и научная цифра*, в сб. его статей «Муки слова», М.—Л., 1927, стр. 113.

⁴ Любопытно, что даже один из основателей «математической лингвистики» — Уорф (V. L. Whorf) в свое время предостерегал от смешения математических и лингвистических методов исследования. См. его работу 1940 г. «Linguistics as an exact science», перепечатанную в сборнике статей автора: «Language, Thought and Reality», New York, 1956, стр. 230.

Я возражаю не против статистики вообще, а против статистики как универсального метода исследования системы (синхронии) языка, против статистики как способа, при помощи которого изгоняют из языкознания историю, подменяя единственно правильное, на мой взгляд, понимание системы (синхронии) — продукта исторического развития языка — новым соотношением, в котором на месте истории языка оказывается статистика, подсчеты самих синхронных отношений в языке. Между тем статистика не должна и не может заменять историю языка.

Система языка — это не система «вообще», а система совершенно определенной общественно-исторической науки. Это тем более важно подчеркнуть, что, как показывают некоторые зарубежные работы, принадлежность языкознания к общественно-историческим наукам нередко берется под сомнение¹.

После общих замечаний попытаюсь остановиться на более специальных вопросах системы языка, все еще очень мало изученных в науке.

3

Предположим, что нам нужно определить, сколько падежей имеет русское слово *ночь*. Хотя существительное *ночь* приобретает в разных падежах только три неодинаковые формы (*ночь, ночи, ночью*), это не мешает считать, что данное имя склоняется по парадигме шести падежей современного русского языка. Основанием для такого заключения служит то, что в других типах склонения имена существительные приобретают уже не три, а обычно пять различных форм в зависимости от падежа, хотя совпадение отдельных форм, относящихся к различным падежам, и здесь не исключается (например, им. и вин. падежи слов типа *стол*). Но так как в разных типах склонения совпадают разные падежные формы, то всего, в сумме разных склонений, обнаруживается шесть форм, следовательно, и шесть падежей. Поэтому три формы существительного типа *ночь* следует рассматривать на фоне шести форм существительных типа *стол* и *волк*. Формы последних двух существительных, взятые в совокупности, и образуют ту систему шести падежей имени существительного, которая характерна для существительного в современном русском языке.

Таким образом, парадигму склонения существительного типа *ночь* нельзя понять вне парадигмы склонения существительных других типов. Следовательно, система одного типа склонения определяется системой ряда других типов склонения, рассмотренных вместе.

Но здесь возникает новый вопрос: в какой степени система падежей имени существительного связана с системой падежей других имен в том же языке — прилагательных и местоимений? Быть может, склонение существительных типа *ночь* нужно рассматривать не только на фоне других типов склонения существительных, но и в связи со склонением прилагательных и местоимений? Другими словами, где и как происходят в языке границы, отделяющие один системный ряд от других системных рядов?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к данным других индоевропейских языков.

В большинстве романских языков имена существительные и прилагательные не склоняются, а местоимения² склоняются. Если мы обратимся

¹ См. по этому поводу, например, Ernst Cassirer, *Structuralism in modern linguistics*, «Words», 1945, vol. I, № 2, стр. 411.

к некоторым германским языкам, в которых, как, например, в английском, имя существительное изменяется по двум падежам (общий падеж и родительный саксонский), то без труда установим, что прилагательное в нем вовсе не склоняется. Следовательно, данные этих языков говорят нам о том, что парадигмы имени существительного отнюдь не всегда находятся в зависимости от парадигм других имен, например, прилагательных, которые могут либо иначе склоняться, либо вовсе не склоняться. Соответственно и парадигмы прилагательных и местоимений не находятся в прямой зависимости от парадигм существительного.

Если для понимания системы склонения существительных типа *ночь* совершенно необходимо знать все остальные типы склонения той же части речи в том же языке, то привлечение данных других имен (прилагательных и местоимений) и их типов склонения в одних языках (например, в русском) расширяет наши представления о той же именной системе склонения, тогда как привлечение этих же частей речи (прилагательных и местоимений) в других языках (например, в романских и германских) мало что даст для понимания системы склонения существительных, так как образует совсем иную линию других системных отношений.

Таким образом, границы системного ряда в разных языках различны: они могут определяться границами данной части речи (например, в романских и германских языках), и они же могут в известной степени распространяться за пределы границ данной части речи (точки соприкосновения в склонении существительных, прилагательных, местоимений в русском языке). Подобные системные ряды в различных частях речи, соприкасаясь в одной грамматической категории (например, падежа), обычно не соприкасаются в других грамматических категориях (например, рода или числа) и тем самым образуют не тождественные, а лишь пересекающиеся системные взаимоотношения.

Возможно ли, однако, утверждать, что границей системного ряда парадигмы всегда является единица, не меньшая, чем часть речи? Нет, этого утверждать нельзя, так как все определяется своеобразием грамматического строя определенного языка.

В старофранцузском языке IX—XII вв., в котором сохранялась двухпадежная система склонения существительных типа *murs* «стена», существительные типа *terre* «земля» уже не знали падежных различий, а следовательно, и падежей. Этот последний тип имен существительных шел вперед развивающегося аналитического строя, как бы показывая дорогу остальным типам склонения. Однако до известного периода оба типа противоречили друг другу: в одном случае существительные изменялись по падежам, в другом — не изменялись. Система типа *murs* в отмеченную эпоху (IX—XII вв.) не распространялась на систему типа *terre*, хотя оба типа — имена существительные.

В румынском языке, как и в албанском, склоняются только членные имена существительные, т. е. формы с суффикрированным артиклем. Нечленные имена существительные, т. е. существительные без артикля, обычно не склоняются. В этих случаях склоняется неопределенный артикль, сопровождающий существительное. Поэтому при установлении границ системного ряда парадигмы склонения нужно считать не со всей массой существительных, а лишь с существительными, употребляемыми с определенным постпозитивным артиклем. Границы системного ряда парадигмы склонения определяются в этом случае членными типами склонения.

! Таким образом, один и тот же парадигматический ряд — в нашем примере склонения — в разных языках опирается на разные ряды системных отношений. Границы системного ряда в одних языках оказываются уже, а в других — шире. Различие определяется своеоб-

разием грамматического строя языка в целом. Вопрос этот в сравнительно-историческом плане представляет значительный интерес, хотя он почти совсем не изучен.

Не менее трудной представляется и другая проблема: сколько отдельных грамматических парадигм или отдельных противопоставленных форм и категорий образуют систему грамматики данного языка? Эту проблему можно сравнить со знаменитым софизмом о кучке песка: какая по счету песчинка образует кучку? Или иначе: без какой песчинки не будет кучки? И хотя язык совсем иная, организованная система, а не механическое соединение разрозненных частиц, аналогия все же сохраняет свое значение. Очевидно, например, что для того, чтобы образовать систему в лексике, число слагаемых должно быть неизмеримо больше, чем число слагаемых, формирующих систему в грамматике или фонетике.

Итак, понятие языковой системы при всей его важности оказывается понятием недостаточно расчлененным. Если в первый период развития синхронной грамматики еще можно было оперировать общим понятием языковой системы, то теперь становится все более очевидным, что это понятие нуждается в уточнении и разграничении и применительно к разным языкам и к разным языковым аспектам.

Надо показать, какие типы системных отношений наблюдаются в языках и в какой степени отдельные системные ряды находятся в зависимости от общей грамматической системы того или иного или тех или иных языков.

Еще в начале тридцатых годов советский психолог Л. С. Выгодский, критикуя в целом применение принципа структуры в психологии, писал: «Если восприятие курицы и действия математика, представляющие совершенный образец человеческого мышления, одинаково структурны, то очевидно, что самый принцип, который не позволяет выделить различие, оказывается недостаточно расчлененным»¹. Перефразируя эти слова, можно сказать, что принцип языковой структуры (системы)² тоже нуждается в расчленении. Нельзя применять этот принцип недифференцированно, одинаково к разным языкам на разных этапах их исторического развития.

Нужно уточнить не только понятие системы языка в целом, но и понятия системы грамматики и системных рядов внутри грамматики, как и внутри фонетики, внутри лексики. До сих пор мало исследован вопрос о том, как отдельные системные ряды, взаимодействуя между собой, образуют целостную систему языка. Понятие системы языка нуждается и в расчленении, и в исторической конкретизации. Как это ни парадоксально, само синхронное понятие системы нуждается в историческом осмыслении.

4

Изучая системные отношения в грамматике, невозможно, на наш взгляд, согласиться с широко распространенной точкой зрения, согласно которой все формы любой грамматической парадигмы являются одинаково самостоятельными, сосуществуют в языке. «Нельзя говорить», — писал И. А. Бодуэн де Куртене, — что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них „переходит“. Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществ-

¹ См. вступительную статью Л. С. Выгодского к русскому переводу книги: К. К о ф ф а, Основы психического развития, М.—Л., 1934, стр. XLVIII.

² Разграничение системы языка и структуры языка, проводимое некоторыми лингвистами, представляется мне искусственным и ненужным.

вуют»¹. Бодуэн считал, что с одинаковым правом можно утверждать, что форма *вода* «переходит» в форму *воду*, как и наоборот, форма *воду* — в форму *вода*. Аналогичные мысли развивали впоследствии и другие лингвисты, в частности А. Мейе, утверждавший, что латинский язык не знал одного слова *lupus* «волк», но располагал лишь совокупностью форм: *lupus* — им. падеж, *lure* — зват. падеж, *lupim* — вин. падеж и т. д.².

Разумеется, сравнивая различные падежные формы между собой, нельзя считать, что одни из них «переходят» в другие в школьном смысле этого слова. Все формы слова, имеющиеся в языке, действительно сосуществуют в нем. Однако наличие различных грамматических форм не означает, что в языке нет форм более самостоятельных и менее самостоятельных, более существенных для мысли и менее существенных. Прямой падеж более независим, он ближе к «чистому» названию; его номинативная функция выступает отчетливее, чем соответствующие функции косвенных падежей.

Для синхронной грамматики языка важна не только категория отношения, но и категория значения. Грамматика не может довольствоваться лишь описанием сосуществующих в языке форм, не исследуя вопроса о том, каково назначение каждой из этих форм в языке.

Вопрос этот очень важен для обоснования самого разграничения синхронии и диахронии. Подчеркивая, что в синхронии господствуют системные отношения, современные сторонники «чистой» синхронии утверждают, что лингвиста могут интересовать лишь сами эти отношения, а не то, что «стоит» за ними и что выражается с их помощью. Для сторонников такого понимания синхронии форма *вода* и форма *воду* действительно «одинаково переходят друг в друга и одинаково зависят друг от друга». Для тех же лингвистов, для которых категория отношения в языке не самоценна, подобная трактовка языковых явлений оказывается несостоятельной. Языковая категория отношения не только иерархична (есть более самостоятельные и центральные отношения и менее самостоятельные и более периферийные отношения), но и подчинена категории значения: удельный вес всякой категории отношения определяется тем значением, которое эта категория имеет в данном языке.

В новейшей синхронной грамматике, в особенности в американской дескриптивной лингвистике и в датском структурализме, категория отношения неправомерно вытесняет категорию значения. Синхронная грамматика превращается в грамматику отношений независимо от того, что выражают эти отношения. Л. Ельмслев, например, целиком присоединяется к положению Карнапа о том, что «каждое научное утверждение должно быть утверждением о соотношениях, не предполагающим знания или описания самих элементов, входящих в соотношения»³. То, что у И. А. Бодуэна де Куртене и у А. Мейе намечалось лишь как опасность отказа от категории значения (хотя в других случаях эти лингвисты сами прекрасно показывали, насколько внутренне необходима эта категория для языка), у Л. Ельмслева превращается в целостную и последовательную теорию языка без значений. Категория отношения неправомерно поглощает категорию значения⁴.

¹ И. А. Бодуэн де Куртене, [рец. на кн.:] В. Чернышев, Законы и правила русского произношения..., ИОРЯС, т. XII, кн. 2, СПб., 1907, стр. 495.

² А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, перевод с франц., М., 1954, стр. 79—80.

³ См. Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, «Acta linguistica», vol. VI, fasc. 2—3, Copenhagen, 1950—1951, стр. 63.

⁴ См. сводку многочисленных выступлений, направленных против категории значения в языке, в статье Ch. C. Fries; Meaning and linguistic analysis, «Language».

Разграничение синхронии и диахронии обычно проводится так, что весь современный язык противопоставляется его историческому прошлому. При этом современный язык изучается в том виде, в каком его употребляют все говорящие на нем люди, тогда как о прошлом состоянии языка обычно судят не по свидетельству говорящих, а по письменным памятникам, по косвенным источникам или по реконструкциям.

Между тем понятие современного языка — сложное и неоднородное понятие. Если это понятие расширить хотя бы с помощью одного компонента — литературного языка, то разграничение синхронии и диахронии окажется более многоплановым. Прошлому состоянию языка будет тогда противостоять не близкий и недифференцированный современный язык, а современный язык в его разных языковых стилях, в частности в таких очевидных языковых стилях, как устно-разговорный, с одной стороны, и литературно-письменный — с другой.

Поясним это положение. Известно, что предлог *благодаря* образовался из деепричастия *благодаря*. В современном языке *благодаря* — предлог и *благодаря* — деепричастие являются омонимами, но еще в XIX в. оба эти слова употреблялись с винительным падежом («Теперь, *благодаря* г. Брайдта, мы узнали ее», Белинский. «Ей теперь, *благодаря* бога, лучше...», Аксаков¹), тогда как в наше время *благодаря* как предлог употребляется с дательным падежом (*Благодаря Петрову, мы поняли данное заключение*).

В устно-разговорном языке теперь вполне возможно сказать *благодаря ему я сломал себе ногу*. Примеры такого рода показывают, что *благодаря* как предлог оторвалось от *благодаря*, являющегося деепричастием от глагола *благодарить*, в противном случае подобное предложение было бы невозможно. Но почему, однако, предложения типа *благодаря ему я сломал себе ногу* редко встречаются в литературно-письменном языковом стиле, в авторской речи хороших стилистов? Ответ напрашивается сам собой: по-видимому потому, что в определенных условиях в предлоге *благодаря* начинает «светиться» огонь его старого значения, который едва ли не совсем потух в устно-разговорном стиле и в народном языке².

vol. 30, № 1, 1954, стр. 57, и сл. Заявления новейших глоссематиков о том, что в самом отношении заключено значение, оказываются неубедительными, так как категория отношения продолжает рассматриваться как категория нематериальная. Очень показательны в этом плане выступления Л. Ельмслева на восьмом всемирном конгрессе лингвистов в августе 1957 г. («Reports for the Eight international congress of linguists», Oslo, 1957, vol. II).

Декларативное утверждение, что категория значения является объектом лингвистического изучения, еще не обеспечивает ни правильного понимания самой категории значения, ни действительного ее изучения в науке о языке. Между тем находится немало лингвистов, которые рассуждают так: поскольку часть структуралистов признает категорию значения в языке, критика их концепции будто бы становится невозможной. Подобный вывод по меньшей мере наивен: проблема заключается не в том, признается ли декларативно категория значения в языке или не признается, а в том, как она понимается и как изучается в науке о языке (ср. соответственно признание или непризнание истории языка, связи языка с мышлением, развитием общества и т. д.).

¹ Примеры см. В. И. Чернышев, *Правильность и чистота русской речи*, Опыт русской стилистической грамматики, СПб., 1911, стр. 171.

² См. материалы в статье Е. Т. Черкасовой «К вопросу об образовании отглагольных предлогов» (сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1956, стр. 138—151), где наряду с примерами безразличного к внутренней форме слова употребления *благодаря*, приводятся и такие, как: «... Если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только *благодаря* их доброты» (Л. Толстой, Воскресенье); «... Я ведь в десятом году уцелел *благодаря* Арсению Романовичу» (К. Федин, Необыкновенное лето).

Если в народном языке и в устно-разговорном языковом стиле *благодаря* как предлог и *благодаря* как деепричастие ничего не имеют между собой общего и употребляются как омонимы, то в письменно-литературном языковом стиле соотношение складывается иначе: связь с семантикой глагола в самом предлоге еще в какой-то мере здесь ощущается (экспериментальным доказательством чего может служить стилистическая неловкость выражения типа *благодаря ему я сломал себе ногу*). Следовательно, если разрыв синхронии и диахронии безусловно наблюдается в одних языковых стилях, то он отнюдь не столь безусловно выступает в других языковых стилях. К этим же случаям относятся многие из тех примеров, которые вызывают затруднения у лексикографов: отнести ли некоторые значения слов к полисемии или рассматривать их как самостоятельные слова, омонимичные к первому слову.

Совсем недавно старший советский писатель Ф. Гладков справедливо протестовал против такого понимания существительного *окот*, при котором некоторые писатели не считаются с его внутренней формой. Ф. Гладков полагает, что только кошки котятся, коровы телятся (отсюда *отёд*), овцы ягнятся, лошади жеребятся, свиньи поросятся, собаки щениятся. «Но, — продолжает писатель, — чтобы корова или овца котилась — это действительно достойно смеха»¹. В языке художественной литературы внутренняя форма слова ощущается острее, чем, например, в разговорном стиле языка, потому что, что проходит иногда незамеченным в простом диалоге (*окот скота*), оказывается невозможным в художественной речи.

Связи между определенными группами слов, ослабевающая в одном стиле, оказываются достаточно прочными в другом языковом стиле.

Итак, если противопоставить прошлому состоянию языка современный язык в целом, не дифференцируя его на разные языковые стили, то отделить синхронию от диахронии оказывается легче, чем в том случае, когда само понятие современного языка осложняется языковыми стилями. В этом последнем случае отдельные звенья синхронии могут оказаться более связанными с диахронией. Следовательно, само разграничение синхронии и диахронии зависит от того, как понимается современное состояние языка, система его внутренних отношений. Так как основные языковые стили² органически присущи почти каждому современному языку, располагающему письменностью, то необходимый учет языковых стилей непосредственно должен отразиться на характере разграничения синхронии и диахронии.

6

Остановимся теперь на вопросе о том, как следует понимать систему в лексике.

Утверждение, что системные отношения, общепризнанные в грамматике и фонетике, остаются неясными в лексике, стало почти общим местом. Если грамматика «складывается» из сравнительно небольшого числа частей речи и грамматических категорий, то лексика, распадаясь на бесчисленное множество как бы разрозненных и постоянно пополняемых и видоизменяемых слов, кажется мало поддающейся системному изучению. Чтобы выйти из подобного затруднения, отчасти определяемого спецификой самого объекта изучения, в XX столетии сформировалось немало новых направлений в лексикологии и семасиологии: школа, изучающая

¹ Ф. Г л а д к о в, О культуре речи, «Новый мир», 1953, № 6, стр. 233.

² Об этом см. Р. А. Б у д а г о в, К вопросу о языковых стилях, ВЯ, 1954, № 3 стр. 54 и сл.

слова в связи с историей вещей, теория смыслового поля слова во всех ее многочисленных разновидностях, теория «слов ключей» Маторе, теория статистических подсчетов различных слов в языке определенной эпохи, а также у отдельных писателей и общественных деятелей и т. д.

Проблема системы в лексике остается, однако, по-прежнему очень сложной. Несколько не претендуя в последующих строках на широкое освещение этой важной проблемы, попытаемся обратить внимание лишь на некоторые ее стороны.

В отличие от грамматики, где отношения сравнительно ясно обрисовываются, в лексике отношения менее очевидны. Слова выражают отношения, поэтому отношения в лексике обычно сводятся к отношениям, существующим среди понятий. Система в лексике подменяется системой понятий. Стоит только обратиться к всевозможным западноевропейским словарям типа «от идей к словам», чтобы убедиться, как происходит эта подмена. В так называемых аналогических или идеологических словарях — «от слов к идеям и от идей к словам»¹ — слова группируются вокруг различных понятий и представлений, которые ассоциируются с этими словами. Так, например, рядом со словом *животное* легко найти названия самых различных животных (*лошадь, верблюд, обезьяна, лев* и пр.), названия многочисленных видов обращения с животными (*воспитание, селекция, кормление, дрессировка* и пр.), состояний и свойств тех или иных животных (*дикие, домашние, прирученные* и пр.), названия научных дисциплин и своеобразных реалий, относящихся к животным (*зоология, естественная история, физиология животных, зоологическая лаборатория, ветеринария, организм*) и т. д.

Как ни полезны сами по себе такого рода группировки понятий², они все же не имеют непосредственного отношения к системе в лексике. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что такого рода группировки могут применяться без всяких изменений к любому языку (в каждом языке имеются и названия животных и названия свойств этих животных и т. д.), тогда как система в лексике должна стремиться прежде всего к тому, чтобы установить специфические особенности лексики каждого языка³. Нельзя не обратить внимания и на то, что такого рода группировка подменяет систему слов системой вещей, т. е. отождествляет слова и те понятия, которые с помощью этих слов выражаются.

Если, как мы видели выше, изучение системы в грамматике приводит многих ученых к тому, что они начинают изгибать категорию значения при помощи категории отношения, то изучение системы в лексике приводит к обратным результатам: категория значения, понимаемая как категория логическая, по существу вытесняет категорию отношения. Между тем систему в лексике, как и систему в грамматике, нельзя строить ни на основе одной категории отношения, ни на основе одной категории значения. Единство категорий значения и отношения очень существенно как для системы в грамматике, так и для системы в лексике.

Еще в семидесятых годах прошлого столетия А. А. Потембин предложил

¹ См., например, Ch. Maquet, Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les idées, des idées par les mots, Paris, 1936; C. D. Bueck, A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages. A contribution to the history of ideas, Chicago, 1949; J. Casares, Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea, Barcelona, 1957.

² См. R. Hallig und W. Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie, Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin, 1952.

³ Подобно тому как грамматическое исследование отдельного языка выявляет специфические (наряду с общими) особенности данного языка в области грамматики.

различать ближайшее и дальнейшее значения слова¹. Под ближайшим значением слова Потебня разумел такое значение, которое обычно всеми понимается и фиксируется в толковых словарях. Дальнейшее же значение слово приобретает в тех специальных научных или профессиональных областях, к которым оно часто относится. Слово *дерево*, например, в его ближайшем значении осмысливается примерно как «многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями», тогда как с ботанической точки зрения такое понимание дерева явно недостаточно. При перечислении всевозможных чисто ботанических признаков дерева (например, классов однодольных, двудольных и пр.) переходит от ближайшего к дальнейшему значению слова *дерево*. То же следует сказать и о таких, самых разнообразных словах, как *жизнь, погода, земля, цветок, движение, атом, электричество* и т. д.

Ближайшие значения слов — это тот своеобразный лексический минимум значений, который обеспечивает взаимное понимание всех людей, говорящих на данном языке, независимо от их специальности, профессиональных взглядов, привычки иметь дело больше с одними предметами и меньше — с другими. Разумеется, языковед, рассматривая значения различных слов, может быть компетентным только в области их ближайших значений. В противном случае языковедение превратилось бы в своеобразную «науку наук», в универсальную область всех человеческих знаний.

Несмотря на всю очевидность различия между ближайшими и дальнейшими значениями слова, с ним считается в известной мере лишь современная лексикография², но очень мало — современная лексикология. Между тем, отмеченные типы значений слова оказываются в основе разных словарей: на основе ближайших значений слова строятся толковые словари, на основе дальнейших — словари энциклопедические.

В языке могут быть слова, имеющие только дальнейшие или узко специальные значения. Такого рода слова — очень специальные термины — обычно не попадают в толковые словари, хотя и могут фиксироваться в словарях технических. Следовательно, различие отмеченных значений слова прямо или косвенно находит отражение в структуре разнотипных словарей, в принципе отбора слов для тех или иных словарей.

Можно, как нам кажется, утверждать, что ближайшие значения слов это то же, что синхронные отношения в грамматике — они понятны всем говорящим на данном языке. Если синхронные грамматические отношения бессознательно усваиваются всеми носителями данного языка (с той поправкой, которая была сделана выше), то и ближайшие значения слов воспринимаются тем же коллективом людей. Поэтому, когда возникает вопрос, как следует осмысливать систему в лексике, нужно иметь в виду прежде всего ту лексику, которая фиксируется в толковых словарях и строится на ближайших значениях слова. В противном случае окажется невозможным обнаружить специфику системы в лексике в отличие от системы в понятиях и представлениях.

Разграничение ближайших и дальнейших значений слова дает возможность установить, что в смысловом содержании слова относится к языку и что — к логике, к специальным научным знаниям. П о д о б н о е

¹ А. Потебня, Из записок по русской грамматике, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 8. Названия «ближайшее и дальнейшее» значения слова условны и не очень удачны, но мысль Потебни очень существенна.

² Н. P a u l, Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie, «Sitzungsberichte der philos.-philol. und der hist. Kl. der Wiss. zu München», Jg. 1894, стр. 69; Л. В. Щербачева, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 89 и сл.; F. H i o r t h, On the subject matter of lexicography, «Studia linguistica», année IX, № 2, Lund — Copenhagen, 1955.

разграничение должно не удалить слова от их значений, а приблизить слова к их подлинным значениям, показать специфику этих значений.

Систему трудно, однако, построить без специфических категорий, на которые опирается сама эта система. Такие категории очевидны в грамматике, но они совсем не очевидны в лексике. В лексике подобными внутренними по отношению к самой лексике категориями являются: значение и употребление слова, свободное и несвободное значения слова, полисемия и омонимия, неологизмы и архаизмы, слова с отчетливой внутренней формой и слова, внутренняя форма которых неясна говорящим, и т. д. Думается, что в лексике точно так же имеются коррелирующие категории, как и в грамматике (единственное и множественное число, прямой и косвенный падеж, настоящее, прошедшее и будущее время и т. д.). К сожалению, коррелирующие категории в лексике почти совсем не изучены, не систематизированы и даже не описаны. В разных языках коррелирующие категории в лексике и соприкасаются и различаются. Соприкосновение обнаруживается в самом наличии тех или иных категорий во многих языках, различие — в способе и характере реализации этих категорий в языке. Так, например, несвободное значение слова в одних языках может иметь очень широкое распространение, а в других — сравнительно меньшее. По-разному проходят границы между омонимией и полисемией, значением и употреблением слова и т. д. Задача исследователя заключается в том, чтобы выяснить условия, определяющие подобные различия и расхождения в лексической системе многих языков.

Как и в грамматике, в лексике могут быть не только парные противопоставления, но и более сложные. Ср., например, моносемия, полисемия, омонимия; свободное значение слова, относительно связанное значение слова (фразеологическое сочетание), абсолютно связанное значение слова (идиома).

Основная трудность заключается в том, чтобы показать, как совокупность коррелирующих категорий образует систему в лексике. Иными словами: как коррелирующие между собой категории в лексике образуют общелексическую корреляцию или систему. Если корреляция внутри отдельных групп очевидна (не может быть распада полисемии без наличия самой полисемии, моносемия предполагает понятие полисемии, свободное значение — связанное значение и т. д.), то исследование общелексической корреляции всех этих отдельных категорий — дело будущего.

В лексике так же нужно отталкиваться от софизма с кучкой песка, как и в грамматике, памятуя, что категории не механически соприкасаются между собой, а органически образуют систему. Открытым остается вопрос о том, сколько категорий, как и в каких языках образуют систему.

Итак, здесь была сделана попытка показать, что:

1) понятие системы языка не должно употребляться недифференцированно по отношению к разным языкам и разным сторонам одного и того же языка;

2) нельзя приравнивать синхронию к «естественному состоянию» языка, на котором говорят люди, поскольку синхрония, как область науки о языке, предполагает такое же активное вмешательство человека в сложный механизм языка, как и диахрония;

3) при изучении системы языка важно установить границы «системности» каждого ряда, входящего в систему. В одном языке системный ряд может опираться на одну парадигму, в другом языке аналогичный системный ряд выводится из множества парадигм. В этом обнаруживается связь между системными соответствиями отдельных категорий и грамматической системой языка в целом;

4) считая, что система оперирует отношениями, нельзя забывать, что сами эти отношения являются средством выражения определенных значений. Попытки изгнать категорию значения из современного языкознания, предпринимаемые многими лингвистами, не могут не окончиться фиаско, так как язык является средством общения и выражения мысли;

5) противопоставление синхронии и диахронии должно вестись лишь в плане установления специфики каждой области, а не в плане метафизического и абсолютного их обособления. Здесь была сделана попытка показать, что при учете различных стилей языка связь тенденций исторического развития языка с его синхронным состоянием обнаруживается отчетливее, чем в тех случаях, когда стили языка не принимаются во внимание. «Разорванные» в одном стиле, диахронные и синхронные тенденции переплетаются в другом стиле;

6) особо сложной представляется проблема системы в лексике. Учитывая глубокую и постоянную связь слов с понятиями, при установлении системы в лексике нужно основываться на лексических категориях. В этом случае обнаруживается подлинное взаимодействие (а не смешение) слов и понятий, раскрывается специфика лексических значений слова и намечаются пути их группировки в системе лексики. Единство категории значения и отношения очень существенно не только для понятия системы в грамматике, но и для понятия системы в лексике.

Е. А. СЕДЕЛЬНИКОВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СИНТАГМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

(По поводу статьи Ф. Микуша «Обсуждение вопросов структурализма и синтагматическая теория»*)

Обсуждение проблем лингвистического структурализма, развернувшееся на страницах журнала «Вопросы языкознания», представляет собою значительное событие в нашей языковедческой науке. Нет нужды говорить о своевременности этого обсуждения. К сожалению, очень долго структуральные методы исследования не находили должного освещения в нашей лингвистической литературе и не были предметом серьезной и всесторонней оценки. В этой связи представляется совершенно обоснованной высказанная М. И. Стеблиным-Каменским мысль о необходимости «отказаться от господствовавшей долгое время в нашем языкознании практики, которая заключалась в том, что это лингвистическое течение рассматривалось как философская система»¹. Такая практика приводила к полному отрицанию возможности использования структуральных методов исследования в советском языкознании. Создалось явно ненормальное положение, когда наша широкая лингвистическая общественность была в крайне недостаточной степени знакома с современным состоянием лингвистического структурализма за рубежом.

Совершенно очевидно, что методы исследования не должны отождествляться с методологией и что исследователи, применяющие в работе одинаковые методы, могут быть сторонниками противоположных философских воззрений. Такое положение можно наблюдать, например, в физической науке. Примером тому могут служить также идеалистические взгляды многих представителей структурализма на Западе, с одной стороны, и весьма доказательное объяснение отношений между элементами синтагмы, данное Ф. Микушем в названной статье,— с другой.

Синтагматическая теория, даже в самых общих чертах, как она изложена Ф. Микушем, не может не вызывать самого пристального внимания. Многие положения синтагматической теории представляются весьма плодотворными, и кажется, что целый ряд принципиально важных, но спорных моментов грамматической системы современного русского языка мог бы получить объяснение при помощи некоторых положений синтагматической теории. Сюда можно отнести, в частности, вопрос об односоставных и двусоставных предложениях. Но к сколько-нибудь определенным выводам сейчас прийти, конечно, нельзя. Для этого необходимо, во-первых, более глубокое и детальное ознакомление с общими и частными вопросами синтагматической теории, чем то, которое может дать опубликованная в «Вопросах языкознания» статья Ф. Микуша, носящая по суще-

* ВЯ, 1957, № 1.

¹ М. И. Стеблин-Каменский, Несколько замечаний о структурализме, ВЯ, 1957, № 1, стр. 35.

ству характер тезисов. Во-вторых, нужны соответствующие исследования, основанные на большом фактическом материале.

Не останавливаясь на всех, в высшей степени интересных, положительных статьи Ф. Микуша, хотелось бы высказать по поводу ее несколько замечаний. Согласно разделяемым Ф. Микушем взглядам, структурализм представляет собою направление в лингвистике, одной из задач которого является рассмотрение объекта своего исследования — структуры речи и лингвистического знака — как чего-то имманентного¹, как системы, подчиняющейся своему собственному порядку². Провозглашая вслед за Ф. де Соссюром «единственным и истинным объектом лингвистики... язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»³, представители структуральной лингвистики тем самым сосредоточивают внимание исследователя на изучении специфически языковых явлений. Плодотворность выделения внутренней лингвистики, изучающей собственно языковую систему, и лингвистики внешней, занимающейся тем, что в какой-то мере соприкасается с системой языка, но не входит в нее органическим элементом, несомненна. Несмотря на всю важность познания внешних лингвистических явлений, подмена и смешение этих различных объектов исследования, наблюдаемые в большей или меньшей степени у представителей других направлений в современном языкознании, не может не сказываться и на перспективах развития языкознания как науки о специфическом общественном явлении, и на успешном развитии дисциплин, относимых к внешней лингвистике.

Если представители различных структуралистических школ на Западе либо не знакомы с марксистско-ленинской философией, либо являются ее противниками, то Ф. Микуш, как это видно из его статьи, делает попытку применить структуральный метод исследования, исходя из методологии материалистической и диалектической. Именно тот факт, что Ф. Микушу удалось показать диалектическое единство двух функций, присущих каждому лингвистическому знаку, в том числе и синтагме (отождествляющая и различающая функция)⁴, оказывается наиболее существенной чертой, отличающей синтагматическую теорию от всех других направлений в структуральной лингвистике.

Вместе с тем провозглашение имманентности языка, рассматриваемого в самом себе и для себя, таит в себе определенную опасность, которой, как думается, не избежал и Ф. Микуш, разделяющий свойственный структурализму вообще взгляд на язык как на нечто абсолютное в своей имманентности.

Известно, что одно из основных положений материалистического языкознания — положение о диалектическом единстве языка и мышления⁵. Язык существует потому и для того, чтобы быть средством общения и средством формирования мысли, и эта его сущность не может быть не принята во внимание любой теорией, если она строится на основе марксистско-ленинской методологии. Диалектическое единство языка и мышления нельзя относить к области внешней лингвистики. Наоборот, им определяется специфика языка как элемента этого единства, как особого общественного явления, подлежащего изучению особой научной дисциплиной.

Не принимая этого во внимание, нельзя приблизиться к правильному пониманию природы языка, его функций, а следовательно, и его струк-

¹ См. Ф. Мик у ш, указ. соч., стр. 28.

² Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 45.

³ Там же, стр. 207.

⁴ См. Ф. Мик у ш, указ. соч., стр. 130.

⁵ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 3, М., 1955, стр. 29.

туры. Ф. де Соссюр и многие его последователи говорят о «механизме» языка как о единственном объекте лингвистического изучения. Но (используя это сравнение) можно ли разобраться в строении какого-либо механизма, если не исходить из знания, для чего служит этот механизм, какова функция его в целом, какова функция каждой детали этого механизма? Очевидно, что без такого знания наши представления о данном механизме не могут быть истинными.

Между тем все существующие структуралистические направления, включая и синтагматическую теорию, как это видно из статьи Ф. Микуша, рассматривают язык безотносительно к основной его функции — быть средством общения и средством формирования мысли. Они исследуют лишь взаимные отношения лингвистических знаков и не учитывают того, что каждый из этих знаков — лингвистических единиц — нужно рассматривать не только с точки зрения их взаимных отношений, но и одновременно с точки зрения той функции, которую данная лингвистическая единица выполняет как элемент диалектического единства языка и мышления.

В этой связи нельзя считать случайностью, что наиболее существенных успехов применение структуральных методов исследования позволило достичь в фонологии — таком разделе науки о языке, который оперирует лингвистическими единицами, непосредственно не соотносящимися с единицами мышления (хотя, безусловно, и они не могут быть вне такого соотношения, более опосредованного и сложного). Не случайно и то, что все попытки применения структуральных методов исследования за пределами фонологии не привели до сих пор к сколько-нибудь существенным положительным результатам.

В приложении непосредственно к синтагматической теории сказанное выше приводит к следующим соображениям. Двусторонняя сущность лингвистического знака является необходимым и неотъемлемым, внутренне присущим ему свойством. Языковой знак создается и определяется его функциями средства общения и средства формирования мыслей. Рассматривать язык в самом себе и для себя возможно только в том случае, если учитывать эти основные функции как в отношении отдельной лингвистической единицы, так и системы единиц в целом.

Таким путем устанавливается функциональное соотношение между языком и мышлением. Это функциональное соотношение представляется не менее важным, чем все остальные функциональные соотношения, на которые указывает Ф. Микуш¹, в том числе и функциональное соотношение между языком и речью. Поэтому синтагма, будучи знаком речи, должна рассматриваться (как, впрочем, и любой знак языка) не только как «диалектическое единство двух частей, выполняющих по отношению друг к другу две взаимозависимые, взаимосвязанные и взаимоопределяемые функции»² — это глубоко правильно! — но и как единый знак, выполняющий определенную функцию в общении между людьми и в формировании мысли. Если не учитывать эту функцию синтагмы, то нельзя объяснить несомненный факт существования разных типов синтагм, причем типов, качественно отличающихся друг от друга. Семимологическая функция, функция отождествления и различения значимостей, является общей для всех лингвистических единиц. Она их объединяет, формирует их единство.

Семимологической функцией, как убедительно показывает Ф. Микуш, обладают не только синтагмы. Любая фонема также представляет собою

¹ См. Ф. Микуш, указ. соч., стр. 28—30.

² Там же, стр. 29.

«отождествляюще-различающую „ценность”». Но отличие синтагмы от такого лингвистического знака, как фонема, заключается не в одном том, что функции отождествления и различения распределяются между ее частями. Это является результатом наличия соотношения между каждой синтагмой и какой-либо формой мышления (суждением или понятием) и отсутствием такого непосредственного соотношения между формами мышления и фонемой.

С точки зрения семиологических функций следующие синтагмы отличаются друг от друга. *Он* (функция отождествления) *студент* (функция различения); *дом* (функция отождествления) *отца* (функция различения). Ф. Миксуш и не пытается устанавливать факт различия между синтагмами такого типа. Для него вполне достаточно того, что обе синтагмы строятся по принципу прогрессивной последовательности и что они, следовательно, как лингвистические знаки родственны.

Однако мне кажется, что факт несомненного различия, имеющегося между двумя этими синтагмами, ясен каждому непредубежденному человеку, и вряд ли его можно объяснить влиянием какой-либо грамматической системы, характеризующейся примитивным эмпиризмом.

Синтагма *он студент* служит единицей общения; синтагма *дом отца* — единицей, называющей отношения, в которые становятся между собою предметы и явления реальной действительности (она может стать единицей общения лишь при известных условиях). Синтагма *он студент* находится в соотношении с суждением; синтагма *дом отца* — в соотношении с понятием, хотя сложным и расчлененным, но единым. Различия между этими синтагмами определяются их функциональной соотносительностью с единицами мышления.

Таким образом, если семиологическая функция объединяет лингвистические знаки, определяет границы того объекта, который подлежит изучению лингвистики как самостоятельной научной дисциплины, т. е. внутренней лингвистики, то функция соотношения лингвистических знаков с единицами мышления (ее можно было бы назвать когнитационно-коммуникативной) определяет различия между типами лингвистических знаков как между единицами языка.

Различение типов лингвистических знаков (в том числе и типов синтагм) представляется мне необходимым и неизбежным, отражающим реальное положение вещей. В конечном счете, человек, совершенно не знакомый с грамматическими учениями, и даже неграмотный, в своей речевой практике отличает слово от предложения и словосочетания «тем же в сущности сносом, каким он узнает в том или другом животном корову или кошку»¹.

Отсутствие внимания к такому различению, невнимание к живым грамматическим категориям, несомненно, таит в себе опасность догматизма, опасность превращения любой теории в схему, оторванную от реального объекта изучения, ведет к упрощенному пониманию такого сложного общественного явления, как язык.

¹ O. Jespersen, The philosophy of grammar, London—New York, 1929, стр. 62.

Б. В. ГОРНУНГ

К ДИСКУССИИ О БАЛТО-СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОВОМ
И ЭТНИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ*

Гипотеза о балто-славянском языковом единстве, т. е. допущение существования в какую-то доисторическую эпоху такой выделившейся непосредственно из индоевропейской языковой общности или из другой, более узкой общности (например, из так называемой «группы satəm») диалектной группы, из которой могли бы развиться в дальнейшем как балтийские, так и славянские языки, имеет долгую историю.

Знать эту историю вопроса, хотя бы за последние 50 лет, необходимо во всех деталях и необходимо считаться с нею, ибо иначе всегда останется риск произвольного оперирования такими аргументами «за» или «против», которые уже фигурировали в полемике раньше и были подвергнуты критическому анализу. Возрождать давно известные аргументы, рассчитывая, что читателю неизвестно то, как они опровергались, нам представляется недопустимым.

Ярким примером такого игнорирования истории вопроса является статья Я. С. Отрембского «Славно-балтийское языковое единство»¹. При этом Я. С. Отрембский не указал достаточно четко, что он сам в предыдущих (относительно недавних) работах стоял на почти противоположных позициях, и не объяснил, почему он от этих позиций отошел.

Формулировать вопрос о балтийско-славянских языковых связях так, как он сформулирован в поставленном Советским комитетом славистов вопросе («Существовало ли... единство?»), сейчас уже нельзя. Так этот вопрос стоял в научной полемике 1911—1913 гг., вызванной специальной главой в книге А. Мейе «Индоевропейские диалекты»², но и тогда уже в решении его Я. М. Эндзелином и Я. Розвадовским была показана недопустимость такой прямолинейной и примитивной постановки. Полемика тех лет оставила нам ценнейший материал фактических наблюдений, который далеко не полностью был использован в последующей литературе. Однако с тех пор индоевропейское сравнительно-историческое языковедение и его исследовательская методика ушли далеко вперед. Поэтому сейчас «балто-славянская проблема», во-первых, не может разрабатываться изолированно от общей относительной хронологии этапов распространения индоевропейской речи в Средней и Восточной Европе и этапов постепенного дробления индоевропейского языкового единства. При этом, по нашему глубокому убеждению, в реализации этого дробления процессы интеграции различных типов (усиление контакта, взаимопроникновение и сдвиги говоров) не только постоянно сопровождали процессы дифференциации (распадения языковых единств), но и нередко преобладали над ними, так что сама дифференциация, т. е. разрыв прежних связей

* См. ВЯ, 1958, № 1, стр. 36.

¹ ВЯ, 1954, №№ 5, 6.

² A. Meillet, Les dialectes indo-européens, Paris, 1908.

являлась иногда только следствием интеграционных процессов; в развитии разнохарактерных в разные эпохи балто-славянских языковых отношений и связей эти особенности процесса развития родственных языков проявились особенно ярко и типично. Во-вторых, «балто-славянская проблема» в целом, как и в отдельности проблемы происхождения балтийских и славянских языков и вопрос о характере связей внутри каждой из этих групп, как и любая другая группа, касающаяся происхождения определенной группы индоевропейских языков, — должна рассматриваться как проблема комплексная, т. е. лингвистико-археологическая, а не чисто лингвистическая. Только в этом последнем случае могут быть введены в исследование территориальные уточнения, и относительной хронологии реконструируемых этапов могут в отдельных случаях сопутствовать абсолютно-хронологические гипотезы. Изучение генетических связей между языками «вне времени и пространства» лишает исследование подлинно исторических перспектив, так как начисто открывает историю языка от истории его носителей.

Методика разработки генетико-лингвистических вопросов должна быть направлена как на реконструкцию этапов доисторического развития индоевропейской языковой общности (вместо прежних стремлений установить статическую систему «праязыка эпохи распада»), так и на воссоздание одновременно существовавших пучков изоглосс, внутри которых территория могла раскаться на части другими изоглоссами, связывающими эти части с территориями внутри других пучков. И эти черты языкового развития выступают при анализе балтийско-славянских языковых отношений очень ясно.

Поэтому-то в свете методических достижений современной науки о языке и стало невозможным допускать существование «балто-славянского единства» без постановки вопроса: из чего, когда и в результате каких примерно процессов могло образоваться такое единство. Равным образом стало уже невозможным допускать, что это единство (если оно когда-либо и существовало) могло в какой-то определенный момент «распасться» на два новых единства («общеполтийское» и «общеславянское»), которые затем снова «распались» на отдельные славянские и отдельные балтийские языки, т. е. в части последних на языки прусский, латышский и литовский.

Уже исследования К. Буги заложили прочную основу для воссоздания сложнейших процессов образования тех балтийских языков, которые сохранились до исторической эпохи. Пусть некоторые конкретно-исторические выводы Буги остаются спорными или даже необоснованными, но опровергнуть его общий тезис о сложности и запутанности этих процессов и вернуться к прежним примитивным схемам уже невозможно. После К. Буги исследования, развивавшие его исходные положения, позволили сделать вывод, что языки латышской и литовской народностей образовались относительно поздно (между IX и XIII вв.) из частей р а з н ы х групп, и, следовательно, непосредственно из «общеполтийского» или даже «общевосточнобалтийского» («летто-литовского») выделяться не могли, а прусский, или «западнобалтийский», язык, по-видимому, вообще никогда не переходил в своем развитии далее стадии диалектной группы, в которую входили и ятвяжско-судавские диалекты, и диалекты, ассимилированные позже литовским языком (шалавский и надравский).

Я. М. Эндзелин убедительно показал, что прусский язык следует рассматривать в качестве очень специфической по своим связям языковой единицы — рассматривать его как в ряду балтийских языков, так и в ряду прочих индоевропейских языков. С такою же убедительностью К. Буги говорит о том, что в течение многих веков, когда еще бесспорно

существовало общеславянское языковое единство, никакого единства балтийских языков уже не было. Сейчас уже можно идти дальше К. Буги и допускать, что если даже и существовало когда-либо балто-славянское единство, оно «распалось» не на «общеполтийское» и «общеславянское» единства, а скорее на два других новых (относительных) языковых единства, которые у с л о в и о можно обозначить как «протославяно-прусское» и «протолетто-литовское». К последнему единству, относились все диалекты, из которых позже путем перегруппировок, ассимиляций и слияний сложились латышский и литовский языки. Однако К. Буга и примыкавший к нему Ю. Геруллис¹ не дошли до этого вывода и не отрицали существования какого-то изначального «общеполтийского» периода (Urbaltisch), как, к сожалению, не отрицают его до сих пор ни Я. М. Эндзелин, ни А. Сени, ни Э. Френкель, хотя обосновать это допущение какими-либо прочно установленными фактами нельзя. Только В. Пизани в своей работе «Balto e slavo»² и затем Я. С. Отрембский в своих рецензиях на труды Я. М. Эндзелина «Введение в балтийскую филологию»³ и «Звуки и формы балтийских языков»⁴ поставили понятие «Urbaltisch» под некоторое сомнение, хотя позже сам Я. С. Отрембский и отказался, по-видимому, от своего законного скептицизма.

Точка зрения автора настоящей статьи на этапы постепенного дробления индоевропейской языковой общности подробно изложена в тезисах доклада «Проблема распространения индоевропейской речи в доисторические эпохи». Она не может быть повторена здесь полностью. Укажем только, что мы не можем признать достаточно обоснованной гипотезу о длительном существовании «северноиндоевропейской» диалектной группы, в которую протобалтийские и протославянские диалекты якобы входили вместе с протогерманскими. Лексический материал, собранный в работах К. К. Уленбека, Ем. Георгиева, В. Махка и Ф. Шерера, еще не дает оснований для такого утверждения. Мы принимаем вслед за А. Мейе, Ф. Шехтом и многими другими лингвистами гипотезу о первоначальном членении индоевропейской языковой общности (после обособления хетто-лувийских языков) на две зоны: северо-западную, из которой вышли кельтские, италийские, венетские, так называемые «ллирийские», германские, балтийские, славянские и тохарские языки, и юго-восточную, из которой вышли греческий, армянский и индоиранские языки. Эти две зоны до конца III тысячелетия до н. э. не могут рассматриваться как окончательно обособившиеся, и в диалектах обеих зон продолжали развиваться в ряде случаев одни и те же языковые тенденции. Однако явления, очаг возникновения которых находился в одной зоне, распространялись в диалектах другой зоны в ослабленном виде, как бы затухая. Наибольшие различия между диалектами одной и другой зоны были в области лексики; в частности, только в северо-западной зоне была усвоена (иногда самостоятельно отдельными диалектами) лексика неиндоевропейского происхождения, распространявшаяся с юго-запада Европы вместе с носителями «культуры колоколообразных кубков» (ср., например, названия серебра).

¹ G. Gerullis, Baltische Völker, «Reallexicon der Vorgeschichte», Bd. I, 1924, стр. 335—342.

² «Studi baltici», v. II, 1932 (перепеч. в кн. V. Pisanì, Linguistica generale e indoeuropea, Torino, 1947, стр. 65—82).

³ «Slavia occidentalis», t. 18, 1947.

⁴ «Lingua posnaniensis», II, 1950, стр. 268—274.

⁵ «Тезисы докладов на Сессии Отд-ния ист. наук [АН СССР] и Пленуме Ин-та истории материальной культуры [АН СССР] ...», М.—Л., 1956, стр. 27—41.

Предположительно в самом конце III или на рубеже II тысячелетия до н. э., одновременно с ослаблением связей между этими двумя зонами, происходит распадение «северо-западной» зоны на «западную» (прото-кельто-иллиро-итало-германскую) и «северо-восточную» (протобалто-славяно-тохарскую). К носителям диалектов этой «северо-восточной» зоны надо предположительно отнести и тех носителей «культур боевых топоров», которые проникают в начале II тысячелетия до н. э. в Прибалтику и даже в южную Финляндию, а также носителей фатьяновской культуры в Средней России. Х. А. Моора считает, что в это-то время предки балтийских племен и попали в Прибалтику, причем были ассимилированы финнами только на территории Эстолии и южной Финляндии, а на территории значительной части Латвии (кроме районов, занимавшихся ливами до эпохи средних веков) и всей Литвы этническая и языковая преемственность имела место с начала II тысячелетия до н. э. и вплоть до нашего времени¹. Эту точку зрения мы считаем ничем не обоснованной. Б. А. Серебряников предполагает «наличие в лесной полосе в районе Волго-Клязьминского междуречья до появления в этих местах славян какого-то индоевропейского языка, весьма близкого к современным балтийским языкам»². Если гипотеза Х. А. Моора абсолютно неприемлема, то выводы Б. А. Серебряникова нуждаются по меньшей мере в уточнении. Ведь если речь идет о периоде «до появления славян» в верхнем Поволжье и на Оке (т. е. о первой половине I тысячелетия н. э.), то островки «восточнолитовского» (голядского) населения, вероятно, доходили в первые века н. э. и до этих мест, но с «фатьяновцами» эта несомненно балтийская (а не «близкая» к ней) речь ничего не имела общего, так как последние исчезли (были истреблены или ассимилированы автохтонами) еще в конце II тысячелетия до н. э. Эти два этапа (поглощенные «фатьяновцев» автохтонным населением и поглощение «голяди» восточными славянами), разделенные промежуток времени не менее, чем в 2000 лет, нельзя брать за одну скобку; перед приходом славян в указанных районах могла существовать просто восточнобалтийская речь в виде островков среди финнов, а за 2000 лет до этого среди автохтонного (повидимому, финского же) населения могли быть островки носителей индоевропейских говоров, «близких» к современным балтийским языкам только тем, что и те, и другие вышли из одной и той же «северо-восточной» индоевропейской диалектной группы.

Языковым схождением тохарских языков (особенно тохарского Б) с балтийскими (на что впервые обратил внимание Э. Френкель³) и славянскими (что отмечалось Э. Бенвенистом⁴) мы придаем исключительное значение. «Схождения» эти пока еще только-только намечаются, так как они прежде всего лексического характера, а исследовать тохарскую лек-

¹ Х. А. Моора, Памятники позднего неолита и ранней эпохи металла в Прибалтике, «Краткие сообщения... ИИМК», 1952, вып. 48, стр. 3—24; е го ж е, К истории сложения балтийских племен (см. указ. тезисы докладов на пленуме ИИМК, М., 1957, стр. 42—45).

После сдачи настоящей статьи в набор Х. А. Моора опубликовал новую статью «О древней территории расселения балтийских племен» (см. журн. «Советская археология», 1958, № 2, стр. 9—33). Концепция его остается прежней, но некоторые новые детали, естественно, не могли быть нами учтены.

² Б. А. Серебряников, О некоторых следах исчезновения индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам, «Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai», Serija A, 4, 1957, стр. 71; см. также стр. 69 и сл.

³ E. F r e n k e l ' s, Tocharų kalbos gramatika ir baltų kalbos, «Archivum philologicum», kn. III, Kaunas, 1932.

⁴ E. B e n v e n i s t e, Tokharien et indoeuropéen, «Hirt-Festschrift», vol. II, Heidelberg, 1936, стр. 237.

сику до кодификации ее в словарях Ван-Виндекенса (1941) и Поухи (1955) было очень трудно. Эти лексические связи оказываются вполне совместимыми с наличием беспорных фонетических и грамматических связей с хеттскими языками, на которых в последнее время особенно настаивает (расходясь с выводами Х. Педерсена, 1941 г.) Вяч. В. Иванов¹ (ранее на них попутно указывали А. Мейе и Э. Бенвенист). Относительно раннее полное обособление тохаров от всех прочих индоевропейцев должно было способствовать (как это часто бывает в маргинальных ареалах) сохранению таких архаических черт в строе языка, которые засвидетельствованы, не считая тохаров, только у хеттов (хотя -г- в пассиве известно также и у италиков и кельтов).

После ухода «протохарской» части «северо-восточных» индоевропейцев из Восточной Европы, что можно связывать с распространением «абашевской» культуры (генетически связанной с фатьяновской) за Волгу примерно по направлению Казань—Уфа—Магнитогорск, остаток еще не распавшейся «северо-восточной» индоевропейской диалектной зоны и можно считать тем общим источником, из многообразия говоров которого сложились, с одной стороны, «протобалтийские» диалектные группы (несколько, а не одна), а с другой стороны — те группы говоров, которые консолидировались в «протославянское» (условно «протопрусо-славянское») относительное языковое единство. К этой эпохе надо, очевидно, отнести и образование сходных, но не тождественных акцентологических систем славянских и балтийских языков. Это относительное единство на следующем этапе, после отпадения «протопрусских» диалектов, т. е. разрыва непосредственных связей с ними где-то в бассейнах Нарва и Бобра и на южной окраине Мазурских озер, стало исключительно тесным, устойчивым и долговременным (может быть, от конца II тысячелетия до н. э. до II—IV вв. н. э.). Это и было общее славянское языковое единство.

Только в изложенном выше смысле нам и кажется возможным говорить о «балто-славянском» генетическом единстве. Очагом диалектной группы, в которую уходят своими корнями в первой половине II тысячелетия до н. э. как все балтийские языки, так и общеславянские язык-основа (его можно назвать и «праязыком»), мы считаем ареалы распространения среднеднепровской, комаровской и тицинецкой культур эпохи бронзы. В этом вопросе Т. Лер-Славинский и П. Н. Третьяков расходятся только в частности². Расходимся в деталях то с одним из них, то с другим и мы. Но, отвлекаясь от этих частности, нельзя не принять (только для этой эпохи) основные линии концепции обоих ученых (лингвиста и археолога) почти безоговорочно и нельзя не отвергнуть с той же решительностью противоположную концепцию польского археолога Ю. Костшевского³, в которой в роли «праславян» эпохи бронзы оказываются носители раннедунайской культуры. «Балто-славянское единство» в его традиционном понимании Ю. Костшевский отвергает и отвергает правильно, но обоснование его неправильно от начала до конца, так как он игнорирует все, что было достигнуто К. Бугою и его продолжателями (Геруллисом, Фасмером, Кипарским и др.) в вопросе об образовании балтийских племен

¹ В. В. Иванов, О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов, «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Ин-та языкознания АН СССР...», М., 1957, стр. 27—35.

² См. Т. Лер-Славинский, Новая попытка освещения проблемы происхождения славян, ВЯ, 1955, № 1, стр. 152.

³ См. J. K o s t r z e w s k i, Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką a zagadnienie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej, «Slavia antiqua», t. V (1954—1956), Poznań, 1956.

и языков, и всё, что было достигнуто советскими археологами в вопросе о происхождении славян¹.

Указанное выше относительное единство племенных диалектов от среднего Диспра до Одера в середине II тысячелетия до н. э., которое можно считать «протобалто-славянским», хотя в него должны были входить и другие диалекты, не получившие прямого развития и позже поглощенные либо «протобалтийскими», либо «протославянскими», не могло быть в начале полностью обособлено от других индоевропейских диалектных групп. На юго-востоке этого широкого ареала происходило активное культурное (следовательно, в какой-то степени и языковое) взаимодействие носителей названного комплекса бронзовых культур с носителями культур позднетрипольского типа, которые, по всей вероятности, были в то же время посетителями диалектов «протофракийского» типа². На северо-западе происходило такое же (но менее активное до известного момента) взаимодействие с носителями культур унетичкой, предлужицкой и ряда других среднеевропейских культур, т. е. с предками кельтов, так называемых «северных иллирийцев» («иллиро-венетов», или «лугиев») и германцев.

Общеславянский язык-основа на первом этапе своего развития (т. е. до отрыва от него «протопрусских» диалектов) складывался, по-видимому, как в процессе внутренней консолидации (взаимопроникновение элементов языка носителей тичинецкой, комаровской и других близких или более восточных культур), так и в процессе постепенного отрыва от северо-западной периферии этого комплекса культур. За его периферией на северо-востоке складывались и распространялись далее на северо-восток же и позже на восток диалекты «протобалтийские» в собственном смысле или (условно) «летто-литовские». На втором этапе произошел отрыв «протопрусских» диалектов, и только тогда стало возможным образование того пучка изоглос, который характеризует реконструируемый нами «общеславянский язык-основу» в его отличиях от всех прочих индоевропейских языков, в том числе и от балтийских.

Разрыв тех генетических связей славянских языков с иранскими, которые мы наблюдаем в рамках существования так называемой «группы satem» (реально-исторически не «группы», а лишь нескольких концентрически расположенных изоглос), произошел не только значительно раньше окончательной консолидации общеславянского языка-основы, но и раньше образования «протославянопрусской» кратковременной общности. Хронологическое определение образования этих нескольких изоглос (как результата временного контакта части «северо-восточной» диалектной зоны с частью «юго-восточной») пока еще далеко не ясно, и никаких абсолютных дат установить еще нельзя, но совершенно очевидно, что рассматривать балто-славянские и славяно-иранские генетические языковые связи в одной и той же плоскости (даже если бы удалось четко отграничить эти последние от позднейшего славяно-скифского взаимодействия) недопустимо. Это положение было предвосхищено в заключительной части «Славяно-балтийских этюдов» Я. М. Эндзельна (1911),

¹ См. также, T. Le h r-S p ł a w i ń s k i, Wspólnota językowa bałto-słowiańska a problem etnogenezy słowian, «Slavia antiqua», t. IV (1953), Poznań — Wrocław, 1954.

² Термин «протофракийский» применен здесь в чисто условном традиционном смысле. Точнее было бы говорить о «протодакийских» или «дако-мизийских» диалектах, оставив термин «фракийцы» только за населением, жившим к югу от Дуная. Подробнее см. заключительную главу книги Вл. Георгиевна «Тракийский язык» (София, 1957, стр. 77—83). Румынские археологи (Р. Вульпе, Д. Попеску, ранее В. Парван), продолжают держаться широкого понимания термина «фракийцы» (доисторические), примененного, следовательно, и к носителям культур позднетрипольского типа.

хотя формулировка, данная там, еще не очень точна и была уточнена А. Сенном (в работах 1941 и 1954 гг.)¹.

На еще более позднем (третьем) этапе развития общеславянского языка-основы произошло культурно-этническое наслоение на «праславян второго этапа» с запада в результате экспансии лужицкой культуры. Это наслоение, отразившееся в языке, преимущественно в лексике (не только в появлении слов с фонетическим обликом типа «kentom»), не подлежит никакому сомнению, но Т. Лер-Сплавинский его значение несколько преувеличивает. Археологические исследования последних лет показывают, что раннежелезные культуры «предскифского» периода (X—VIII вв. до н. э.) в областях к западу от среднего Днепра («белогрудовский» и «чернолесский» этапы этого периода) обнаруживают тесную связь с бассейном верхнего Днестра, южной Польшей и даже основными районами лужицкой культуры этого времени². Это культурное единство и можно связывать с ареалом языкового единства «праславян третьего этапа», как это делали уже Буга, Фасмер и некоторые другие.

С VIII—VII вв. до н. э. начинается проникновение скифских (а не иранских вообще) элементов с юго-востока на северо-запад (вплоть до Силезии), которое, возможно, сопровождалось кое-где и языковой асимметрией (иранизацией) части «праславян»³. Перед лингвистами стоит задача распределения фактов славяно-иранских «схождений» и связей на два разделенные между собою огромным промежутком времени слои: слой древнейших генетических связей в недрах еще не распавшейся окончательно индоевропейской языковой общности (эпоха формирования «группы satem») и слой результатов славяно-скифского (позже славяно-сарматского и славяно-аланского) взаимодействия. Эта проблема была четко поставлена В. Пизани в докладе «Slavo e irano» на III Международном лингвистическом конгрессе в Риме (1933), но до сих пор не получила дальнейшей разработки.

Никаких балтийско-славянских языковых связей на упомянутых выше втором и третьем этапах существования «общеславянского (пра-славянского)» языка-основы проследить нельзя, а ранее (на первом этапе) такие связи захватывали лишь «протозападно-балтийские» диалекты (предков языков прусско-яввяжской группы). Следовательно, более широкий охват эти связи могли иметь только раньше, когда сам общеславянский язык-основа еще не консолидировался как языковое единство, т. е. как территориальное единство, ограниченное определенным лучком изоглосс. Это положение, которое начинает получать более полное освещение лишь при нынешнем состоянии лингвистической и археологической науки, было предвосхищено в 1912 г. Я. Розвадовским, который признавал балтийско-славянское языковое единство, но отнес его к III тысячелетию до н. э., после чего, по его мнению, протославяне и протобалты разделились совершенно обособленно, в разных условиях, во взаимодействии с разными языками и лишь через 1500—2000 лет (в первых веках н. э.)

¹ A. Senn, On the degree of kinship between Baltic and Slavic, «Slavonic and East-Europ. review», vol. 20, 1941, стр. 258—265; е г о ж е, Die Beziehungen des Baltischen zum Slavischen und Germanischen, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Neue Folge, Bd. 71, Hf. 3—4, 1954, стр. 162—188.

² Роль существовавшей незадолго высочкой культуры еще очень неясна, но едва ли толкуется правильно польскими археологами.

³ Ср. соображения А. И. Тереножкина о «скифах-пахарях» в докладе на пленуме ИИМК 1954 г. «Об этнической принадлежности лесостепных племен Сев. Причерноморья в скифское время» (см. ВДН, 1955, № 4, стр. 189). См. также автореферат его докторской диссертации «Предскифский период в днепровском лесостепном правобережье» (М., 1958, стр. 27—29).

вошли вновь в территориальное соприкосновение и в непосредственное взаимодействие.

Положение К. Буги о том, что до первых веков н. э. славянская территория в Поднепровье не заходила на север за Припять, за которой начиналась территория балтийских племен, сейчас едва ли можно оспаривать. Если же признать попытки П. Н. Третьякова археологически доказать более раннее проникновение славян в верхнее Поднепровье (и даже далее в верховья Оки) убедительными, то лингвистически «балто-славянскую проблему» придется признать неразрешимой и снять с повестки дня¹.

Вопрос о судьбе диалектов, из которых позже (после отпадения прусо-явтяжской группы от раннего протославянского ядра) развивались балтийские языки, и вопрос, почему общеполтийское единство следует считать очень относительным, выходят за рамки вопроса, поставленного Советским комитетом славистов.

Что же касается балто-славянского «этнического» единства, то даже постановка такого вопроса представляется нам неправомерной, так как она возвращает нас к временам блаженной памяти Адольфа Пикте с его «праарийскими идиллиями». Это — область уже не науки, а фантастики.

¹ Ознакомление автора (уже после сдачи статьи) с новейшими (еще не опубликованными) результатами исследований южнополесской «милоградско-подгорцевской» культуры конца I тысячелетия до н. э. в ее отношениях к ранневосточнославянской зарубинецкой культуре открывает возможности новых хронологических уточнений балто-славянских отношений накануне исторической эпохи, но несколько не нарушает изложенной выше концепции, а наоборот, подкрепляет ее.

ДЕЯТЕЛИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. Г. БАРХУДАРОВ

АКАДЕМИК С. П. ОБНОРСКИЙ

(К семидесятилетию со дня рождения)

Биография выдающегося советского лингвиста-русиста Сергея Петровича Обнорского несложна и представляет собою пример беззаветного служения науке. Родился С. П. Обнорский 14 (26) июня 1888 г. в Петербурге. Окончив гимназию в 1905 г., поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в пору расцвета там русской филологической науки. Интересуясь преимущественно славяно-русским языкознанием, он занимался под руководством И. А. Бодуэна де Куртене, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, П. А. Лаврова.

Под непосредственным влиянием А. А. Шахматова у Сергея Петровича сложился и четко определился живой интерес к науке о русском языке. По окончании университета он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорской деятельности и в 1915 г., закончив магистерские испытания, работал в качестве приват-доцента на кафедре русского языка Петроградского университета. В 1912 г. С. П. Обнорский был приглашен в Академию наук для участия в редактировании словаря русского языка, и с тех пор его научная деятельность связана с Академией наук. В 1916 г. С. П. Обнорский командирован для чтения лекций во вновь учрежденное Пермское отделение Петроградского университета, а в 1917 г. в связи с открытием самостоятельного Пермского университета Обнорский был зачислен в его состав в должности профессора. В 1922 г., вернувшись в Петроград, он занял должность профессора, заведующего кафедрой русского языка Университета, и занимал эту должность вплоть до осени 1941 г. — до эвакуации из Ленинграда в Казань. В 1931 г. С. П. Обнорский был избран членом-корреспондентом, а в 1938 г. — действительным членом АН СССР.

В 1943 г. после переезда из Казани в Москву Сергей Петрович работал профессором, заведующим кафедрой русского языка в Московском университете. В 1944 г. по инициативе Обнорского в составе АН СССР был создан в Москве Институт русского языка, директором которого он состоял до 1950 г., когда этот институт был объединен с Институтом языка и мышления в единый Институт языкознания АН СССР. Такова внешняя история жизни С. П. Обнорского. Она не богата событиями и целиком подчинена задачам изучения русского языка, подготовке кадров русистов.

Научная деятельность Сергея Петровича Обнорского, которая продолжается, все расширяясь и углубляясь, почти пятьдесят лет, поражает своей цельностью и монолитностью. Еще на студенческой скамье Сергей Петрович обстоятельно ознакомился с передовыми лингвистическими идеями своего учителя А. А. Шахматова, глубоко усвоил методiku его лингвистического анализа и в течение всей своей богатой творческой жизни следует шахматовскому направлению в русском языкознании. Жизнь и творче-

ство С. П. Обнорского складывались в сложных и противоречивых условиях роста советского языкознания. Но ни разу Сергей Петрович не отшел от своих принципиальных позиций, ни в чем существенном не уступал своим идейным противникам, никогда волна разных модных течений не отвлекла его от избранного направления. Он стойко и мужественно переносил все жизненные невзгоды, сохраняя чистоту и цельность своих научных убеждений.

*

С. П. Обнорский — прежде всего историк языка. Вне истории он не признает научного изучения языка. Историзмом пронизаны буквально все его исследования, в том числе работы научно-прикладного характера — по вопросам культуры речи, орфографии, нормализации языка. Разработке истории языка Сергей Петрович придает исключительное значение и особую важность. По его убеждению, «именно в истории русского языка, достаточно полно и глубоко разработанной, должны содержаться ключи к современному познанию русского языка, притом не только в прошлых стадиях развития языка, но и в современном его состоянии»¹.

Для С. П. Обнорского, как и для А. А. Шахматова, язык есть продукт исторического развития народа. «Именно в языке полнейшим образом — и притом в осмыслении самого народа — отпечатлеваются все этапы истории этого народа от отдаленнейших времен, все ступени, по которым направлялось движение его культуры»². Поэтому подлинная история языка является органической частью общей истории народа, истории его просвещения и культуры. «История русского языка, действительно, не может рисоваться какой-то совокупностью замкнутых в себе явлений и процессов, когда-то совершившихся, где-то протекавших, а где-то не осуществившихся и т. д. Процессы языковой жизни, языковых изменений протекают в необходимом взаимодействии с течением исторического процесса народности»³.

Свою научную деятельность Сергей Петрович начал с описания и анализа языка древнейшего русского памятника — Минея за ноябрь 1097 г. Это была студенческая семинарская работа, написанная под руководством А. А. Шахматова⁴. Уже в этом труде молодой ученый обнаружил прекрасную осведомленность в литературе вопроса, хорошее знание старославянских памятников, тщательность и обоснованность лингвистического анализа. У А. А. Шахматова Сергей Петрович научился критически изучать язык памятника, отграничивая пласт графических явлений от фактов языка, выделяя языковые напластования разных эпох, т. е. овладел той методикой исследования языка древнего памятника, которую позже он с таким успехом применил в своих «Очерках по истории русского литературного языка старшего периода». Типична задача, которую ставит перед собой исследователь: выяснить, «вышла ли Минея из-под руки одного переписчика, или их было несколько, а в последнем случае необходимо... определить их число»⁵. Выводы автора таковы: первая половина памятника (листы 1—108) по всем признакам несколько архаичнее второй (в смысле большей верности церковнославянскому языку), что говорит

¹ С. П. Обнорский, Академик А. А. Шахматов — историк русского языка. К 25-летию со дня смерти, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 2, стр. 78—79.

² С. П. Обнорский, Культура русского языка, М.—Л., 1948, стр. 3.

³ С. П. Обнорский, Академик А. А. Шахматов — историк русского языка, стр. 82.

⁴ Работа эта была напечатана лишь в 1924 г.; см. С. Обнорский, Исследование о языке Минея за ноябрь 1097 года, ИОРЯС, т. XXIX (1924), 1925.

⁵ Там же, стр. 167.

о существовании двух рукописей. Возможно, уже в составлении старославянского оригинала принимали участие два писца.

Характерна для шахматовской школы также следующая черта лингвистического анализа С. П. Обнорского, ярко проявившаяся и в его первой научной работе: это строгое расчленение, отграничение от общих явлений отдельных фактов языка, внешне подходящих к ним, но имеющих свою особую историю. Например, говоря о переходе сильных глухих в *o*, *e*, Сергей Петрович останавливается на написании *нбѣсѣхъ*: «Форма *нбѣсѣхъ* также знакома в церковнославянских памятниках; к тому же самая форма эта была чужда русскому языку, о чем свидетельствует написание *нбѣсѣхъ*: живой русский язык не знал существительных с основой на *ес* (как особую категорию склонения), а потому церковную форму им.-вин. мн. ч. *небеса* в склонении направил в категорию слов среднего рода на *o*, — аналогия *селѣхъ* дала *нбѣсѣхъ*. Таким образом, тут нет „перехода“ сильного глухого в чистый гласный»¹. Подобных частных историй отдельных слов или изолированных групп слов и их форм в данном исследовании немало количество.

Интересна и показательна для исследовательской манеры С. П. Обнорского небольшая его статья «„Беглое“ *в* в Супрасльской рукописи»². В начале статьи автор приводит весь относящийся к теме материал из памятника, распределив его на девять групп, и ставит вопрос: «Как объяснить эту неустойчивость в употреблении, эту „беглость“ *в* в Супрасльской рукописи?». Далее автор переходит к дифференцированному рассмотрению и объяснению материала.

Написание *дѣвѣста* (род. падеж ед. числа вместо *дѣвѣства*), встречающееся два раза (через три строчки) в памятнике, он объясняет несомненной опiskой (в тексте постоянно употребляется *дѣвѣство*). Примеры *гвоздимиши*, *гвоздвинааго*, при постоянных формах *гвоздичи*, *гвоздичинши*, объясняются прогрессивной ассимиляцией: начальное *гво* чисто фонетически привело к замене соседнего *ди* через *двн*. Формы *ржкоуть* — *ржковать*, *чоуство* и *чоуество* рассматриваются как лексические дублиеты, выросшие на почве исконого фонетического чередования *и* и *і* в междугласном положении.

Большинство же примеров с «беглым» *в* объясняется «предположением действия в прошлом в кругу данной лексики процесса аналогии с иными сходными образованиями»³. Таковы образования *шьствие*, *бѣчьствие* вместо первоначальных *шьствиѣ*, *бѣчьстикъ* (влияние многочисленной категории имен существительных на *-ьствикъ*); образования *благословѣствити*, *благословѣствовати*. «Следует вообще заметить, что воздействие образований на *-ствѣ* было особенно сильно именно в категории глаголов на *-овати*. Всякое глагольное образование на *-овати* с основой, оканчивающейся на *-ст*, либо вообще изменяло *-стовати* на *-ствовати*, либо допускало при *-стовати* также *-ст-в-овати*»⁴. С такой же тщательностью и четкостью написаны другие аналогичные ранние работы С. П. Обнорского: «Судьба *j*-та (*i*) в Супрасльской рукописи»⁵, «Глухые в сочетании с плавными в Супрасльской рукописи»⁶, «К истории глухих в Чудовской псалтыри XI века»⁷, «О языке Ефремовской кормчей XII века»⁸.

Среди первых трудов Сергея Петровича особое место занимает его ра-

¹ Там же, стр. 184.

² «Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского», Л., 1928 (сб. ОРЯС, т. СІ, № 3 — Статьи по славянской филологии и русской словесности).

³ Там же, стр. 420.

⁴ Там же, стр. 421.

⁵ ИОРЯС, т. XVII, кн. 3, 1912.

⁶ Там же кн. 4, 1912.

⁷ РФВ, т. LXVIII, вып. 2, № 4, 1912.

⁸ В серии «Исследования по русскому языку», т. III, вып. 1, СПб., 1912.

бота «К литературной истории „Хождения“ Арсения Селунского»¹. История ее появления такова. В 1913 г. В. П. Адрианова опубликовала текст «Хождения Арсения Селунского» по трем редакциям². Вопрос о национальности Арсения, а также о языке и времени написания памятника В. П. Адрианова оставила открытым, хотя, основываясь на названии города Селузь, где служил дьяконом Арсений, и на чисто славянском слове *чвекоть* «шум», она склонна была считать автора болгаряном. В 1914 г. появилась статья А. В. Маркова «Родина паломника Арсения Селунского», в которой автор на основе беглого обзора особенностей языка памятника приходит к решительному заключению, что язык этот великорусский, не с некоторыми западнорусскими элементами³. Выводы А. Маркова лингвистически были слабо аргументированы.

Это заставило С. П. Обнорского взяться за анализ языка «Хождения». Исходя из принципа, что «филологическое изучение памятника должно отправляться не от единичного факта, как бы он ни был своеобразен», а должно идти «от изучения всей совокупности данных памятника к объяснению сомнительных в нем частных»⁴, Сергей Петрович переходит к анализу графики, фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики древнейшего списка (XVI в.) памятника, особо отмечая все типически русское. Выводы из этого анализа таковы: «„Хождение“ Арсения Селунского есть памятник б о л г а р с к о й паломнической литературы; древнейший список его, известный нам в рукописи XVI века, — русской редакции, но, прибавим, безличной, не имеющей никаких данных для суждения о диалекте переписчика; следовательно, все особенности лексики и синтаксиса „Хождения“, равно уцелевшие от переписчиков следы особенностей графики и фонетики, должны получить объяснение только на почве болгарского языка»⁵. Что же касается вопроса о хронологии «Хождения», то высказывается предположение, что данный список является копией оригинала, относящегося к XV в. Эти наблюдения, рассуждения и выводы Сергея Петровича сохраняют свою убедительность и в наши дни.



Известно, что в русском языкознании недостаточное внимание в прошлом уделялось вопросам развития морфологического строя языка. Методология исследования морфологических явлений в должной степени не была разработана. В развитии морфологических явлений чрезмерное значение придавалось то фонетическим факторам, то законам аналогии, то семасиологическим причинам. Инвентарь морфологических категорий и форм и условия их употребления в живом русском языке не были выяснены и описаны. Письменные источники и народные говоры с точки зрения морфологического состава были изучены слабо. Заслуга С. П. Обнорского перед нашей наукой заключается в том, что он разработал приемы научного анализа морфологических явлений русского языка и дал обстоятельное, всестороннее исследование русского именного склонения.

Интерес к проблемам морфологии у Сергея Петровича зародился давно. В 1913 г. он опубликовал две статьи по русскому именному склонению — об употреблении род. падежа ед. числа на *-у, -ю* от существительных муж. рода в языке К. Н. Батюшкова⁶ и о формах склонения имен существи-

¹ ИОРЯС, т. XIX, кн. 3, 1914.

² ИОРЯС, т. XVIII, кн. 3, 1913.

³ РФВ, т. LXXI, вып. 2, № 2, 1914.

⁴ ИОРЯС, т. XIX, кн. 3, стр. 196.

⁵ Там же, стр. 202.

⁶ С. П. Обнорский, Одна особенность языка К. Н. Батюшкова, «Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко...», СПб., 1913.

тельных по сатирам Кантемира¹. В 1924—1925 гг. вышли из печати еще две статьи, посвященные именовому склонению с широким привлечением данных народных говоров. Это статьи о формах звательного падежа² и о двойственном числе в русском именовом склонении³. В 1927 г. выходит из печати первый выпуск монументального исследования «Именное склонение в современном русском языке»⁴. Второй выпуск был опубликован в 1931 г.⁵.

Это исследование как по охвату материала, по четкости лингвистического анализа и обоснованности многих выводов, так и по своим принципиальным положениям является крупным событием в советской русистике. Автор поставил перед собою огромную задачу: определив исходный момент изучаемого явления, проследить процесс дальнейшего его развития до современного состояния не только в литературном языке, но и во всех русских диалектах. Для разрешения такой сложной задачи прежде всего необходимо было привести в ясность все факты многочисленных народных диалектов, извлекая их из печатных и рукописных диалектологических источников (из описаний, исследований, ответов на программу, из записей различных произведений народного творчества и т. п.). Эта работа была выполнена с почти исчерпывающей полнотой. Распределенный по географическому принципу диалектный материал дал во многих случаях четкие изоглоссы. Обширные данные были извлечены из литературных источников.

Для объяснения явлений русского языка широко привлекались параллельные факты из украинского и белорусского языков, а также — по мере надобности — из других славянских языков. Учитывались и показания древних русских памятников. Хотя исследование носит ограничительное название «в с о в р е м е н н о м русском языке», но по существу перед нами обстоятельный труд по и с т о р и и русского именового склонения. Анализ морфологических явлений производится всесторонне, с учетом воздействий со стороны фонетических, акцентологических, семасиологических, стилистических факторов. Особое значение придается акцентологическим закономерностям, прекрасным знатком которых показал себя автор. Многие важные явления в области русского именового склонения [род.-местн. падежи ед. ч. на -у, (-ю), им. падеж мн. ч. муж. рода на -а (-я), -ья, многие формы род. падежа мн. ч. и др.] в исследовании получили новые, оригинальные, научно обоснованные толкования.

Все исследование завершается выводами, имеющими общетеоретическое значение. Главные из них таковы: 1) принцип аналогии, которым часто пользуются при объяснении изменений морфологических явлений, на самом деле имеет ограничительное значение в развитии морфологических процессов: воздействие аналогии здесь само имеет свои причины и оправдывается наличием известных факторов, обыкновенно фонетического порядка; 2) изучение определенных явлений русского именового склонения показывает, что в эпоху сложения великорусского единства в языке сохранялись еще унаследованные из старейших эпох интонационные различия в ударении; 3) развитие морфологической системы русского литературного языка протекает в условиях непрерывного воздействия со

¹ С. П. Обнорский, *Формы склонения по сатирам Кантемира*, РФБ, т. LXIX, вып. 4, № 1, 1913.

² С. Обнорский, *Die Form des Vokativs im Russischen*, «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. I, 1925.

³ С. Обнорский, *Dualspuren in der nominalen Deklination des Russischen*, «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. II, 1925.

⁴ С. П. Обнорский, *Именное склонение в современном русском языке*. Вып. 1 — Единственное число, Л., 1927 (сб. ОЯС, т. С, № 3).

⁵ С. П. Обнорский, *Именное склонение в современном русском языке*. Вып. 2 — Множественное число, Л., 1931.

стороны живой народной речи. Влияние же литературного языка на народную речь в области именного склонения ничтожно; 4) на русский литературный язык длительное и устойчивое влияние оказывало московское наречие. Начиная с Петровской эпохи, наряду с продолжающимся воздействием московской и вообще южновеликорусской народной речи, началось довольно значительное влияние и северновеликорусской народной стихии.

Большую научную ценность представляют и отдельные статьи Сергея Петровича, посвященные частным вопросам морфологии и фонетики. Небольшие по объему, предельно сжатые по изложению, они опираются на богатый материал (литературный и диалектный), специально подобранный, всесторонне проверенный, критически изученный и обследованный. Поэтому выводы автора звучат убедительно и обоснованно. Таковы, например, статьи: «Глагол *использовать* — *использовывать* в современном русском языке»¹, «Префикс *без* в русском языке»², «Сочетание *чи* в русском языке»³, «Переход *е* в *о* в современном русском языке»⁴.

Ценность этих статей не только в том, что в них раскрывается конкретная история движения изучаемых языковых явлений, но и в том, что в них показано, какими сложными путями шло развитие русского литературного языка, как «рост и развитие литературного языка, книжного в своем остове, протекало и протекает в условиях непрерывного воздействия на него со стороны диалектической стихии, этой основной питающей среды, дающей силы и жизненность самой литературной базе языка»⁵.

Вторая монография С. П. Обнорского — о русском глаголе⁶ — задумана в плане его «Именного склонения», но выполнена она не во всех частях так обстоятельно иательно иательно, как первая монография. Объясняется это отчасти тем, что «Очерки» представляют собою изложение курса лекций по истории русского глагола, читанных автором в тридцатых годах в Ленинградском университете. Лучшим разделом книги является раздел об образовании глагольных форм 3-го лица ед. и мн. числа настоящего времени⁷. По мнению С. П. Обнорского, образование форм 3-го лица на *-t-* было явлением вторичным, сложившимся на основе первоначальных форм без *-t-*. По морфологическому строению формы на *-t-* должны были содержать в своей флективной части какие-то элементы местоименного происхождения. Этими придаточными элементами в древнерусском, как и в старославянском, были *-тѣ* и *-тъ*, которые по происхождению являются указательными местоимениями *тѣ*, *та*, *то*.

*

Новое слово принадлежит С. П. Обнорскому в вопросе о происхождении русского литературного (письменного) языка в его отношении к старославянскому (церковнославянскому). Этот вопрос был в центре научных интересов русских лингвистов с начала возникновения научного, сравнительно-исторического языковедения.

А. Востоков в своем знаменитом «Рассуждении о славянском языке», выделяя в развитии славянского языка три периода (древний язык —

¹ Сб. «Язык и мышление», т. II—IV, М.—Л., 1935.

² Сб. «Памяти акад. Н. Я. Марра (1864—1934)», М.—Л., 1938.

³ «Труды комиссии по русскому языку», т. I, Л., 1931.

⁴ «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сб. статей и материалов», под ред. С. П. Обнорского, М.—Л., 1947.

⁵ С. П. Обнорский, Сочетание *чи* в русском языке, стр. 96.

⁶ С. П. Обнорский, Очерки по морфологии русского глагола, М., 1953.

⁷ Раздел этот раньше был опубликован как отдельная статья; см. С. П. Обнорский, Образование глагольных форм 3-го лица настоящего времени в русском языке. ИАН ОЛЯ, 1941, № 3.

в письменных памятниках от IX и за XIII столетие, средний язык XV и XVI столетий и новый славянский — язык печатных церковных книг)¹, характеризует развитие русского литературного языка следующим образом: «русский язык... берет на себя отличный от прежнего вид: издревнего русского, на каком писаны Правда Ярославова, Поучение Мономахова и Слово о полку Игореве, делается средним и русский — язык Судебника и Уложения, уступивший наконец место новейшему русскому языку 18-го столетия»². В рассуждениях Востокова трудно ожидать четкости и полной ясности, но для нас важно то, что он признает язык «Русской Правды», Поучения Владимира Мономаха и «Слова о полку Игореве» русским, а не «славянским».

И. И. Срезневский в своих «Мыслях об истории русского языка» также выделяет из состава памятников древнерусской литературы сочинения Владимира Мономаха, Слово Даниила Заточника, Хождение Даниила Паломника, летописи, «Слово о полку Игореве»; они, по его мнению, особо отличаются народностью слога, русской народной манерой выражения мыслей и образов³.

Более последовательную и выдержанную картину происхождения и развития русского литературного языка рисует А. И. Соболевский⁴. По его мнению, древняя Русь имела два языка письменности: 1) литературный и 2) деловой. Русский литературный язык по своему происхождению был церковнославянским языком русского извода; «церковнославянский язык был для Руси языком литературы в течение всего древнего периода русской истории, т. е. до конца XVII века»⁵. «Другим языком древнерусской письменности, деловым, был русский язык»⁶. Литературный церковнославянский язык отличался сложностью своего синтаксиса и богатством словарного состава. Деловой же русский язык характеризовался крайней простотой синтаксических оборотов и однообразием своего словаря. Считая русский литературный язык церковнославянским по происхождению, А. И. Соболевский не отрицал чисто русской основы древнейших наших памятников законодательного и делового характера, а также первоклассных литературных произведений — летописи и «Слова о полку Игореве».

А. А. Шахматов, как и А. И. Соболевский, противопоставлял древнерусский книжный язык, как язык литературный, деловому (актовому) языку древней Руси. Книжный язык, по Шахматову, русские заимствовали вместе с христианством из Болгарии. Этот инославянский по происхождению книжный язык, постепенно все более и более воспринимавший русские элементы⁷, делается родоначальником современного русского литературного языка, в котором и теперь содержится наполовину слов, форм и оборотов древнеболгарской книжной речи.

¹ А. Востоков, Рассуждение о славянском языке, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам, «Труды Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете», ч. 17, М., 1820, стр. 6.

² Там же, стр. 53.

³ И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, СПб., 1850, стр. 114.

⁴ «Лекция академика А. И. Соболевского „Русский литературный язык“», «Приложение к изд. „Труды первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях (22—31 декабря 1903 г.)“, СПб., 1904, стр. 365—366.

⁵ Там же, стр. 365.

⁶ Там же, стр. 366.

⁷ См. об этом А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка («Энциклопедия славянской филологии», вып. 11, 1), Пг., 1915, стр. XXXIX. Ср. также его «Очерк современного русского литературного языка» (4-е изд., М., 1941), гл. 1.

Так наши крупнейшие языковеды прошлого представляли себе происхождение русского литературного языка. Все они сходились в том, что истоки современного русского языка восходят к древнерусскому книжному, по происхождению древнеболгарскому, языку.

Нельзя сказать, что это мнение сложилось у языковедов в результате тщательного, всестороннего и глубокого изучения языка древнерусских памятников разного жанра. Исходили преимущественно из того самоочевидного факта, что вся многочисленная книжная церковная, богослужебная и поучительная, литература, среди которой совершенно терялись оригинальные русские произведения нецерковного характера, была написана на церковнославянском языке. К тому же язык оригинальных русских памятников также заметно был пронизан церковнославянскими. Особняком стоял лишь язык деловых памятников, в русской основе которого сомнения ни у кого не могло быть. Но деловые памятники занимали периферийное положение в письменной литературе и в силу этого не могли оказать определяющего влияния на развитие литературного языка. Кроме того, господствовавшее в нашей дореволюционной науке общее представление о всей духовной культуре древнего Киева как о культуре несамобытной, несамостоятельной, во всех своих ведущих линиях зависимой от византийской культуры, укрепляло убеждение в иноземном, южнославянском, происхождении русского литературного языка.

С. П. Обнорский до 30-х гг. также стоял на традиционной точке зрения по вопросу о происхождении русского литературного языка. Так, в статье «К истории словообразования в русском литературном языке» он пишет: «Призванный к жизни наш литературный язык был по происхождению своему не русским, а именно церковнославянским языком»¹. И вслед за своим учителем, А. А. Шахматовым, повторяет, что церковнославянский язык был орудием нашего просвещения, что «на нем стала пробовать свои первые силы наша оригинальная литература, он, короче, вступил в полные права нашего литературного языка, при том не только письменного, но, очевидно, и живого разговорного...»².

В 1934 г. С. П. Обнорский опубликовал статью о «Русской Правде», в которой выдвинул совершенно новую теорию о происхождении русского литературного языка³. Памятник этот был хорошо известен русским языковедам, и все отмечали преобладание в его языке чисто русских черт, но никто не придал этому факту принципиального значения и не сделал из него логического вывода. С иной точки зрения подошел к памятнику С. П. Обнорский. Он поставил перед собою задачу — на основе изучения языка пространной редакции «Русской Правды» по Синодальному списку 1282 г. восстановить лингвистический облик протооригинала. Задача довольно сложная, так как между списком 1282 г. и предполагаемым протографом лежит более 250 лет, в течение которых памятник неоднократно переписывался и соответственно видоизменялись отдельные его языковые черты.

Пользуясь разработанной А. А. Шахматовым методикой снятия языковых наслоений разных эпох, С. П. Обнорский тщательно обследовал язык «Русской Правды» во всем его объеме (фонетика, морфология, синтаксис, лексика) и пришел к следующим выводам:

1. Синодальный список «Русской Правды» содержит основную, первичного сложения (XI в.), редакцию «Правды».

¹ С. П. Обнорский, К истории словообразования в русском литературном языке, сб. «Русская речь», Новая серия, I, Л., 1927, стр. 75.

² Там же.

³ С. П. Обнорский, Русская Правда, как памятник русского литературного языка, ИАН СССР, Серия VII, Отд-ние обществ. наук, 1934, № 10.

2. Во второй половине XII в. уже в Киеве был составлен новый вариант первоначальной редакции «Русской Правды». Этот вариант и явился прямином оригиналом Синодального списка.

3. В языке изучаемого списка «Правды» четко отложились три слоя языковых явлений различного хронологического и территориального происхождения: а) непосредственно языку писца Синодального списка принадлежат такие явления, как цоканье и второе полногласие (черты новгородские); б) от ближайшего оригинала (киевского происхождения) в языке Синодального списка отложился ряд черт: употребление *ъ* на месте *е* в закрытом слоге, отсутствие следов ассимиляции по глухости в группе согласных, формы дат. падежа ед. числа *сынови* (не *сыноу*), 3-го лица ед. числа наст. времени на *-ти* (перед следующим *и*, формой вин. падежа ед. числа местоимения), устойчивость флексии *-и*, *-и* в им.-вин. падежах ед. числа муж. рода, отдельные книжные формы склонения и спряжения, отдельные элементы книжной лексики; в) богаче всего представлен третий слой, привнесенный в Синодальный список из основного, новгородского по месту сложения, оригинала «Правды», — это совокупность языковых явлений, характерных для русского языка старшего периода и чуждых болгарско-византийскому воздействию.

Таковы конкретные выводы из лингвистического анализа памятника. Опираясь на эти выводы, С. П. Обнорский высказал смелую научную гипотезу о том, что «русский литературный язык старшей эпохи был в в собственном смысле русским во всем своем остоге»¹.

Ход его рассуждения был таков. В «Русской Правде», этом старейшем памятнике русского литературного языка, представлен русский литературный язык старшей поры, существенными чертами которого были близость по структуре к разговорному стилю русской речи, полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской культурой, совершенное отсутствие церковной и вообще византийской лексики. Эти черты объясняются тем, что русский литературный язык складывался в старом культурном центре в Новгороде, вдали от влияния юга. Но зато на литературный язык того времени оказали заметное влияние иные культурные центры — со стороны германского (скандинавского) и, по-видимому, западославянского мира. Позднее на этот русский литературный язык оказала сильное воздействие южная, болгарско-византийская культура. «Оболгарение русского литературного языка следует представлять как длительный процесс, шедший веками *crescendo*»².

Эта гипотеза С. П. Обнорского, с одной стороны, перекликается со старым утверждением И. В. Ягича, что на юге Руси «духовное просвещение поддерживало более тесные сношения с Константинополем и южными славянами, господство чистого церковного языка продолжало быть сильнее и сознательнее, чем на далеком севере, завязавшем очень рано сношения с западным иноземством»³. С другой стороны, гипотеза Обнорского опирается на труд акад. Н. К. Никольского «Повести временных лет», в котором автор исследует вопрос о древнейших культурных связях восточных славян с западными⁴.

¹ С. П. Обнорский, Русская Правда, как памятник русского литературного языка, стр. 776.

² Там же.

³ И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889, стр. 5.

⁴ Н. К. Никольский, Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании, Л., 1930 («Сб. по русскому языку и словесности [АН СССР]», т. II, вып. 1).

Новая гипотеза по кардинальной проблеме русского языкознания, идущая вразрез с твердо установившимся в науке положением, настоятельно требовала дальнейших исследований и более обстоятельной аргументации¹. Это прекрасно понимал и Сергей Петрович. С целью дальнейшей аргументации своей гипотезы он приступил к изучению языка древнейших русских памятников [нецерковного жанра — «Русской Правды» (в краткой редакции), сочинений Владимира Мономаха, Моления Даниила Заточника, «Слова о полку Игореве»], на русскую природу которых обратили внимание и языковеды прошлого. Исследования этих памятников языка были объединены и изданы в одной книге². Задача и методика изучения здесь остались теми же: исследователя интересовало не простое описание языка данного памятника, а выявление языковых особенностей первичного его оригинала.

Лингвистическое изучение указанных памятников окончательно убедило ученого в безусловной справедливости его точки зрения на происхождение русского литературного языка. Правда, С. П. Обнорский более уже не выдвигает положения о исконных культурных, в том числе и языковых, связях русского севера с германским и западнославянским миром, но во всем остальном он считает свою гипотезу подкреплённой новыми данными и безоговорочно правильной.

Общие признаки русского литературного языка старшей поры теперь стали более отчетливо вырисовываться: во-первых, это общий русский его облик и в фонетике, и в морфологии, а особенно в синтаксисе и лексике; во-вторых, это архаический тип языка, характерный для русского языка XI—XII вв.; в-третьих, очень слабая доля церковнославянского влияния; к тому же, чем старше памятник, тем меньше в нем церковнославянских элементов. На основании новых данных С. П. Обнорский рисует такую картину сложения и движения русского литературного языка. Русский литературный язык сложился еще в доисторическую пору. Нормальный естественный рост русского языка в историческую пору осложняется появлением рядом с ним болгарского книжного языка как языка церковной письменности. Церковнославянский язык, хотя и был относительно близок к русскому языку, но как литературный язык, притом церковной книжности, он резко отличался от русского литературного языка, сложившегося на основе живого русского языка. Поэтому церковнославянский язык не мог ассимилироваться с русским языком. Этим объясняется слабое общее отражение церковнославянского языка на с и с т е м е русского языка.

Сильнее всего было лексическое влияние церковнославянского языка на книжный (преимущественно церковный) стиль русского языка. Отсюда уже определенные пласты церковнославянской лексики переходили в общенародный русский литературный язык. В процессе усвоения церковнославянской лексики русский язык обогатился и некоторыми морфологическими средствами.

«Этот процесс ассимилирования русским литературным языком элементов церковнославянского языка шел постепенно, из века в век нарастая. Его значение в общем развитии русского литературного языка было положительным... И все же воздействие церковнославянского языка на русский литературный язык не следует преувеличивать. Оно было односторонним,

¹ См. критические замечания А. М. Селищева в его посмертно опубликованной статье «О языке „Русской правды“ в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка» (ВЯ, 1957, № 4).

² С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946.

проявившимся в лексическом и стилистическом обогащении нашего языка, и почти не затронуло общих структурных его основ¹.

Гипотеза С. П. Обнорского о первичности восточнославянской основы в русском литературном языке получила в советском языкознании широкое распространение и приобрела большую популярность. Она вошла во все официальные программы и учебники по истории русского языка. Понятно, что эта гипотеза, как всякая другая новая научная гипотеза, еще нуждается в дальнейшей проверке и более широком обосновании. В частности, необходимо, пользуясь методикой лингвистического анализа памятника, так широко применяемой С. П. Обнорским, детально обследовать язык всех древнейших оригинальных русских памятников и в первую очередь — летописей и повестей. Но одно бесспорно: любой ученый, занимающийся историей русского литературного языка, не сможет пройти мимо теории С. П. Обнорского. В свете данной теории теперь ясны односторонность и схематическая прямолинейность господствовавших до сих пор представлений о церковнославянской основе русского литературного языка в целом. И в этом огромная заслуга С. П. Обнорского перед наукой о русском языке.

*

Вопросы становления норм русского литературного языка всегда были в сфере научных интересов С. П. Обнорского. Прекрасное знание истории нашего книжного языка и народных диалектов во всем их объеме давало ему возможность наметить пути развития грамматического строя и лексического состава русского литературного языка не только старой поры, но и XVIII—XIX вв.; при этом излюбленной темой его было выявление элементов северновеликорусской стихии в составе русского литературного языка. В этом отношении характерны и интересны две его статьи — о Ломоносове и о Пушкине.

В первой статье на основе изучения фонематических и морфологических явлений в филологических трудах Ломоносова и языке его произведений Сергей Петрович приходит к выводу, что «нормы Ломоносова, утвердившиеся в языке, смягчали московские устои прежнего литературного языка. Это было общим воздействием на литературный язык живой севернорусской стихии... Не все, конечно, что проводилось в язык Ломоносовым как севернорусом, должно было войти и вошло в оборот литературного языка. Черты, которые должны восприниматься как более или менее резкие местные, областные особенности, не могли ассимилироваться в общем литературном употреблении... Но основной костяк выдвинутых Ломоносовым норм языка определил дальнейшие судьбы его развития, пережил эпоху творческой деятельности Пушкина и служит живой основой современного нашего языка»^{2, 1}.

Вторая статья посвящена вопросам произносительных норм Пушкина и его времени. Изучение фонетики пушкинских рифм дало основание Сергею Петровичу утверждать, что «аканье Пушкина, в основном, аканье мягкого, северного типа, тишичное и для норм современного нашего литературного произношения»²; что произношение сочетания *чи* в известных группах лексики в языке Пушкина доминирует в виде *чи*, не по московской норме (*ини*), что также отвечает нормам современного литературного языка; что «по свидетельству языка Пушкина в литературных нормах его вре-

¹ С. П. Обнорский, «Культура русского языка», стр. 14.

² С. П. Обнорский, Ломоносов и русский литературный язык, ИАН ОЛЯ, 1940, № 1, стр. 63—64.

³ С. П. Обнорский, Пушкин и нормы русского литературного языка, «Труды юбилейной научной сессии [Ленингр. ун-та]. Секция филол. наук», Л., 1946, стр. 98.

мени постепенно изживалось архаически сохранившееся в отдельных словах фрикативное произношение согласного»¹. Таким образом, «можно видеть, что нормы литературного языка, отраженные Пушкиным, примыкают к северной разновидности литературного языка»².

Со статьями о литературном языке близко соприкасаются многочисленные работы С. П. Обнорского по вопросам культуры речи, по унификации правописания, по нормализации грамматических правил и правил словоупотребления. С этими вопросами Сергею Петровичу приходилось иметь дело длительное время в процессе редактирования академического словаря русского языка. В 1934 г. он выступил на заседании Отделения общественных наук АН СССР с докладом о русском правописании и языке в издательской практике³. Подвергнув критическому рассмотрению основные руководства-справочники по правописанию и по полиграфическому делу, выпущенные различными советскими издательствами, а также их печатную продукцию, Сергей Петрович показал большой разрыв между ними и низкий научный уровень почти всех ведомственных орфографических и грамматических справочников.

Чтобы направить разрешение важной проблемы унификации и нормализации русского правописания и спорных случаев русского словоупотребления по научному пути, Сергей Петрович предложил, чтобы Академия наук возглавила эту работу. Отделение общественных наук приняло предложение докладчика и создало специальную Орфографическую комиссию АН СССР под председательством С. П. Обнорского.

В серии статей С. П. Обнорский разработал и изложил принципы унификации русского правописания, определил основные направления нормализации русской речи, осветил центральные проблемы культуры русского языка⁴.

*

Важную сторону научной деятельности С. П. Обнорского составляет его работа в области лексикографии. В течение двадцати пяти лет (1912—1937) Сергей Петрович работал над «Словарем русского языка», издаваемым Академией наук, длительное время был руководителем и вдохновителем всей словарной работы в Академии. В настоящее время как член главных редакций академических словарей русского языка он принимает активное участие в их разработке. Ему принадлежит первая «Инструкция для редакторов», которая положена в основу дальнейших аналогичных изданий Академии наук⁵. Сергей Петрович составил восемь выпусков «Словаря русского языка» на букву Л. Первый из них, содержащий статьи на «Л — легкий», был издан еще при жизни А. А. Шахматова (в 1915 г.). Пройдя лексикографическую школу под непосредственным руководством А. А. Шахматова, С. П. Обнорский твердо усвоил шахматовские принципы составления словаря и в своих выпусках творчески их применял.

Освовательное знание русского языка во всем его объеме, общая высокая филологическая подготовка, острый взгляд лингвиста-исследова-

¹ С. П. Обнорский, Пушкин и нормы русского литературного языка, стр. 98.

² Там же.

³ См. публикацию этого доклада: С. П. Обнорский, Русское правописание и язык в практике издательств, ИАН СССР, Серия VII, Отд-ние обществ. наук, 1934, № 6.

⁴ Наиболее важные из этих работ следующие: С. П. Обнорский, Основные принципы орфографической нормализации, «Русск. яз. в шк.», 1939, № 5—6; его же, Борьба за культуру русского языка, «Сов. педагогика», 1945, № 10; его же, Правильности и неправильности современного русского литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1944, вып. 6; его же, Культура русского языка, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 2; его же, Культура русского языка, М.—Л., 1948.

⁵ С. П. Обнорский, Словарь русского языка. Инструкция для редакторов, М.—Л., 1936.

теля, природное чувство родного языка — все это дало С. П. Обнорскому возможность вести свою лексикографическую работу на высоком уровне. По тщательности и четкости построения словарных статей, по широте показа словоупотребления, по обилию иллюстративного материала, по краткости и точности толкования значений слова выпуски Обнорского не уступают выпускам, составленным самим Шахматовым.

Сергей Петрович — большой знаток народной речи. В отличие от многих диалектологов, он знает народные диалекты во всем их объеме, т. е. не только фонетические и грамматические особенности, но, что чрезвычайно важно, и лексику диалектов. В своей исследовательской деятельности С. П. Обнорский никогда резко не отделял явления литературного языка от фактов народных говоров и свои научные концепции строил на изучении русского языка в его целом, прослеживая взаимное действие литературного языка и живой народной речи. Этим объясняется, что работ на узко диалектологические темы у него мало. Сюда относятся его «Заметки по русской диалектологии», в которых рассматриваются южновеликорусские формы вин. падежа ед. числа жен. рода прилагательных на *-уя*¹, исчезновение *д* между гласными и диссимиляция согласных в русском языке². Здесь же следует упомянуть его небольшую, но очень содержательную работу «Русское сегодня»³.

Как историк языка С. П. Обнорский не мог не интересоваться вопросами этимологии слов, неясных или спорных по своему происхождению. Этимологические этюды Сергея Петровича по сути дела являются историей изучаемого слова с учетом морфологического типа его сложения, сферы распространения слова и движения его значений. Такова, например, его работа о слове *лахудра*⁴ и его ответ А. Маркову, представившему свои соображения о финском происхождении этого слова⁵. Выясняя историю слова *лахудра*, С. П. Обнорский прежде всего устанавливает, что слово это известно лишь русскому языку, к тому же в народном, по большей части в областном, употреблении, и определяет географическое его распределение и развитие его семантики. Оказывается, что слово *лахудра* широко распространено в средней полосе и на юго-востоке России. По мнению Сергея Петровича, оно представляет собой позднейшее образование, происшедшее от имени прилагательного (*лахудрый* — *лахудрая* — *лахудра*); первичным значением слова было «растрепанный» с дальнейшими изменениями — «оборванный», «спрыснутый»; о женщине: («нравственно» истрепанная, распутная). На основе частных значений сложилось общее значение «худой, изможденный, слабый». Семантически слово связано с темой *лах-*, *лах-*, *лахм-*. Объясняя морфологическое строение слова, Сергей Петрович говорит, что расчленение его на *лах-удр-ый* было бы непонятно, так как суффикс *-удр-* в русском словообразовании неизвестен, и высказывает предположение, что здесь имело место словосложение: *лах-+кудр->лахудрый* ~ *лахокудрый*, откуда фонетически закономерно получилось *лахудрый*.

По такому же плану, но с привлечением обширного материала и с детальным его анализом написана статья по истории слова *хороший*⁶. Ос-

¹ «Slavia», ročn. VII, seš. 4, 1929.

² «Slavia», ročn. XI, seš. 1, 1932.

³ S. O b n o r s k i j, Russisch *сегодня*, «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. III, Doppelheft 1/2, 1926.

⁴ С. П. О б н о р с к и й, К этимологии слова *лахудра*, РФВ, т. LXXII, вып. 1 и 2, №№ 3 и 4, 1914.

⁵ С. П. О б н о р с к и й, Один мнимый финнизм в русском языке. (Ответ А. Маркову), РФВ, т. LXXXIII, вып. 2, № 2, 1915.

⁶ С. О б н о р с к и й, Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке, сб. «Язык и литература», [РАНИОН], т. III, Л., 1929.

повные выводы автора следующие: 1) слово *хороший* по своему происхождению — притяжательная форма имени прилагательного, образованная от существительного *Хорос*, которое было заимствовано южнорусскими племенами в доисторическую пору из иранского источника; 2) в литературный язык слово проникло из южнорусской среды; 3) наличие слова *хороший* или производных от него образований в народном языке объясняется общим литературным влиянием на народный язык.

С иными задачами написаны этимологические заметки Сергея Петровича о так называемых доисторических заимствованиях из готского языка. Сюда относятся две статьи: «Общеславянское смягчение *к* и готские заимствования»¹ и «Готское ли заимствование слово *блюдо*?»². Обе статьи имеют целью показать, что господствующие в науке представления о размерах славянских заимствований из готского значительно преувеличены. Исходя из фонетического закона, согласно которому в эпоху гото-славянских отношений звук *к* в известных условиях в славянском смягчался в *ц* (а не в *ч*), Сергей Петрович считает слово *чАдо* славянским (индоевропейским) по своему происхождению, а не готским заимствованием. Слова *блюдо*, а также *штоудь* по соображениям фонетического характера он также не признает заимствованными, а считает исконно славянскими.

Внимательно следя за выходящими книгами по русистике, Сергей Петрович живо откликается на наиболее значительные из них. Рецензии его интересны и содержательны. Они принадлежат к тому типу научного разбора книги, который был характерен для наших известных языковедов — Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, Б. М. Ляпунова. Отличительной чертой таких рецензий является то, что в них рецензент не только оценивает наблюдения, утверждения и концепцию автора, но в нужных случаях излагает свои собственные мысли, подкрепляя их анализом дополнительно привлеченного материала. Такие рецензии способствуют выяснению научной истины, обогащают науку новыми данными, оригинальной постановкой вопроса, новыми выводами. Таковы и критические отзывы С. П. Обворского. Наиболее ценными из них являются рецензии на «Граматику русского языка. II. Морфология» Р. Кошутича³, на «Историческую грамматику русского языка. I.» К. Мейера⁴, на «Очерк истории русского языка» Н. Дурново⁵, на его же «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров». (I — «Южновеликорусское наречие»)⁶.

Несмотря на тематическое многообразие исследований С. П. Обворского вся научная деятельность его подчинена одной проблеме формирования и дальнейшего развития русского литературного языка. Изыскивая пути разрешения этой проблемы, он изучает язык древнейших памятников, язык произведений наших классических писателей, обширные данные народных говоров, показания прочих славянских языков. Этой задаче подчинены фонетические, морфологические, лексические разыскания Сергея Петровича. С этой же целью он занимается вопросами нормализации русского литературного языка, культуры русской речи.

Все основные работы С. П. Обворского отличаются одной особенностью, типичной для его исследовательского метода: доказывая какую-нибудь общую мысль путем привлечения и анализа специально подобранного обильного материала, он, в связи с изучением изолированных групп слов или их форм, попутно высказывает оригинальные мысли, делает тонкие

¹ ИОРЯС, т. XIX (1914), кн. 4, 1915.

² РФВ, т. LXXIII, вып. 1, № 1, 1915.

³ ИОРЯС, т. XXI, кн. 1, 1916.

⁴ ИОРЯС, т. XXX (1925), 1926.

⁵ «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. IV, Doppelheft 1/2, 1927.

⁶ «Zeitschr. für slav. Philologie», Bd. I, 1925.

наблюдения, имеющие самодовлеющую ценность. Таким образом, вокруг основного центра исследования группируются частные наблюдения, рассуждения, свидетельствующие о широком круге знаний и интересов ученого, о его огромной эрудиции. Собранные вместе, эти лингвистические экскурсы представляют большой научный интерес.

«Есть два типа ученых, — писал С. П. Обнорский. — Одни ученые, богато одаренные интуицией, опираясь на результаты предшествующей разработки, ломают и переворачивают науку, определяя для нее новые пути роста, или в самом основании сильно продвигают ее вперед, открывая новый этап ее развития. Этого типа ученые, конечно, редки... Другие ученые неутомимым исследованием интенсифицируют изучение науки, обрабатывают материалы, из кропотливого их анализа извлекают проверенные факты, комбинированием которых приходят к постулированию известных явлений более общего характера»¹. Своего учителя, акад. А. А. Шахматова, Сергей Петрович справедливо относит к первому типу ученых, себя же, по всей вероятности, причисляет к ученым второго типа, которые, не ломая направления науки, не перестраивая ее основ, своими знаниями, выдающимися способностями, кропотливым трудом обеспечивают рост науки. Ученый большой творческой силы, богатой эрудиции, мастер тонкого лингвистического анализа, С. П. Обнорский является прекрасным продолжателем дела А. А. Шахматова — историка русского языка.

¹ С. П. Обнорский, Памяти А. М. Селищева, «Доклады и сообщения филол. фак-та [МГУ]», вып. 4, 1947, стр. 40.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. В. СУПЕРАНСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛФАВИТ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТРАНСКРИПЦИЯ

Потребности неуклонно расширяющихся международных экономических и культурных связей вызывают к жизни идеи создания единого международного языка или по крайней мере единого международного алфавита для всех существующих языков. Авторы проектов таких алфавитов обычно стремятся придать международный характер латинскому письму как путем распространения его на нелатинирующие и бесписьменные языки, так и путем частичного реформирования орфографии тех языков, где этот алфавит уже применяется. В качестве основы международного алфавита выбирают именно латинский потому, что он имеет, пожалуй, самое широкое распространение на земном шаре. Но функционирование букв латинского алфавита в разных языках настолько различно, что о действительной международной его вряд ли приходится говорить. Это объясняется тем, что 26 букв латинского алфавита оказалось совершенно недостаточно для передачи всего многообразия звуков тех языков, которые он обслуживает, поэтому его пришлось расширить путем введения особых начертаний, диакритических значков и условных буквосочетаний. Поскольку для каждого языка эта задача решалась без учета уже существующих знаков для аналогичных звуков других языков, общее число полученных в результате единиц оказалось очень велико. Вебстер насчитывает их 236¹. При этом в ряде случаев аналогичные звуки изображаются различными графическими средствами, например: норв. *φ* и швед. *ö*, исп. *ll* и португ. *ll*, алб. *ll* и польск. *ł*. Но и за вычетом этих случаев общее количество графических единиц, необходимых для различных языков, очень велико. При таком положении вещей было бы трудно говорить о создании единого латинского алфавита с единым значением входящих в него графических единиц. Уже такие языки как французский и немецкий, различающие по двадцать согласных звуков, требуют введения в международный алфавит нескольких специальных обозначений. Таких обозначений требуется тем больше, чем шире становится сфера распространения этого алфавита. Так, арабский язык различает 28 согласных, турецкий — 33, санскрит — 34, хиндустани — 35 (включая же придыхательные — 47), а все вместе эти языки различают до 50 разновидностей одних только согласных, что почти вдвое превышает общее количество букв латинского алфавита.

Тем не менее попытки создания международного алфавита имели место²

¹ См. «Webster's biographical dictionary», Springfield, Mass., 1943, стр. XXIII — XXXII.

² Перечень некоторых проектов содержится, например, в статье Н. В. Юшманова «Опыты всемирного алфавита» (см. сб. «Культура и письменность Востока», кн. IV, Баку, 1929).

и продолжают предприниматься до сих пор. Здесь намечаются, в основном, два направления: а) графическое — создание международного алфавита, б) фонетическое — создание международного фонетического письма.

Из проектов международного алфавита наиболее хорошо продуманным и теоретически обоснованным был алфавит Лепсиуса¹. Автор указывал, что приспособить этот алфавит к бесписьменным языкам проще, чем перевести на него языки, обладающие своей письменностью, поскольку во втором случае надо будет сначала преодолеть исторически сложившиеся традиции искомого алфавита, которые народы хранят даже в том случае, когда последний не вполне соответствует тому, что должен отражать. Поэтому в тех случаях, когда существует своя оригинальная система письма как, например, деванагари, следует говорить, по мнению Лепсиуса, в первую очередь о транскрипции современного и древнего произношения и только после этого — о применении международного алфавита для письма на этом языке. Роль этого стандартного алфавита была преувеличена. Конечно, он может быть использован для бесписьменных языков, но заменить собою уже существующие системы письма, выработанные веками и подкрепленные традицией, он не может. Тем не менее вполне возможно применение этого алфавита в целях транскрипции при изучении языков, имеющих письменность не на латинской основе или на латинской основе со значительным расхождением между написанием и произношением.

В системе Лепсиуса (хотя она основана главным образом на фонетических началах) отдается дань традиционному написанию, в силу чего ряд знаков применяется скорее как транслитерационные, а не как действительно необходимые для передачи звуков того или иного языка. Так, например, для передачи старославянского \bar{i} вводится знак \bar{i} , а для русского \bar{e} — знак e , хотя для первого было бы вполне достаточно обычного i , а для второго — e . В записи иностранных текстов Лепсиус придерживался орфографии каждого языка, не отражая в своей транскрипции действующих фонетических законов (озвончение, оглушение, ассимиляция). Всего алфавит Лепсиуса содержит 186 букв с диакритическими значками и без них.

Иначе подошла к разрешению этой задачи Международная фонетическая ассоциация (МФА), которая при создании международного фонетического алфавита опиралась на теорию фонем и исходила из того, что произносится, а не из того, что пишется. Один из активных членов Ассоциации Д. Джоунз писал, что алфавит МФА должен в первую очередь применяться в практических целях (реформа правописания, введение письменности для бесписьменных народов, устное изучение иностранного языка), а также в научных работах, где необходимо отразить различные оттенки произношения (в последнем случае используются диакритические значки)².

Международная фонетическая ассоциация была создана в 1886 г. небольшой группой французских профессоров во главе с П. Пасси. Они с успехом использовали фонетическое письмо для преподавания английского языка и решили популяризировать свой метод. В 1888 г. этими профессорами был выработан фонетический алфавит, на котором начал издаваться журнал «Le maître phonétique», выходящий до настоящего времени. В этом журнале алфавит буквенный был заменен алфавитом МФА. Позже

¹ С. К. Lepsius, Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic systems to a uniform orthography in European letters, 2nd ed., London—Berlin, 1863.

² См. D. Jones, Das System der Association phonétique internationale, «Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten», Berlin, 1928, стр. 18.

алфавит МФА распространили и на другие языки, с внесением соответственных корректив и добавлений.

Создатели МФА, как и Лепсиус, исходили из «международного употребления латинских букв», т. е. для каждого звука выбирали букву, изображающую его в наибольшем числе (европейских) языков. Так, *v* и *z* взяты по их употреблению во французском, английском, чешском языках, несмотря на иное применение их в языках немецком и испанском; *j* взят по его употреблению в немецком, голландском и скандинавских языках¹. Однако такой выбор букв не всегда удовлетворителен.

Основным принципом системы МФА, как и системы Лепсиуса, является однозначность, т. е. изображение одного и того же звука только одной буквой. Во избежание неверных ассоциаций для букв, обозначающих разные звуки в разных языках Европы, Лепсиус ввел диакритические значки, разбивающие эти ассоциации (например, *î* и *ë* для обозначения звуков [dʒ] и [tʃ], *đ* и *ž* для обозначения [dz] и [ts] и т. п.). МФА, наоборот, стремилась избежать диакритики и использовала перевернутые и оборотные буквы, а также буквы греческого алфавита. Однако этот принцип был выдержан не до конца, и для аффрикат [tʃ], [dʒ] были употреблены диграфы. Не удалось полностью обойтись и без диакритики: в редакции 1947 г. к алфавиту МФА прилагается 24 диакритических значка, не считая ударений.

В качестве наиболее существенных недостатков системы МФА отмечают употребление значков не в их общепринятом значении. Например, кружочек под буквой (*ṽ*) большинством ученых употребляется в качестве знака слоговости сонанта, фонетистами же МФА он долгое время применялся в качестве знака глухости звука². Поэтому написание *vatṽ* не давало возможности определить, является ли последний звук слогаобразующим, звонким или же глухим, неслогообразующим. В первом случае это будет шведской, а во втором — исландской формой слова «вода»³.

Критикуя систему МФА, О. Есперсен в числе других ее недостатков указывал также, что «запас знаков международного фонетического письма настолько недостаточен, что многие важнейшие варианты не могут быть отражены при помощи его»⁴. Однако сравнительно небольшое количество знаков в алфавите МФА (80, затем 82) можно считать не только недостатком алфавита, но и достоинством, так как это способствовало его практическому применению, ибо для того чтобы система успешно применялась и имела практическое значение, она должна быть максимально наглядной и не включать в себя чрезмерно большого количества знаков. Этим требованиям отвечает система МФА, знаки которой нужно понимать функционально, а не материально, т. е. обозначать ими следует не все оттенки звучания, а лишь фонемы в их функционировании в речи. Это было ясно уже Лепсиусу, который писал: «Все специальные диакритические значки не нужны в тех языках, где ни одна из основных букв не имеет двойного значения. В этом случае надо просто писать основную букву: *e*, *o*, *s*»⁵. Д. Джоунз придерживается того же мнения относительно количества букв для транскрипции каждого данного языка, проводя при этом фонологическую точку зрения. Например, он считает, что для изображения цереб-

¹ См. «Exposé des principes de l'Association phonétique internationale», [Leipzig], 1908, стр. 6.

² В транскрипции МФА редакции 1947 г. этим значком также обозначается слоговость.

³ См. «Phonetische Transcription und Transliteration. Nach den Verhandlungen der Kopenhagener Konferenz in Arpil 1925», Heidelberg, 1926, стр. 13.

⁴ О. Есперсен, *Lehrbuch der Phonetik*, Leipzig—Berlin, 1904, стр. 134; ср. также М. Граммонте, *Traité de phonétique*, Paris, 1950, стр. 29.

⁵ С. К. Лепсиус, указ. соч., стр. 79.

рального *п* в языке хинди не следует вводить особого знака, так как оно встречается там только перед *t* и *d* и является вариантом *п*; в языке же пенджаби, где этот звук является самостоятельной фонемой, для него нужен особый знак γ^1 .

Недостатки системы МФА мешают ей сделаться действительно единой и международной, хотя она применяется многими и является лучшей и наиболее широко известной из фонетических систем. Эти недостатки стимулируют создание других, более совершенных систем. Оценивая систему Лепсиуса и систему МФА с практической точки зрения, отметим, что ни одна из них (не говоря о многих других системах, которые остались только проектами) не смогла и не сможет заменить собой исторически сложившиеся системы письма и в лучшем случае будет выполнять лишь роль транскрипции. Характерно, что практически более применимой оказывается система, составленная для определенной группы родственных языков, нежели система, составленная абстрактно для всех языков мира. Именно в этом и состоит преимущество системы МФА, выработанной на основе романских и германских языков, перед системой Лепсиуса. Для славянских языков также был создан ряд систем (например, общеславянская азбука А. Гильфердинга, состоящая из 61 знака — русские буквы с диакритическими значками и без них²), но практического применения они не нашли.

Любой алфавит отражает фонемный состав того или иного языка, «международных» фонем не существует, поэтому и составить единый международный алфавит с единым значением его букв невозможно. Из опыта создания искусственных международных языков можно сделать вывод, что создать новый язык с новым алфавитом легче, чем создать новый алфавит для уже существующих и имеющих письменность языков и перевести последние на этот новый алфавит, особенно если иметь в виду культурную историческую традицию, наличие значительной литературы на каждом языке, наконец, просто привычку народа к своей письменности. Кроме того, замена одной системы письма другой всегда сопряжена со значительными фонетико-орфографическими трудностями³.

В СССР сторонником создания подобного международного алфавита был Л. В. Щерба. Он считал, что «узкое делячество и отсутствие более широких перспектив испортили „новый латинский алфавит“ (для народов СССР.— А. С.), который мог бы быть очень интересным предприятием международно значащим...» и мог бы явиться одним из шагов по пути создания международного алфавита⁴. Недостатки этого нового алфавита были обусловлены также отсутствием координации и унификации его с уже существующими латинскими алфавитами других языков, родственных тем, для которых создавался новый алфавит. Так, например, в турецком языке *с* обозначает звук [дж], *ç* — [ч]; в узбекском же наоборот: [дж] обозначался буквой *ç*, а [ч] — буквой *с*. Подобные недочеты свойственны и новым алфавитам тех же языков (на русской основе). В этом, последнем по времени алфавите аналогичные звуки нескольких родственных (и неродственных) языков обозначаются разными буквами. Так, звук

¹ D. Jones, указ. соч., стр. 19.

² А. Гильфердинг, Общеславянская азбука, СПб., 1871.

³ Проводимая в настоящее время реформа китайской письменности не опровергает данного положения, поскольку она представляет собой, с одной стороны, упрощение начертания иероглифов, а с другой — распространение «пугунхуа» (общедоступного разговорного языка), своего рода искусственного языка, слуга которого изображается при помощи фонетической транскрипции. Кроме того, транскрибируются и некоторые иероглифы, главным образом изображающие собственные имена.

⁴ См. Л. В. Щерба, Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 122—123.

[дж], одинаковый для многих языков Средней Азии, передается в узбекском и киргизском алфавитах через ж, в туркменском и уйгурском — через џ, в таджикском — через җ; задненёбный носовой у казахов, киргизов, туркменов изображается җ, у узбеков и каракалпаков — җ¹. Подобных примеров можно привести очень много. Разнобой в обозначении одинаковых звуков усиливает актуальность вопроса о пересмотре алфавитов этих языков² и о создании для них единой научной транскрипции на основе, видимо, русского алфавита как наиболее известного всем народам Советского Союза. Создание транскрипции тем более необходимо, что в состав СССР входят народы, пользующиеся письмом не на русской основе (грузины, армяне, прибалтийские народы). Проводя эту работу, необходимо учитывать опыт как русских, так и зарубежных лингвистов.

В России в конце XIX — начале XX вв. создавалось немало проектов системы транскрипции. Среди них можно отметить проект Н. Дурново — Д. Ушакова³, составленный на латинской основе. Гласные в нем представлены таблицей из 30 квадратов по 4 гласных в каждом. Эти 120 гласных изображают все возможные гласные артикуляции и их оттенки. Знаков для согласных в проекте мало, там представлены только согласные русского языка. Авторы проекта, очевидно, убедились в том, что трудно оперировать слишком большим числом знаков, и в практических целях разработали краткий вариант, где число гласных сокращено до 18.

Удачнее была более ранняя по времени «Русская лингвистическая азбука» (РЛА)⁴, разработанная В. В. Радловым, В. П. Васильевым и К. Г. Залеманом при участии И. А. Бодуэна де Куртене. РЛА широко применялась русскими исследователями восточных языков. Л. В. Щерба, отмечая достоинства РЛА, считал, однако, что едва ли она имеет большие шансы на широкое распространение, благодаря ассоциациям кириллово-русского алфавита, положенным в ее основание⁵. Но недостаток указанной системы транскрипции состоит не в том, что она основывается на русском алфавите, а в том, что она целиком не выдержана в духе этого алфавита: в ней есть такие знаки, как π, β, f, w, l, r, β, ѓ, з, χ, ρ, γ, h, создающие новые ассоциации и разбивающие привычные ассоциации русского алфавита.

Возражения против употребления русской азбуки в качестве основы для фонетической транскрипции раздаются довольно часто. Они сводятся в основном к тому, что при виде слова, написанного русскими буквами (хотя бы с диакритикой), у читающего возникают привычные для русского языка ассоциации, и он читает его на русский лад, т. е. палатализуя согласные и редуцируя гласные там, где это обычно для русского языка. Однако таким же образом можно прочитать и слово в транскрипции, составленной на латинской и на любой другой основе, если нет навыка произношения на языке, к которому эта транскрипция применена. Не надо забывать также, что русский алфавит лежит в основе целого ряда алфавитов других народов, у которых с каждым знаком русского алфавита сопряжены другие ассоциации. Следовательно, нет оснований считать указанные возражения достаточно вескими. Новую транскрипцию надо создавать

¹ См. Дж. Х. Кармышев, Об отражении различий в алфавитах республик Средней Азии и Казахстана на транскрипции географических названий, «Уч. зап. Казах. ун-та», т. XVIII — Геология и география, вып. 2, Алма-Ата, 1954, стр. 79.

² Об этом см., например, статью А. К. Боровков в «К вопросу об унификации тюркских алфавитов в СССР» («Сов. востоковедение», 1956, № 4), содержащую ряд конкретных предложений.

³ Н. Н. Дурново и Д. Н. Ушаков, Проект системы знаков для фонетической транскрипции, [М., 1910], литогр. рукопись.

⁴ См. Л. В. Щерба, К вопросу о транскрипции, СПб., 1912, стр. 19—20.

⁵ См. там же, стр. 3—4.

именно на русской основе, так как только такая транскрипция будет максимально знакомой и понятной, а следовательно, и наглядной для народов Советского Союза, для языков которых она в первую очередь должна предназначаться.

Спорным является вопрос о характере этой транскрипции, т. е. должна ли она быть основана на чисто фонетических или фонетико-фонологических принципах. Первой точки зрения придерживается Л. Р. Зиндер, который считает, что транскрипция должна быть только фонетической, стремящейся обозначить все свойства данного звука, независимо от его языковой функции, и что каждому возможному звуковому типу должно соответствовать одно определенное обозначение, будь то простой знак-буква или буква с диакритическими знаками¹.

Л. Р. Зиндер предлагает свою систему транскрипции², знаки которой подобраны соответственно перечню основных звуковых типов и дополнительных артикуляций, установленных Л. В. Щербой. Эта система построена на основе букв русского алфавита, к которым может присоединяться один или несколько диакритических значков, например, 'e: — долгое, напряженное, отодвинутое, ударное; κ^{10c} — палатализованное, лабиализованное, аспированное. Одни из применяемых Л. Р. Зиндером диакритических значков взяты из алфавитов, другие — из различных систем транскрипции. Одни из этих значков (слоговость *̣*, назализация *̃*) являются распространенными, другие (ретрофлексность *̡*, какуминальность *̠*, делабиялизация *̤*) встречаются на практике довольно редко, а иногда и с другими значениями (ср. *̂* — сербское мелодическое ударение; *̣* у Лепсиуса — огубленность; *̠* — дорсальность в системе МФА). Таким образом, применяемые Л. Р. Зиндером значки не равноценны. Следует к тому же отметить, что система Л. Р. Зиндера, при всей ее обстоятельности, все же является недостаточно точной в фонетическом отношении, потому что, указывая на качества дополнительных артикуляций, она не дает сведений о степени качества (палатализации, веляризации, аспирации), что также очень важно.

В проекте Л. Р. Зиндера имеется тот же недостаток, что и у Дурново—Ушакова, — слишком большое количество знаков. Есть в его работе и недостаток, свойственный «Русской лингвистической азбуке»: в алфавите, составленном на русской основе, имеются вкрапления латинских и греческих букв. Это может вызвать недоразумения. Например, введение в таблицу знака *i* делает сомнительным применение знака *y* — его можно читать и как русское «у», и как польское «и», и как скандинавское «и»³. Мешают ассоциациям со знаками русского алфавита и такие буквы, как *π*, *β*, *θ*, *δ*, *f*, *v*. Слишком подробная фиксация всех качеств транскрибируемых звуков без отделения основных качеств от второстепенных, не осознаваемых подчас носителями того или другого языка, чрезвычайно усложняет применение транскрипции Л. Р. Зиндера, делая ее достоянием узкого круга высоко квалифицированных специалистов⁴.

Нам нужна транскрипция, которая имела бы широкое практическое применение среди массы лингвистов. Такая транскрипция должна быть максимально простой, не имеющей излишних знаков, и, следовательно,

¹ См. Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Докт. диссерт., [Л.], 1954, стр. 632—633.

² Там же, стр. 647 и таблицы.

³ Правда, *i* имеется в таких алфавитах на русской основе, как украинский или казахский, и было принадлежностью русского алфавита до реформы 1917 г., но, поскольку речь идет о применении современного русского алфавита в качестве базы для новой транскрипции, введение *i* нарушит привычные ассоциации его.

⁴ На чрезмерную сложность акустико-физиологической транскрипции указывал даже один из сторонников ее В. И. Лыткин (см. В. И. Лыткин, Фонема и научная транскрипция звуков, «Р. яз. в шк.», 1946, № 3—4, стр. 11).

должна основываться на фонематизме. В системе же Л. Р. Зиндера, перегруженной диакритикой, теряет ценность основной вид буквы без дополнительных значков, а ориентироваться следует именно на него. Дело в том, что звуков существует бесконечное множество; любое незначительное изменение конфигурации ротового резонатора, положения губ или языка создает уже гласный нового качества; в свою очередь небольшой сдвиг языка при образовании затвора согласных или произнесение согласных с большей или меньшей силой выдоха, с тихим или придыхательным приступом или отступом создает согласный иного качества. Если для обозначения каждого оттенка того или иного звука применять особый знак — для создания системы транскрипции не хватит никакого алфавита, введение же новых знаков после определенного предела не облегчает, а затрудняет транскрипцию. Поэтому при транскрибировании текстов тех языков, в которых не существует фонематического противопоставления однотипных звуков, излишне вводить новые знаки для передачи каждого оттенка их. Например, различные звонкие и глухие «г» получают в системе МФА следующие изображения:

	звонкие	глухие
артикулируется кончиком языка с раскатами	г	г̣
» » » без раскатов	г̣	г̣̣
» маленьким язычком с раскатами	Р	Я
» » » без раскатов	В	Н

В большинстве случаев эти звуки не имеют фонематического противопоставления внутри одного и того же языка, поэтому в практических целях часто можно ограничитьсяписанием простого г. Ведь все эти знаки понятны только специалисту, подробно изучающему фонетику того или иного языка, а он и без данных знаков знает особенности произношения того или иного звука.

Для научной классификации звуков недостаточно обозначить их транскрипционно, надо дать и подробное их описание, а там, где это описание имеется, нет необходимости пометать в транскрипции отдельные детали. Обозначать в транскрипции особые качества звуков следует лишь в тех случаях, когда на них основывается фонематическое противопоставление двух или нескольких звуков (кирг. *н* и *н̣*) либо когда произношение звука в каком-нибудь языке очень специфично и не похоже на аналогичные звуки других языков. Отмечать эти качества придется, очевидно, диакритическими значками. Диакритические значки при знаках транскрипции не вполне аналогичны диакритическим значкам, применяемым в алфавитах. Последние просто указывают на то, что буква со значком должна читаться иначе, чем без значка. В транскрипции же каждый из таких значков должен указывать на строго определенное качество, причем для обозначения каждого качества надо выбирать знак, применение которого для этой цели наиболее распространено.

Как видно из разбора ранее созданных систем транскрипции, новую фонетическую транскрипцию для языков народов Советского Союза следует создавать на основе русского алфавита без смешения со знаками других алфавитов. Она должна легко усваиваться, быть простой и наглядной, т. е. не перегруженной знаками — как основными, так и диакритическими. В новой транскрипции должны быть отражены только существенные фонематические черты. Поэтому дополнительные значки в нее следует вводить лишь тогда, когда в одном языке имеются две или более артикулярно-акустически родственные фонемы, не имеющие специального обозначения буквами русского алфавита. Применение этой транскрипции не

должно вызывать затруднений ни при письме от руки, ни при печатании в типографии.

При составлении подобной транскрипции можно опираться на те артикуляционные особенности, которые отмечает Л. Р. Зиндер. Этим особенностям он насчитывает 29 — апиальность, аспирация, веларизация, геминация, глухость, гортанная смычка, долгота, делабиализация, закрытость, звонкий конец, звонкое начало, имплозивность, какуминальность, краткость, лабиализация, назализация, нормальная длительность, напряженность, ненапряженность, отодвинутость, палатализация, полудолгота, продвинутость, ретрофлексность, сверхдолгота, слоговость, сонантность, фарингализация, шумность¹. К ним можно добавить еще 9 черт: девазализацию, дорсальность, звонкость, корональность, лабиовеларизацию, открытость, отсутствие, эксплозивность.

Лучше всего, подобно МФА, начать с создания транскрипции для конкретной группы языков, для которых такая транскрипция необходима, например тюркских языков Советского Союза. Нужно уточнить, какие из вышеперечисленных качеств являются в этих языках фонематическими, дифференциальными и, следовательно, должны быть отражены в транскрипции, а какие являются просто наполняющими, интегральными. Надо отобрать дифференциальные качества фонем этих языков и придать каждому из них совершенно определенное обозначение в транскрипции (лигатура, диакритический значок к основному варианту написания, перевернутая или оборотная буква). При этом можно руководствоваться алфавитами данных языков, выбирая в транскрипционных целях наиболее удачное (как с фонематической, так и с типографской точки зрения) буквенное изображение соответствующих звуков в национальных алфавитах. Совершенно очевидно, что в этой транскрипции будут обозначены не все, а лишь некоторые из перечисленных выше качеств, к которым, возможно, придется добавить еще какие-то качества, являющиеся фонематическими для того или другого из языков.

При подборе знаков для новой транскрипции необходимо, чтобы между этой транскрипцией, предвзначенной для тюркских языков, и графикой других языков Советского Союза не было резкого противоречия, потому что, если опыт будет удачен, его вскоре же надо будет распространить и на другие языки. Общее количество знаков транскрипции будет безусловно больше, чем нужно для транскрибирования текстов того или иного языка. Ряд артикуляторно-акустических особенностей может первоначально не получить отражения в транскрипции, но знаки (наиболее употребительные) для них должны быть резервированы. Тогда новая транскрипция в целом будет потенциальной системой, из которой в каждом конкретном случае будут выбираться реально необходимые единицы. Это позволит, с одной стороны, расширять применение ее на новые группы языков, а с другой — постоянно держаться в рамках более или менее ограниченного количества единиц, не перегружая транскрипцию излишними деталями.

¹ См. Л. Р. Зиндер, указ. диссерт., стр. 647.

Г. Ф. БЛАГОВА

СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ИХ РАЗВИТИЕ В УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

При сопоставлении грамматического строя староузбекского¹ и современного узбекского литературного языка обнаруживается, что частью речи, подвергшейся наибольшему изменением в процессе исторического развития узбекского языка, является глагол (т. е. та часть речи, которая в узбекском языке обладает наиболее развитой по сравнению с другими частями речи системой грамматических форм).

Имя действия² на *-гу* в памятниках древнетюркской письменности употреблялось довольно часто; оно выполняло разнообразные синтаксические функции (определение; обстоятельства причины, цели, времени; дополнение; сказуемое) и имело значения обязательности, необходимости; частично же оно перешло уже тогда в разряд отглагольных имен, значение которых лишено какого-либо признака глагольной модальности³.

В староузбекском литературном языке конца XV в. имя действия на *-гу* встречается изредка; см., например, *ичкуга т'жити*⁴ «он записл» (буквально:

¹ Имеется в виду староузбекский литературный язык конца XV в., представленный в произведениях крупнейшего писателя среднеазиатского средневековья Алишера Навои и его младшего современника Захир-эд-дина Бабура. При изучении языка произведений этих авторов были использованы издания как критических и сводных текстов, так и отдельных рукописей (и отрывков) их произведений, а также рукописи: рукопись «Муџакамат-ул-дубатайн» Навои, хранящаяся в рукописном фонде Института востоковедения АН УзССР под номером 5829; ряд рукописей «Бабур-нам» (ркп. проф. Г. Я. Кера, хранящаяся в Секторе восточных рукописей ИВ АН СССР под шифром Д 685; ркп. Сенковского, хранящаяся там же под шифром Д 117; ркп., хранящаяся в б-ке им. Салтыкова-Щедрина под шифром Тур. НС 104, и некоторые другие); рукопись «Мубајин» Бабура, хранящаяся в Секторе восточных рукописей ИВ АН СССР под шифром А 104 (в дальнейшем она обозначается: Мубајин, ркп. А 104).

² Вопрос о пограничной области между глаголом и именами для грамматики узбекского языка недостаточно разработан. Соответствующие термины используются в значительной степени условно. В предлагаемом сообщении термин «имя действия» употребляется для обозначения форм, совмещающих в себе признаки глагола и имени существительного. Под причастием мы понимаем формы, совмещающие в себе признаки глагола и имени прилагательного; поскольку прилагательное в узбекском языке легко допускает субстантивацию, причастие также весьма часто употребляется в тех синтаксических функциях, выполнение которых требует изменения по падежам. Как правило, причастия образуются непосредственно от глагола или от его видовой конструкции, поэтому вторичное образование на *-yucis* мы называем «причастием» совершенно условно. Термин «глагольное имя», который обычно применяют для обозначения всей пограничной области между глаголом и именами, здесь употреблен для обозначения форм глагола, совмещающих в себе признаки как имени существительного, так и имени прилагательного и выполняющих на равных основаниях синтаксические функции как существительного, так и прилагательного.

³ См. А. v. G a b a i n, *Alttürkische Grammatik*, Leipzig, 1950, стр. 77 и 123, а также 117—118, 127, 189; ср. также: А. Р. Б о р о в к о в, *Очерки истории узбекского языка. II. Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского «тефсира» XIV—XV вв.*, «Сов. востоковедение», т. VI, М.—Л., 1949, стр. 42—43.

⁴ «Бабур-нам» или Записки Султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н. Ильминским], Казань, 1857 (в дальнейшем обозначается БН), стр. 204, строка 20. В предлагаемом сообщении страница обозначается надстрочной цифрой, строка — подстрочной.

«впал в запой»), причем в этом примере, как и в других, мы имеем дело фактически не с именем действия, а с отглагольным именем существительным¹. Тем не менее имя действия на *-гу* продолжало оставаться в староузбекском языке основой для образования некоторых производных грамматических форм.

Одной из них являлось глагольное имя на *-гулук*, весьма часто употреблявшееся в староузбекском языке. В формальной характеристике этого глагольного имени можно выделить два форманта — аффикс имени действия *-гу* и словообразовательный аффикс *-лиқ* (*-лиқ*, *-лук*). Как известно, при помощи последнего в современном узбекском литературном языке образуются преимущественно имена существительные, а также второобразные имена действия, в староузбекском же языке могли образовываться как имена существительные, так и имена прилагательные².

Рассмотрим употребление глагольного имени на *-гулук* в староузбекском языке: *падишаллари ва бекларига кечалар шамъба иштидаж болгулук иш болса...* (БН 377₁₄) «если у тех государей и беков вечерами случается дело, для которого требуется свеча...»; *жана бида ва һар тамам ки жеса болур ягулук дерлар*³ «еще съестные припасы и всякую еду, какую можно есть, они называют „съестное“» (буквально «то, что следует есть»); *бол қираят махаллида сакит * Дегулукларни озга чабда айт* (Мубајин, ркп. А 104, стр. 67₂) «будь молчаливым во время чтения Корана; то, что нужно сказать, скажи в другое время»; *овимизга јер фикрini қилбулукдур* (БН 271₁₅) «следует подумать о месте для нас самих»; *һордманд чин создин озга демас * шале барчә чин деб дегулук емас* (Маъбуд ул-кулуб⁴) «умный не скажет ничего, кроме правдивого слова. Однако, говоря, не следует говорить всю правду». Глагольному имени на *-гулук* в староузбекском языке были присущи, таким образом, значения необходимости, обязательности, возможности так же, как и имени действия на *-гу* в древних тюркских языках. Морфологическое родство глагольного имени на *-гулук* с именами существительными и прилагательными, образованными при помощи аффикса *-лиқ* и его фонетических вариантов, сказалось в определенной соотносительности их синтаксических функций: как и именам на *-лиқ*, глагольному имени на *-гулук* в староузбекском языке было свойственно атрибутивное и субстантивное употребление, а также — предикативная функция.

Так называемое причастие на *-гусиз* употреблялось в староузбекском языке гораздо реже. В форманте этого «причастия» также можно выделить два показателя: аффикс имени действия *-гу* и словообразовательный аффикс *-сиз*, производящий имена прилагательные. Примеры употребления «причастия» на *-гусиз*: *агарчә тилга азизба сизгусиз қорққудек вакъи еди...* (БН 389₁₃₋₁₄) «хотя произошло ужасное событие, лишаящее языка и речи...»; *кечрак урдуба келдим бурунби урду емас танбусиз урду болуб-*

¹ Ср. употребление в том же значении глагольного имени на *-гулук*: *саһи ки ичкулукка тушар еди* (БН 24₂₋₃) «иногда, когда он заливал» (буквально: «впадал в запой»).

² Строго различия в назначении аффиксов *-лыб*, *-лиг* (для образования имен прилагательных) и аффиксов *-лық*, *-лиқ* (для образования имен существительных), на которое для языка памятников древнеорхонской письменности указывал П. М. Меллиоранский (см. П. М. Меллиоранский, Памятник в честь Кюльтегина, СПб., 1899, стр. 95—97), в дошедших до нас списках староузбекских рукописей не наблюдается.

³ А л и ш е р Н а в о й и, Муһаккамат ул-лубатајин, — цит. по кн.: «Chrestomathie en turk orientale, publiées... par M. Quatremère, 4-г fasc., Paris, 1841 (в дальнейшем — Муһаккамат ул-лубатајин, Q), стр. 14, строка 15.

⁴ Цит. по кн.: И. Н. Березин, Турецкая хрестоматия, Казань, 1857, ч. 1—2, стр. 218, строки 4—5.

*тур*¹ «в войсковое расположение я прискал довольно поздно. [Это] было не прежний лагерь, — лагерь стал неузнаваем». Как видно из примеров, «причастие» на *-guzis* уже не имело тех модальных значений, которые были свойственны глагольному имени на *-guluq*. Оно было соотнесено с именами прилагательными, образованными при помощи аффикса *-sis* как по своему грамматическому значению, которое А. фон Габен определяет как «отрицание от (глагольного имени — Г. В.) *-guluq*»², так и по своим синтаксическим функциям: подобно соответствующим именам прилагательным, это глагольное имя в староузбекском языке, как правило, встречается только в атрибутивной функции.

В формальной характеристике глагольного имени на *-guchi*³, весьма часто употреблявшегося в староузбекском языке, также можно выделить показатель имени действия *-gu* и словообразовательный аффикс *-chi*, производящий имена существительные. Примеры употребления: *shahsa dunjanda chin sog deguchi wa aniq ahirati bamin jeguchi*⁴ («справедливый бек есть») говорящий царю правду в этом мире и печалиющийся о его загробной жизни»; *bu fitnalarni aqiq qilguchi mundin qachib barbanlarni jamalnikba tiz qilguchi hod uzun hasan haramnaq ekandur* (БН 64₂₋₁₁) «оказывается, возмутителем этих смут и подстрекателем на дурные дела безавших отсюда был сам неблагоприятный Узун-Хасан». Как видим, модальное значение у глагольного имени на *-guchi* также отсутствует. По своему грамматическому значению глагольное имя на *-guchi* было соотнесено как с именами существительными, образуемыми при помощи аффикса *-chi* и обозначающими имя действующего лица, так и с глагольной формой — именем действия на *gu*. Соотнесенность с именами существительными определила значение глагольного имени на *-guchi* как имени действующего лица. Однако, будучи в то же время соотнесенным и с глагольной формой — именем действия на *-gu*, глагольное имя на *-guchi* обладает ясно выраженными глагольными свойствами (на пример, способностью к управлению), и агентивное значение его переплетается с причастным⁵.

Весьма часто употреблялась в староузбекском литературном языке производная глагольная форма на *-gudek*. Структура ее показателя также совершенно прозрачна: это соединение показателя имени действия — *-gu* и *-dek*, который, продолжая сохранять свое древнее употребление в качестве послелога⁶, встречался и в качестве словообразующего аффикса; ср.: *bu aq penirdekdin shah wa bargi chiqadur* (БН 370), «от этого [„печенка“] вроде белого сыра отходят ветви и листья [хурмы]»; *här ni'mat*

¹ «The Bábar-náma», ed. by A. Beveridge, Leyden-London, 1905 (в дальнейшем обозначается BN by B), лист 242, стр. II, строки 8—9.

² А. в. G a b a i n, указ. соч., стр. 78.

³ В современном узбекском языке ему соответствует имя на *-guchi*, которое совершенно утратило свои глагольные свойства и фактически перешло в разряд существительных.

⁴ А л и ш е р Н а в о й и, Маъбуб ул-кулуб. Сводный текст подготовил А. Н. Кононов, М.—Л., 1948 (в дальнейшем обозначается Маъбуб ул-кулуб), стр. 11, строки 7—8.

⁵ См. об. этом А. К. Б о р о в к о в, указ. соч., стр. 50; ср. также А. в. G a b a i n, указ. соч., стр. 72.

⁶ Употребляясь в качестве послелога, *dek* в староузбекском литературном языке управлял не только основным падежом, но также и родительным личных и субстантивированных указательных местоимений. Примеры: *hodja abu-l-makarim kim bitiq dik djudaji tatan bolub sarqardan edi* (БН 75₂₋₃) «Ходжа Абу-ль-Макарим, который считался, будучи, как и мы, разлучен с родной...»; *farisay shavir mundek barib mamuri adacidin mahrumdur* (Муҳакамат ул-лубатайн, Q, 9₁₈₋₂₀) «спозы, пшущие на языке „фарси“, лишены выражения (столь) удивительного значения, как это. Послелог *dek* выражает удобление, предмет которого относится как к действию, так и к предмету, либо качеству.

сеңа берібтур ва сеніңдекка бермајдур (Мағуб ул-қулуб)¹ «тебе он дал различные блага, но подобному тебе — не дает».

Для употребления производной глагольной формы на *-гудек* характерны следующие примеры: *бу сувниң жақаларіда јекпарә нарча ташлар тј-шубтур олтурбудек* (БН 445,) «у берегов реки глыбами лежат отдельные камни, как будто сидят»; *көңул тілагудек таққіқ һабәр келтурмади* (БН 283,6) «он не принес известия столь достоверного, как желало бы сердце»; *мундақ синаһи ва елі танібудек јігітлардін һајлі бар еді* (БН 546,7) «таких молодцов, которых знали бы горожане и воины, было много». Производная (наречьеобразная) глагольная форма на *-гудек* имеет своеобразное модальное значение предположительной возможности совершения действия, выраженного в основе глагольной формы. В то же время производная глагольная форма на *-гудек* оказывается соотносительной с соответствующей последоужвой формой имени как по своему уподобительному значению, так и по своим синтаксическим функциям (глагольного или именного определения).

Имя действия на *-гу* лежало также и в основе будущего категорического времени, весьма продуктивного в староузбекском литературном языке. Эта временная форма состояла из основы — имени действия на *-гу*, показателя принадлежности соответствующего лица и показателя сказуемости *-дур*², например: *хисар вїлајетіні іншаъ аллаһ һаліей қїлбумдур* (БН ву В 349 П₁) «бог даст, я сделаю Хисарский округ своим уделным именем»; *албуңдур* (БН 216₁₃) «ты возьмешь»; *барбусідур* (БН 89₂₁) «он пойдет»; *тегурғуміздур* (БН 447₁₃) «мы заставили прикоснуться»; *һајализа бу кечібтур кім султан аһмад мїрза улуб падишаһдур қалиң чарік біла келса беклар мені ва вїлајетні таштурбулардур* (БН 19₃₃—20₁) «ему пришло на ум, что Султан Ахмед-мирза — великий государь; если он придет с многочисленным войском, то беки обязательно выдадут ему и меня, и область [Фергану]». Рассматриваемая временная форма обозначала действие, которое обязательно произойдет в будущем³; модальные значения необходимости, обязательности, в той или иной мере свойственные всем разбираемым морфологически родственным формам, в чисто глагольной форме преобразовались в значения времени с тем же модальным оттенком обязательности.

Крайне редким для староузбекского литературного языка было употребление нереального категорического времени, которое образовывалось путем присоединения вспомогательного глагола *e(p)*- в прошедшем времени к основе будущего категорического времени, уже снабженной показателем лица. Пример: *қайда ердің ај мәнһайшм шарһ қїлбїл *блғум ерді бір мәнзә гар келмасаң бил*⁴ «где была ты, о моя луноподобная, расскажи! Знай, что если бы ты не пришла, я бы в одно мгновение непременно умер!». Значение этой временной формы может быть соотносено со значением будущего категорического времени: действие непременно совершилось бы в прошлом, если бы было выполнено некое условие.

¹ Цит. по кн.: И. Н. Березиц, указ. соч., стр. 223₁₇.

² В языке стихотворных произведений будущее категорическое на *-гу* употреблялось иногда без показателя сказуемости *-дур*, что вызывало своеобразием архитектоники стиха. А. К. Боровков указывает на иной способ образования этой временной формы: «... будущее-определенное на *-бусї*, *-гусї*, например: *аниң таба барбусї сіз* (92, 14) „к нему отправится вы“» (указ. соч., стр. 43).

³ Подробнее о значении этой временной формы см.: Н. И. Ильминский, Материалы для джагатайского спряжения, из Бабер-наме, «Уч. зап. Казанск. ун-та. По отд. истор.-филол. и политико-юрид. наук», вып. 1—2, Казань, 1863—1865.

⁴ А л и ш е р Н а в о й и, Мезонул авзон. Критик текст тайёрловчи И. Султонов, Ташкент, 1949 (в дальнейшем обозначается Мизан ул-авзан), стр. I.XIII строки 6—7.

Как свидетельствует приведенный выше материал, в староузбекском литературном языке конца XV в. существовала группа грамматических форм, родственных по своему образованию, — имя действия на *-гу* (фактически уже перераставшее в разряд отглагольных существительных) и морфологически производные от него формы. Родственность происхождения указанных выше грамматических форм определяет их соотношенность между собою как в отношении их модального значения (которое в чисто глагольных формах, какой является, например, будущее категорическое на *-гу*, преобразовалось во временное значение), так и в отношении других глагольных свойств, которыми одни из этих форм [будущее категорическое на *-гу*, нереальное категорическое на *-гу e(p)di*, глагольное имя на *-гулук*, производная глагольная форма на *-гудек*] обладают в большей степени, другие (глагольное имя на *-гучи*, «причастие» на *-гусиз*) — в меньшей степени. В то же время некоторые из производных грамматических форм, в состав форманта которых входит один из именных словообразовательных аффиксов, оказываются соотношенными с соответствующими словообразовательными моделями имен как в отношении своего грамматического значения, так и в отношении синтаксических функций.

Из всей этой группы родственных грамматических форм в современном узбекском литературном языке изредка употребляются наречиеобразные формы на *-гудек*, *-гудай*¹, исключительно в языке стихотворных произведений и притом только в 3-м лице иногда встречается будущее категорическое на *-гу*. Имя действия на *-гу* как грамматическая форма не существует², оно сохранилось лишь как компонент конструкции пожелания (типа *ичким келди* «мне захотелось пить»). Утрачены глагольное имя на *-гулук*, «причастие» на *-гусиз*, нереальное категорическое время на *-гу e(p)di*.

Как можно видеть из сопоставления группы морфологически родственных форм (основой для которых является имя действия на *-су*) в староузбекском языке и остатков этой группы в современном узбекском языке, указанные грамматические формы развиваются во взаимосвязи, в соотношенности друг с другом: утрата основной из них — имени действия на *-гу* — повлекла за собой исчезновение глагольного имени на *-гулук*, «причастия» на *-гусиз*, будущего категорического времени и нереального категорического и обусловила сокращение сферы употребления производной глагольной формы на *-гудек* (*-гудай*). Приведенные факты вместе с тем показывают, что развитие рассматриваемых форм происходит не одинаково равномерно: одни успели совершенно устареть, другие же, как, например, производная глагольная форма на *-гудек* (*-гудай*) и конструкция пожелания, в состав которой входит имя действия на *-гу*, еще продолжают употребляться.

Аналогичные явления можно наблюдать и на примере ряда других грамматических форм глагола. С этой точки зрения интерес представляет употребление прошедшего времени на *-миш* и некоторых других, морфологически родственных ему грамматических форм в староузбекском литературном языке конца XV в.

Весьма распространенное в древних тюркских языках причастие прошедшего времени на *-миш* в староузбекском языке самостоятельно

¹ *-дай* принято считать фонетическим вариантом *дек*.

² В современном узбекском языке имеется довольно употребительное имя действия на *-гу*, происхождение которого возводят к уйгурско-чагатайским отглагольным именам на *-ыг* или же на *-ыгь* (Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 171); весьма распространено также производное от него существительное — имя действующего лица на *-гучи*.

почти не употреблялось, сохраняясь в составе так называемых перифрастических форм, представляющих собою сочетание указанного причастия с вспомогательным глаголом *бол-* в форме желательного наклонения на *-гай*. Примеры употребления: *андақ істіқдал біла саатман қілмаді кім бір кішіні өз алдідін улғайтіб муғтабар бек қілміш болғай* (БН 85₂₀₋₂₁) «[Байсулкар-Мирза] не правил столь независимо, чтобы самому стать возвышавшим и производившим кого-нибудь в [ранг] главного (буквально: уважаемого) бека»; *һәр не кі шарақта ерді марқум ғболміш болғай оқурда мағлум* (Нāwājī, Кітаб-і муншағат¹) «все это, о чем было упомянуто выше на странице, да будет ставшим известным при чтении»; *ғаджәм шугарасіба бу беи баһрда кім мазкур болді һәм аз шақт бол-міш болғай* (Мізан ул-аъзан, XVIII₁₁₋₁₂) «стихи в этих пяти размерах, которые были указаны выше, у персидских поэтов должны быть появлявшимися мало». В подобных перифрастических формах разнообразны оттенки грамматического значения желательного наклонения на *-гай* усложняются значением завершенности действия, т. е. предполагаемое или желаемое действие мыслится как уже совершенное ранее.

В староузбекском литературном языке (чаще всего в поэтических произведениях) употреблялась производная от причастия на *-миш* грамматическая форма — прошедшее время на *-миш*. Ср.: *коғмишсен* (БН 451₃) «ты оставил»; *ғіјурмишлар* (БН 451₇) «они одели [кого-то]»; *һабар келді кім муһалифлар андіджан сарі бармиш* (БН 32₁₆₋₁₇) «пришло известие, что противник-де ушел в сторону Андижана»; *фирман болді кім бизнің біла болсанлар талабан нийларні асунлар агарч мағкул ва муваджджай еді бір нима штаб болмиш* (БН 80₁₋₂) «был приказ: те, кто был с нами, пусть берут награбленные вещи. Хотя [это] было разумным и приемлемым, была допущена [как оказалось впоследствии] некоторая поспешность»; *тји көрармен кім һазрат һаджа ғубайдулла келә емилар мен істібалларіба чіқмишмен* (БН 102₁₀₋₁₂) «снился мне сон, будто ко мне пришли их святейшество Ходжа Убейдулла, и я будто бы вышел им навстречу». Таким образом, временная форма на *-миш* в староузбекском литературном языке имела значение совершения действия в прошлом, осложненное моментами либо передачи сведений о нем другими лицами без ручательства за достоверность, либо познания совершения действия по его результатам, либо другими модальными оттенками.

Очень редко встречается в староузбекском языке давнопрошедшее время на *-миш е(р)ді*. Пример: *андіджанға була самарқанди еликтін бердік андіджан һәм еликтін чіқмиш еді* (БН 67₂₀₋₂₁) «ради Андижана мы выпустили из рук Самарканд, а Андижан же еще раньше ушел у нас из рук». Эта временная форма обозначает действие, которое совершилось давно, ранее совершения другого действия в прошлом.

Чрезвычайно распространена была в староузбекском языке модальность, выражаемая посредством *е(р)миш* [вспомогательный, уже грамматикализованный глагол *е(р)-* «быть» в форме прошедшего времени на *-миш*]. Пример употребления: *һабар келді кім баріб аһсіга кіра емиш* (БН 79₃) «пришло известие, что [Узун-Хасан] якобы вошел в Ахсы». *е(р)миш* может присоединяться к любой временной форме изъявительного наклонения и при этом, во-первых, относит совершение обозначаемого временной формой действия в плоскость прошедшего времени, а во-вторых, придает совершению этого действия модальные оттенки либо передачи сведений о нем через другое лицо, либо познания совершения действия по его результатам, либо недостоверности совершения его.

¹ Цит. по кн.: И. Н. Березин, указ. соч., стр. 194₁₋₂.

Перечисленные грамматические формы связаны между собою генетически — все они являются производными от уже не существовавшего в староузбекском языке причастия прошедшего времени на *-миш*. Генетическое родство этих грамматических форм определило общность их временного значения: всем им присуще значение прошедшего времени, в той или иной степени ослабленное модальными оттенками. В современном узбекском языке из всей этой группы форм сохранилась только одна, именно — модальность на *эмиш*.

В староузбекском языке весьма распространенным было причастие на *-(а)р*, *-ур* (отрицательная форма на *-мас*), которое одинаково часто встречалось как в атрибутивном, так и в субстантивном употреблении. Ср.: *чин дер елга джан хатарі* (Мафбуб ул-кулуб, 13₁₁₋₁₂) «людям, всегда говорящим правду, приходится беспокоиться за свою жизнь»; *салатин ани jahni ajtur elni tarbijatlar qilbudurlar* (Мізан ул-авзан, LXX₁₃—LXXI₁) «государя содержали людей, которые могут хорошо слагать ее [песню „тюрки“]»; *мирза олар јілі елјкдін чікіб еді* (БН 40₁₃) «в год, когда [Омар-Шейху] Мирзе умереть, [Ура-Тепе] вышел из-под его власти»; но: *санімі та55а барурі һод мушкілдур* (БН 259₂₂) «врагу трудно пройти к горам»; *ичмасімі чун білурлар еді тақліфі қілмаділар* (БН 236₁₁₋₁₃) «так как они знали, что я не пью [вина], то и не неволили [меня]»; *һукм қілуріда ашина ва бегані анга 7ала ассаујја* (Мафбуб ул-кулуб, 22) «когда он вершит правосудие, пред ним равны и знакомый, и посторонний»; *бір арі5 кі ікі јакасі муз ба5лаб ортасі суһні јілдам барурідін муз ба5ламајдур* (БН 119₂₃₋₂₅) «лед сковал ручей с обоих берегов, середину же его лед не сковывал из-за того, что вода обычно быстро течет»; *бу 7азі5 қаріндашларні көрар5а ташқанд сарі мутәвджік болділар* (БН 118₂) «они направились в Ташкент, чтобы увидеть этих дорогих родственников». Причастие на *-(а)р*, таким образом, могло выполнять самые разнообразные синтаксические функции, склоняться, сочетаться с послелогами и служебными именами. В то же время оно обладало ярко выраженными глагольными свойствами, например, способностью управлять подчиненными словами, образовывать развернутый оборот с самостоятельным подлежащим, определенной временной характеристикой — обозначало действие, которое либо обязательно произойдет (должно, может, готово произойти), либо совершается обычно, т. е. имело значение настояще-будущего времени.

Употреблялось также производное от этого причастия имя действия на *-(а)рліқ* (отрицательная форма *-масліқ*), в форманте которого можно легко выделить показатель причастия *-(а)р* (в отрицательной форме *-мас*) и словообразовательный аффикс *-ліқ*. Примеры: *тез учарлік аңа мәрдәм һајат* (Нәвајі, Мәһзан ул-асрар¹) «быстро летать для него [орла, сломавшего крыло] — [все равно, что] жизнь для человека»; *...ілтфат етмаслігін бази һајал ајлар едім* (стих. Бабурә № 90₂, стр. 40²) «...то, что она обычно не проявляет расположения [ко мне], я долгое время считал игрой». Примеры показывают, что имени действия на *-(а)рліқ* (*-масліқ*) было свойственно значение настояще-будущего времени.

Часто употреблялись в староузбекском языке перифрастические формы, в состав которых смысловой глагол входил в виде причастия на *-(а)р*, а вспомогательный глагол *бол* — в форме любого времени и склонения. Примеры: *алар білан бірға султан савід һан ва баба һан*

¹ Цит. по кн.: И. Н. Березин, указ. соч., стр. 292.

² Цит. по кн.: «Собрание стихотворений императора Бабуря», изд. А. Н. Самойловичем, Пг., 1917 (указывается порядковый номер стихотворения и стр.).

кeлiб eрдiлар-нaр қaјсiсi oн тaрт oн эч јaшaр болсај eдi (БН 126₃₋₄) «вместе с ними [с младшим ханом] приехали Султан Саид-хан и Бабахан, каждому из них в то время должно быть исполнилось лет по 13—14»; *oзгa eл қaчaр қaчмaс болуб турубтур* (БН 131₁₁) «остальной народ стоял, готовый то ли бежать, то ли не бежать»; *улуб черик јеткaн билaн aлiб јурур болурлар* (БН 260) «как только придет большое войско, они намереваются, взявши его, идти в поход»¹. В перифрастических формах этого типа значение намерения, готовности совершить действия создается именно за счет причастия на *-(a)r*.

Не станем здесь останавливаться на второобразном деепричастии на *-масдан*, которое генетически представляло собою исходный падеж отрицательной формы анализируемого причастия и употребление которого в староузбекском и в современном узбекском языке не имеет существенных различий.

В староузбекском языке весьма употребительной была временная форма, образованная на основе причастия на *-(a)r*. Рассмотрим на примере ее значения: *iki эч миң јарақлиқ киши шaһaрниң iчiдa биз iki јуз киши не қилурбiз* (БН 138) «мы, двести человек, что сделаем в городе, где двести тысяч вооруженных людей?»; *eмдi теңридiн тaшфиқ тiлаб ул ғазилар руһидiн iстiмдaд қилiб шуруғ қилур* (Мизан ул-авзан, VI₁₁₋₁₂) «выпросив помощи у бога и испросив содействия у духа тех почитаемых [знатоков стихотворных размеров — у Халифа Ибн Ахмеда, Шемса Кайса, Насыра Туси и Джами], приступим теперь [к изложению]; *шaһ-нaр кишисi мунчa ғаджiс болубтур теңри ғинајaти билa бу кун нaм болса aлурбi тaңлај нaм болса aлурбiз* (БН 54₁₁₋₁₅) «жители города настолько обессилели, [что] с божьей помощью будь то сегодня, — мы возьмем [город], будь то завтра, — возьмем». В этих примерах временная форма на *-(a)r* обозначает действие, которое совершится непременно в ближайшем будущем². В то же время эта форма могла выражать и другое значение, ср.: *мениң ғадатим aманлиқта нaм улдур ким тeн чiқармај јатармен* (БН 131₃₋₄) «мой обычай даже в мирное время таков, что сплю я обычно, не снимая халата»; *aмма тyркниң улубдiн кичикiга дегинчa wa нaвкaрдiн бекiга дегинчa сарт тiлiдiн бaһрамандурлар aндақ ким oз нoд ahwaliса кoра aјтаалурлар* (Мунакаммаг ул-лубатајн, ркп. № 5829, стр. 10) «но у тюрк от мала до велика, от война до бека [все] пользуются сарским языком настолько, что обычно могут говорить [на нем] сообразно своему положению». В примерах этого типа временная форма на *-(a)r* обозначает действие, совершающееся обычно, постоянно, безотносительно ко времени. На основании указанных двух значений временную форму на *-(a)r* в староузбекском литературном языке следует считать настояще-будущим временем.

Итак, причастие на *-(a)r*, весьма продуктивное в староузбекском литературном языке, являлось основой для образования целого ряда производных грамматических форм, которые были связаны между собою как морфологически, так и общим значением настояще-будущего времени.

¹ В двух последних примерах интересна структура перифрастических форм. Как известно, в современном узбекском языке перифрастическая форма не может ни иметь в своем составе два причастия (хотя бы они и были положительной и отрицательной формой причастия одного и того же глагола — *қачар қачмас болуб*, как в нашем примере), ни допускать сочетания смыслового и вспомогательного глаголов в одних и тех же формах (*журур болурлар* в нашем примере).

² Подробно об этом значении временной формы на *-(a)r* в соотношении его со значениями будущего категорического времени на *-гу* и желательного наклонения на *-гај* см. в работе: Н. И. Ильминский, Материалы для джакатайского спряжения, из Бабер-Намэ, стр. 387, 393, 394—395, 397, 401.

В современном узбекском литературном языке причастие на *-(a)r* как таковое встречается очень редко (преимущественно в поэзии и фольклоре) и при этом лишь в атрибутивной функции; чаще же причастная форма отдельных глаголов употребляется в устойчивом определительном словосочетании, имея явственно выраженную тенденцию к переходу в разряд прилагательных. Имена действия на *-арлик* также перешли в разряд имен. У временной формы на *-(a)r* произошли изменения в ее значениях в сторону их сужения: в современном узбекском языке за этой формой закрепилось преимущественно значение будущего предположительного; в значении ближайшего будущего она не употребляется совсем. Продолжают употребляться в современном узбекском языке второобразное деепричастие на *-масдан* и перифрастические формы, в состав которых входит ныне устаревшее причастие на *-(a)r*.

Весьма употребительным в староузбекском литературном языке было деепричастие на *-а, -j*. Рассмотрим характер его употребления на примерах: *бадбис найвахисида бир журтта бирар ики кун таваққуф қила кич қилур едук* (БН 242₂₁₋₂₂) «мы совершали переходы в окрестностях Бадгиса, останавливаясь на день-два на какой-нибудь стоянке»; *күнниң бир паһри болд чар баққа келиб тўшулди* (БН 445₁₄) «когда была первая стража дня, [мы] пришли в Чар-баг и [там] остановились»; *хунарсиз ситам-и зариф јигитлар асанликқа була фарси алфаз билд найм ајтурба машбул болубтурлар* (Муҳакамат ул-луғатајн, ркп. № 5829 стр. 32) «неискусные, лишенные остроумия юноши [из тюркского народа], ища легких путей, стали заниматься сочинением стихов на персидском языке»; *һәм хумајунни узата ва һәм јерларни сәјр қила јекжанбә кјни урдуни ушла јерда қојуб урдудин атландім* (БН 423₁₆) «для того, чтобы и Хумаюна провредить, и прогулку по тем местам совершить, в воскресенье днем я выехал из войскового расположения, оставив лагерь в том самом месте». Как видно из примеров, синтаксические функции деепричастия на *-а* были разнообразными: оно могло выступать не только в качестве обстоятельства образа действия, но и обстоятельств времени, причины, цели. В полной мере обладало это деепричастие и глагольными свойствами — способность управлять подчиненными словами, иметь при себе особое подлежащее и образовывать распространенный деепричастный оборот.

Часто встречалось деепричастие на *-а* и в сочетаниях с другими глаголами. В частности, это деепричастие, как правило, вступало в сочетание с глаголом *кіриш-* «начинать», например: *ок қоја кіришти* (БН 110₂₋₃) «он принялся метать стрелы»; *самарқандтин мобол улусі қача кіришганда* (БН 65₁₂₋₁₃) «когда монгольский народ начал разбегаться из Самарканда»; *ғали дәст бек менің билд қазақликларда ва меһнатларда болған кішиләр билә јаман болуб јаман мәъаш қила кіришти* (БН 92₇₋₈) «Али Дост-бек, дурно поступая с людьми, которые были со мной в скитаниях и страданиях, начал их обделывать».

В современном узбекском литературном языке деепричастие на *-а* встречается гораздо реже, чем в староузбекском языке, причем преимущественно в удвоенном виде. Деепричастие на *-а* постепенно утрачивает способность к глагольному управлению и из всех своих обстоятельственных функций сохраняет только функцию обстоятельства образа действия; можно считать, что в современном узбекском языке сфера действия деепричастия на *-а* постепенно сужается. В конструкции с глаголом *кириш-* это деепричастие оказалось вытесненным именем действия на *-(u)ш* в дательном-направительном падеже.

Думается, что приведенный материал свидетельствует о следующем:

1. В глагольной системе узбекского (особенно — старобузбекского) языка имелись отдельные группы морфологически родственных грамматических форм; внутри этих групп между основной грамматической формой и производными от нее существовала определенная соотнесенность, причем не только формальная, но также и соотнесенность по значениям. Те производные глагольные имена и имена действия, в образовании которых, кроме того, принимает участие именная словообразовательный аффикс, обнаруживают еще и соотнесенность по грамматическому значению с соответствующей словообразовательной моделью.

2. В своем развитии родственные грамматические формы внутри таких групп внутренне взаимосвязаны. В то же время процесс их развития протекает неравномерно: утрата основной грамматической формы наносит ущерб существовавшей между формами этой группы соотнесенности и с течением времени приводит к исчезновению одних, производных от основной формы, обуславливает прогрессирующее сужение сферы употребления других, что в некоторых случаях приводит к сужению и изменению значений производных форм, и, наконец, может никак не сказываться на иных производных. Интересно, что при устаревании некоторых производных грамматических форм решающее воздействие на их переход в тот или иной разряд имен оказывает соотнесенность этих форм с определенной именной словообразовательной моделью.

В. И. АБАЕВ

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

Русское *гривенка*, персидское *gīrvānka*

В заключительной части своей известной книги «*Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache*» (Strassburg, 1887) Г. Гюблман (H. Hübschmann) дает перечень заимствованных слов в осетинском. Здесь на стр. 123 приводится осет. *gīranka* (*žiranka*) «фунт», которое Гюбшман считает заимствованным из грузинского *gīrvanka* «фунт». Дальнейшую историю слова Гюбшман не прослеживает. Между тем бесспорно, что и на грузинской (картвельской) почве слово не является оригинальным. Оно заимствовано из персидского *gīrvānka*, *gīrvānka* «фунт»¹. Гюбшман был отличным знатоком персидского языка, и если он не приводит персидского *gīrvānka*, то объясняется это тем, что в персидском литературном языке это слово не имеет широкого распространения. Действительно, в большинстве персидских словарей мы этого слова не найдем. Его нет у Вуллера, Ягелло, Ценкера, Гаффарова, Лэмбтон. В кратком, но дельном немецко-персидском словаре Ф. Зеттлера (F. Sättler) под словом «Gewicht» приводятся персидские меры веса (*xarvār, man, miskāl, nuzūd, gandum*), но нет *gīrvānka*. Нет этого слова, судя по имеющимся материалам, и в таджикском (ср. узб., тадж. *qadaq* «фунт»).

Однако наличие в персидском такого слова несомненно. Оно фигурирует в таких надежных лексикографических трудах, как «Русско-персидский словарь» Р. А. Галунова (т. II, М., 1937) и «Персидско-русский словарь» Б. В. Миллера (изд. 2-е, М., 1953).

За пределами персидского, грузинского и осетинского это слово регистрируется в ряде языков Кавказа (арм. *grvanka*, лезг. *gīrvēnka*, дарг., авар. *gīlavka*, чечен. *gierka*, ингуш. *gerākā*, кабард. *geronkā* и др.); в некоторых тюркских (телеутск., кумандинск. *kūrānkā*², татарск. *gürānkā*³, чуваш. *kērenkē, kērepenkē*).

Однако ни на персидской, ни на тюркской, ни на кавказской почве слово не этимологизируется. В каждом из перечисленных языков оно стоит изолированно, вне какой-либо связи с остальной лексикой этого или родственных языков.

Поиски этимологического объяснения приводят к русскому *гривенка* (мера веса). Русское происхождение персидского *gīrvānka* уже отмечалось⁴. Однако некоторые лингвистические и исторические моменты нуждаются в уточнении.

Общеславянское *гривна* с исходным значением «ожерелье» (от *грива* «шея») получило на русской почве дополнительные значения: «мера веса»

¹ Современное литературное произношение *gervanke*.

² В. В. Р а д л о в, Опыт словаря тюркских наречий, вып. 11, т. II, вып. 5, СПб., 1898, стр. 1451.

³ А. Ш е г р е н, Осетинская грамматика, ч. 2, СПб., 1844, стр. 49.

⁴ См., например, Н. Н. Б е л г о р о д с к и й, Современная персидская лексика, М.—Л., 1936, стр. 41, сн. 2.

и «денежная единица». Значение меры веса документируется с 1-й половины XII в.¹.

Если *гривна* употреблялось во всех трех значениях («ожерелье», «мера веса», «денежная единица»), то производное от него *гривенка* (*гривьнка*) специализировалось как обозначение весовой единицы. В «Материалах» Срезневского документировано только это значение: «... талаать имѣеть в себѣ .й. гривенекъ» (Библи. XVI в. Спб. № 3, припис.); «гривенка перцю» (Грамм. кн. Всевол. до 1136 г.); «два ковша золоты по двѣ гривенки» (Дух. Дм. Ив. 1389); «двѣ гривенки зелья» (Разметн. сп. 1545); «вѣсу въ немъ семь гривенокъ, цѣна пять рублевъ гривенк» (Расходн. кн. 1584—1595 г.)².

Все перечисленные выше кавказские, тюркские и персидские названия «фунта» ведут с несомненностью к русскому *гривенка*. Но пути распространения слова требуют дополнительных разъяснений. Наличие слова во всех почти кавказских языках могло бы навести на мысль, что в персидский язык слово попало через кавказское посредство, в особенности если учесть, что сношения России с Персией поддерживались как через Каспий, так и через Грузию.

Однако легко убедиться, что грузинское *girvanka* не могло идти непосредственно из русского. Грузинский охотно терпит начальную группу *gr-*: *griali* «шум», *Grigola* «Григорий», *grili* «прохладный», *groši* «грош» (из русск.), *grdzeli* «длинный» и др. Вставка гласного *i* в *girvanka* ничем не оправдана, если думать о заимствовании непосредственно из русск. *гривенка*. Иная картина в персидском. Здесь начальная группа *gr-* закономерно дает *gir-*: *girē* «шея» из пран. *grīvā-*; *giriftan* «братъ» из *grīb-*; *girīstan* «вопить» из * *grid-*; *girād* «степень» из франк. *grade* и др. Из *гривенка* ничего другого не могло получиться в персидском, как *girvanka*. Грузинское же *girvanka* (как и другие кавказские названия фунта) идет уже из персидского.

Что касается тюркских форм, то наличие их в таких языках (телеутском, кумандинском, чувашском), которые с персидским не соседят, но соседят с русским, делает более вероятным, что они усвоены из русского.

Следует еще коснуться вопроса о датировке заимствования русского слова *гривенка* в персидский язык.

Нет надобности доказывать, что заимствование метрологических терминов тесно связано с торговыми сношениями. На торговых путях произошло, несомненно, и заимствование персами русского *гривенка* как меры веса. Это должно было произойти достаточно давно, когда в русском употребительнейшей мерой была *гривенка*, а не заимствованное из германского *фунт*. Последнее слово также не очень «молодое». Оно встречается уже в грамотах 1388 г. и в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина³. Но в XIV—XVII вв. *фунт* было сравнительно редким словом, а *гривенка* весьма обычным.

Исторические сведения о торговых сношениях России с Персией позволяют уточнить дату возможного заимствования. «Начало экономических отношений России с Персией можно отнести ко второй половине XVI в., когда было завоевано Поволжье и установлен прямой торговый путь (до этого сношения с Персией были случайный характер). В XVII в. эти сношения значительно развились вследствие сильного экономиче-

¹ См. И. П. Срезневский, Материалы для словаря древне-русского языка, т. I, СПб., 1893, стр. 589—591: «блюдю серебряно въ .ѿ. грвнь» (Грамм. 1130 г.); «гривна золота» (Ип. л. 6655); «просфурывъ въ вѣхъ въ полъ полѣ гривны» (Никон. Панд. сл. 57).

² Там же, стр. 591.

³ И. П. Срезневский, Материалы ..., т. III, СПб., 1912, стр. 1358.

ского роста Персии и России... Районом коммерческой деятельности персов... в России были Астрахань, Поволжье и Москва, а русские сосредоточили свои торговые операции преимущественно в северной Персии (Шемаха, Гилянская область, Тавриз, Кашан и другие места)¹. «К началу XVII в. относится установление регулярных торговых связей между Россией и Персией. В 1664 г. (при Алексее Михайловиче) Аббас II предоставил русским купцам право на свободную торговлю во всех персидских городах»².

Таким образом, XVII век представляется наиболее вероятной датой заимствования в персидский язык русской меры веса *гривенка*.

Специфические условия этого заимствования делают понятным, почему перс. *gīrvanka* не вошло в общенациональный язык и не попало в большинство словарей: слово распространилось только в тех областях Персии и в тех слоях населения, которые были непосредственно вовлечены в сферу русско-персидских торговых связей.

¹ Е. С. Зевакин, Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в., «Исторические записки [Ин-та истории АН СССР]», 8, 1940, стр. 156.

² БСЭ², т. 18, стр. 409. См. также в статье И. Н. Сугорского «Сношении с Персией при Годунове» («Русский вестник», 1890, окт., СПб., стр. 107): «Туземцы (персы.— В. А.) в то время (при Годунове.— В. А.) торговали уже довольно бойко с Поволжьем».

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ*

ЖАН ФУРКЕ

«СИНХРОНИЧЕСКАЯ» ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
 ГЕРМАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ¹

Значение, которое приобрел термин «синхрония», и ставшее обычным противопоставление диахронии и синхронии являются результатом исторического развития. В действительности буквальное значение слова синхрония не затрагивает самой сути этого противопоставления, в результате чего у неподготовленных слушателей легко может возникнуть ошибочное понимание, против которого мне хотелось бы заранее предостеречь. В те времена, когда Ф. де Соссюр читал свой курс общего языкознания, лингвисты уже перешли от постулирования простого каталога звуков, форм или слов для каждого этапа языка к стадии объяснения: это было объяснение историческое, освещавшее каждый элемент изучаемого языка, взятый изолированно, путем возведения его к более прозрачной, более понятной форме, засвидетельствованной на более древней ступени; так, чередования гласных *i—ei, i—ie—ō—u, i—a—u* в немецких сильных глаголах становились понятными, когда они выступали как формы единого чередования *e—o—nol* на индоевропейской ступени, как и соответственно в дифтонгах *ei, eu, en*.

Подобное объяснение, оперировавшее рядом форм, последовательно выстроенных по линии времени, с полным правом можно было назвать диахроническим. Между тем Ф. де Соссюр обратил внимание на другой, коренным образом отличный тип объяснения: он исходил из случаев, когда форма какого-либо элемента определялась его отношениями с другими элементами внутри системы языка в определенный момент существования этой системы. Нем. *sind* — 3-е лицо мн. числа — может быть объяснено индоевропейской формой **sent*; но *sind* — 1-е лицо мн. числа — нельзя объяснить этим способом; эту форму гораздо лучше можно объяснить, сказав, что *wir sind* относится к *sie sind*, как *wir haben* к *sie haben*, *wir tun* к *sie tun* и т. д. для всех остальных глаголов и всех глагольных времен.

Термин «синхронический» применительно к этому последнему способу объяснения отнюдь не является ошибочным: речь идет действительно об элементах, которые сосуществуют в один и тот же момент времени; но синхроническим можно назвать также и исследование, предпринимаемое с целью установления лексики какой-нибудь языка в определенное время, вне всякого представления о системе. Основное — это подчеркивание внутренней связи системы; «синхроническая» точка зрения — необходимое, но недостаточное условие этого метода.

Строго говоря, мы считаем нужным различать: 1) синхронический атомизм, устанавливающий инвентарий изолированных фонетических, грамматических

* В этом вновь организуемом разделе журнала редакция предполагает знакомить читателей с различными материалами научного и информационного характера, опубликованными за рубежом и представляющими интерес для широких кругов работников в области языкознания. Рассчитывая получить ценные советы и пожелания, редакция просит читателей журнала высказывать конкретные рекомендации о том, какие статьи и заметки следовало бы печатать в этом разделе.

¹ Статья опубликована в журнале «Annales de l'Université de Paris» (№ 1, janvier-mars, 1957). Статья эта, написанная по-французски, представляет собой сокращенное изложение доклада проф. Жана Фулке «Hochsprache und Mundarten in synchroner Betrachtung», прочитанного на I Международном конгрессе германистов в Риме (сентябрь 1955). «Организаторы конгресса, — сообщает Ж. Фулке в предисловии к своей статье, — избрали в качестве центральной темы вопрос об общем языке (койне) и диалектах (Hochsprache и Mundarten). При этом они сочли нужным учесть соссюрианскую точку зрения, пока еще мало знакомую и часто неверно толкуемую в странах немецкого языка». — *Ред.*

ческих, лексических форм для данного состояния языка; 2) диахронически и атомизм, изучающий изменения, которым подвергается с течением времени каждый из этих элементов: то, что принято называть сокращенно диахронией; 3) синхронически и структурализм, изучающий структурные связи между элементами рассматриваемого языка в данный момент времени; то, что принято называть сокращенно синхронией; 4) диахронически и структурализм, изучающий модификации, которым подвергаются эти связи с течением времени, что обуславливает превращение одной системы в другую. Современное словоупотребление заходит в тупик, когда нужно дать название этому типу изучения: пришлось бы говорить о диахронической синхронии! Ельмстев предложил термин «метахрония», который он определяет как «объяснительное сопоставление последовательных систем». На это издательское решение вопроса мы можем возразить, что оно канонизирует спорные термины «диахрония» и «синхрония». Мы предпочитаем противопоставление атомизма структурализму, о котором уже говорилось выше.

Очевидно, что противопоставление диахронии и синхронии в том виде, как оно понимается в «Курсе общего языкознания», не влечет за собой обязательный выбор между двумя логически взаимноисключающими точками зрения. И действительно, они не лежат в одной плоскости (п. п. 2 и 3). Такое противопоставление скорее тактическое: в настоящее время историческое изучение не может двигаться дальше, ибо оно основывается на ложном понимании языка; сейчас было бы важно ввести правильное понимание в плоскости описательной лингвистики (синхроническое изучение). Ф. де Соссюра эта программа вполне удовлетворяла. Но совершенно ясно, что как только она будет осуществлена, лингвисты окажутся перед новой проблемой — необходимостью построения нового исторического языкознания, на этот раз структурального, на основе новой описательной лингвистики. Именно в таком виде указанная проблема возникла перед Н. С. Трубецким, когда он закладывал основы описательной фонологии; он уже приступил к наброскам эволюционной, исторической фонологии, которые смерть помешала ему довести до конца.

Термин «синхрония» кажется нам спорным, даже когда речь идет о противопоставлении структурально-описательной лингвистики и лингвистики структурально-эволюционной, исторической. Противопоставление здесь наличествует не между одновременностью и последовательностью, а между изучением, ограниченным одной точкой на линии времени, и изучением, охватывающим последовательный ряд таких точек; лучше было бы пользоваться словами монохронический и диахронический.

Еще одно соображение побуждает нас настаивать на этом изменении терминологии. Известно, что в последней четверти XIX в. наряду с языковыми вариациями, обусловленными временем, были открыты вариации, обусловленные пространством: как монографическими описаниями отдельных диалектов последовали лингвистические атласы, показавшие, какие изменения претерпевает тот или иной языковой элемент при перемещении в пространстве (так, при движении с юга на север мы переходим от *caballo* к *cheval*).

Таким образом, с изрядным запозданием ученые пришли от монопии к диатопии, много времени спустя после того, как они перешли от монохронии к диахронии. Правда, это делали на основе атомизма, оперировавшего отдельными изолированными формами. Впрочем, атомизм этот вскоре оказался перед лицом структуральных проблем. Построения в духе структурализма намечены в работах Жильерона и Вартбурга.

Диатопия может сочетаться с диахронией в форме исторического изучения диалектных вариаций. основополагающая роль тут принадлежит труду Т. Фрингса *Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache* [Halle (Saale), 1948], который поистине является историко-лингвистической географией. История таких литературных языков, как немецкое койне, не отличается непрерывностью; в качестве основы для наиболее полного изучения исторического развития этих языков необходимо воспользоваться историей диалектного ареала, из которого выделились названные языки.

Я счел необходимым высказать эти вводные соображения, прежде чем перейти к теме порученного мне доклада. Мне хотелось бы в особенности подчеркнуть следующее: я отнюдь не собираюсь давать под названием синхронии окончательное решение всех лингвистических проблем, которое исключало бы всякое иное решение и, в частности, историческую лингвистику. В ходе дальнейшего изложения вы сможете сами в этом убедиться.

Считаю, что, озаглавив в о й д о к л а д «Литературный язык и диалекты в синхронном освещении», я тем самым согласился сделать сообщение о состоянии структурально-описательных исследований применительно к литературным языкам и диалектам той языковой области, которая входит в круг изучения Международной ассоциации германистов, за исключением английского языка. Это точно соответствует пункту 3 моей классификации.

1. Литературные языки

В области структуральной фонетики выдающееся место занимает фонология Н. С. Трубецкого и пражской школы. «Grundzüge» Трубецкого содержит фонологию нормализованного немецкого литературного языка (Bühnendeutsch). Одновременно А. Мартине и Копенгагенский кружок дали очень тщательные исследования датского фонетизма в духе пражской школы; аналогичные работы ведутся в настоящее время в области голландского и шведского. Можно надеяться, что в недалеком будущем в описательных грамматиках немецкого, голландского и скандинавских языков вместо эмпирических инвентарей звуков (Lautinventar), меняющихся от одного автора к другому, будут даваться более содержательные описания, основанные на понятиях фонемы, комбинационных вариантов и нейтрализации противопоставлений.

В области структуральной грамматики следует в первую очередь отметить две работы — Глинца и Дидериксена (H. Glinz, Die innere Form des Deutschen, Bern, 1925 и P. Diderichsen, Elementær dansk grammatik, Kjöbenhavn, 1946 — вопреки своему названию, чрезвычайно содержательное научное исследование). Я сам в своем преподавании немецкого языка, совершенно не зная в то время работы Глинца, пришел к выводам, поразительно близким к выводам последнего. Это лучше всего доказывается, что структура — совершенно определенная реальность, которую объективные исследователи могут обнаружить независимо друг от друга.

Преподавание грамматики германских языков, все равно — родных или иностранных, велось без существенных изменений в течение полутора столетий, т. е. в течение периода, когда диакрония поглощала все усилия лингвистов. Грамматика Хр. Авг. Геизе (Chr. A. Heuze), вышедшая первым изданием в 1814 г., до сих пор служит основой преподавания немецкой грамматики. В настоящее время можно считать, что описательная грамматика будет обновлена на основе структурального исследования; в основу описания современного немецкого языка будет положена его структура, а не структура латинского или прагерманского. Так, форму *wäre*, которая служит в данное время выражением ирреального настоящего, уже не будут называть конъюнктивом претерита: у Готфрида Страсбургского *waz mîn ihten wære* означает: «то, чем был мой поэтический труд»; в настоящее время фраза *was mein Dichten wäre* значила бы: «то, чем являлся бы (но чем не является) мой поэтический труд». Мысль Готфрида могла бы быть передана только временем со значением прошедшего: *was mein Dichten war, gewesen ist, gewesen sei*.

2. Диалекты

Пока мы могли бы назвать только одну попытку установления фонологической системы немецкого диалекта, которую можно сопоставить с очерком А. Мартине, посвященным фонетической системе романского диалекта Отвиля (Эн): эта работа американца Б. Кёкёна о диалекте Вены [B. J. Koekkoek, Zur Phonologie der Wiener Mundart, Gießen, 1955]. Со своей стороны мы работаем в Страсбурге над аналогичным опытом применительно к эльзасскому диалекту. Здесь мы наталкиваемся на трудности, связанные с отсутствием образцов и предшественников, но это лишний повод пожелать, чтобы такая работа была предпринята в ряде научных центров.

Традиционные фонетика и морфология какого-либо диалекта («Laut-(Formen-)lehre der Mundart von...») представляют собой любопытный продукт диахронического компаративизма: описание (фонетическое) современного диалекта делается на основе ряда соответствий «звукам» средневерхнемецкого; в результате остаются в тени структуральные факты первостепенной важности (например, изучаемый диалект не знает противопоставления простых и геминат, сильных и слабых согласных). Проходят также и мимо глубочайших изменений структуры, вроде утраты количественного противопоставления гласных, конвергенция, которая значительно сокращает число фонем, и т. д. Конечно, полезно свести формы нескольких разных диалектов к общему знаменателю, например эльзасское *hüs* и баварское *haus* к исходному *hūs*, но описывать современный, живой, непосредственно наблюдаемый диалект соотносительно с его состоянием семь веков назад — это представляется структуралисту абсурдной.

В отношении грамматики состояние диалектологических монографий еще менее утешительно: тут ограничиваются морфологией (Formenlehre), простым инвентарем форм, безотносительно к их употреблению. Ссылка на средневерхнемецкий приводит к тому, что даже не упоминают об аналитических формах глаголов, которые в XII в. не существовали, но в наши дни представляют нередко более половины глагольной системы. Совершенно необходимо, чтобы то, что Глинц сделал для немецкого койне, было предпринято также для некоторых диалектов, отобранных как типовые: сопоставление койне и диалекта получило бы объективную базу, отсутствие которой остро ощущается в настоящее время.

До сих пор мы говорили только о живых наречиях. Несомненно, структуральное изучение значительно облегчается, когда исследователь может обращаться к собственно-

ному языковому чувству: устанавливать отношения — дело гораздо более тонкое, чем наносить на карточки изолированные «элементы». Однако требование структурального изучения должно быть распространено на все состояния языка, известные нам только по письменным памятникам. В этом направлении следует заново перестроить все описания языка древневерхненемецких, древнесаксонских, древнесландских текстов эпохи атомизма. Новое собрание фактов, произведенное с точки зрения фонологии или структурального синтаксиса, насколько я могу судить по своим собственным первоначальным поискам, принесло бы новую жатву, по значению, быть может, равную первой.

В области лексико-структурального изучения также вполне оправдано. Однако здесь предмет исследования настолько сложен, что мы пока не пошли дальше приблизительных работ, оперирующих ограниченными семантическим полем (Bedeutungsfelder); единый план еще не вырисовывается более ясно.

В этом весьма суммарном наброске мы ограничивались структуральным исследованием одного определенного языка в один определенный момент времени — исследованием, которое исключает вариации в пространстве (диатопические) и во времени (диахронические). Вариации первого типа относятся к лингвистической географии, второго типа — к лингвистической истории. Такое ограничение на самом деле — всего лишь рабочий прием: структуралист очень скоро начинает понимать, что масштабы пространства и времени как бы вписаны в ту структуру, которую он пытается определить. Общеизвестно, что всякая система содержит черттики предшествующих систем, которые никогда не интегрируются в ней полностью, и что внутри современной системы языка проступают некоторые очертания той системы, которая призвана ее сменить. Менее известен следующий факт: диалект не изолирован внутри того диалектного ареала, часть которого он составляет; он постоянно подвергается внешним влияниям, он захвачен движениями, распространяющимися из «активных» центров: его система содержит сумму воздействий, которые связывают его со всем ареалом. В наиболее крайних случаях система обнаруживает так называемые «вторжения» (Eingriffe), настолько нарушающие ее внутреннюю стройность, что можно установить их инородное происхождение без какого-либо иного доказательства, кроме внутреннего анализа.

Мы позволим себе сделать здесь попутно следующее замечание. Необходимо различать два варианта понятия «система»: 1) структуральное изучение данного языка (например, современного немецкого литературного языка у Глиница) имеет предметом всю реальную структуру (в и у т р е н и ю ф о р м у); однако структура эта отнюдь не представляется абсолютно связанной и цельной: мы принимаем ее такой, как она есть, со всеми ее несовершенствами, и описываем ее; 2) за этой структурой вырисовывается структура идеальная: чем был бы этот язык, если бы господствующие тенденции могли полностью осуществиться, если бы не существовало ни следов предшествующих стадий, ни следов пространственно смежных явлений. Именно благодаря этому мы можем понимать устранение аномалий, форм, не соответствующих внутреннему закону языка, попытки интеграции форм, переставших употребляться, и т. п.

Первое значение слова «система» соответствует описательному, статическому изучению языка, второе — изучению эволюционному, динамическому, определяющему в каждый момент направление эволюции к равновесию, которого она на деле никогда не достигает и которое все время отодвигается. Смешение этих двух значений привело к неправильным толкованиям синхронического изучения: идет ли речь о фонетике или о синтаксисе, структуралиста подозревают в желании дать во что бы то ни стало картину безупречной стройности (sobrigence) внутри изучаемого языка, повсюду обнаружить симметрию и т. п.

Для того, что Мартине называет экономией лингвистических изменений, понятие наибольшей стройности является весьма плодотворным, примерно так же, как понятие профили равновесия реки является для географа руководящим понятием, при помощи которого он объясняет множество мелких фактов эрозии и переноса. Вполне понятна в то же время необходимость относиться критически к натяжкам, устанавливающим ложные симметрии. Сглаживая неровности, структуралист сам себя лишает возможности вновь пересмотреть при помощи одного лишь внутреннего анализа сведения, сообщаемые лингвистической историей и лингвистической географией, и дополнить их там, где они отсутствуют.

Выводы

Нам представляется необходимым, чтобы молодые исследователи ориентировались на новую описательную лингвистику, основанную на структуральном изучении, которая уже начинает вырисовываться. Важнейшая задача заключалась бы в составлении удовлетворительных описаний каждого из литературных языков германской области и значительного числа диалектных монографий, относящихся к основным типам. Когда этот метод будет до малейших тонкостей разработан применительно к наречиям, которые можно непосредственно наблюдать, останется только применить его к более древним состояниям языка, известным лишь по письменным памятникам. На этой базе можно будет построить историческую лингвистику, которая в нашем понимании мо-

жет быть только историей диалектных ареалов, т. е. основываться на лингвистической географии.

Вследствие случайностей истории лингвистика в целом развивалась в следующем порядке: диахрония, диагония, структурализм — и отрывались от самых древних из засвидетельствованных языков, таких, как санскрит, к современным. Мы предлагаем план, основанный на обратной последовательности, которая представляется нам, совершенно очевидно, разумной последовательностью. Мы полагаем, что добрая половина лингвистических фактов ускользнула от внимания представителей атомизма, которые сводили язык к коллекции отдельных его элементов, не считаясь, за исключением разве косвенных и случайных показаний, с их интеграцией в системе. Сейчас предстоит собрать второй урожай. Это — дело многих поколений.

Когда я был еще молодым студентом, мне казалось, будто на поле германского языковедения остается подобрать лишь несколько оставшихся колосьев. Мне хотелось бы предостеречь молодых германистов от этого заблуждения.

Перевел с французского

В. М. Жирмунский

Л. АНДРЕЙЧИН

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА*

Взаимные связи болгарского и русского языков установились с давнего времени. Они имеют почти тысячелетнюю историю и плодотворны для обоих братских языков. Роль староболгарского языка в обогащении русского литературного языка обстоятельно освещена в трудах таких известных русских ученых, как А. А. Шахматов, В. В. Виноградов и др. Вопрос о роли русского языка в формировании новоболгарского книжного языка на протяжении прошлого века еще не был у нас предметом детального исследования. Попутно он неоднократно затрагивался во многих статьях и работах, но специально рассмотрен лишь в нескольких статьях¹. Процесс, о котором идет речь, сложен. Влияние русского языка очень разносторонне, оно переплетается и с влиянием церковнославянского языка, в результате чего во многих случаях очень трудно определить, где кончается одно и начинается другое. Нашим литературным языком было воспринято множество книжных слов и терминов, состоящих из понятий каждому болгарину элементов; при этом они не ощущались как чуждые слова, ср. например *усердие*, *постоянен*, *сложен*, *сказка*, *переработка*, *стыжание*, *уважавам*, *заявляю*, *принадлежа*, *отчуждавам* и мн. др. Интересны мысли автора первого учебника по физике Н. Герова, который говорил в предисловии к учебнику, что, пытаясь преодолеть трудности в терминологии, он воспользовался русскими терминами, которые «годились и для болгарского»². Действительно, в русском языке имеется много таких слов, которые «годились бы и для болгарского»; в связи с этим современный болгарский литературный язык смог в значительной степени воспользоваться помощью русского языка в период своего формирования и достиг высокой степени развития при достаточно неблагоприятных условиях прошлого века. (Разумеется, это лишь основное условие. В действительности не всякое заимствованное из русского языка слово содержит основу, ясную с точки зрения современного болгарского языка, ср., например, *старая се*, *подразвалям*, *опровергавам*, *ужас*, *небрежен*. Процесс этот сложен; здесь следует принять во внимание и роль церковнославянских религиозных текстов, широко известных у нас в то время, а также и ряд других обстоятельств.)

Влияние русского языка советской эпохи, которое рассматривается в настоящей

* «Български език», год. VII, кн. 5, София, 1957, стр. 452—455.

¹ Ср. Б. Цонев, «Взаимности между български и руски. В памет на проф. А. К. Медведев», «Руско-български сборник», София, 1922, стр. 35—51, а также в «История на български език», т. II (посм. изд.), София, 1934, стр. 338—353; Л. Андрейчин, «Ролита на руски език в развитието на съвременния български книжовен език», «Български език», П (1925), стр. 173—182.

² Ср. Н. Геров, «Извод от физика», Бялград, 1847.

заметке, изучено еще слабо¹. Мы не ратуем здесь за излишние русизмы, которые проникают в речь некоторой части нашей интеллигенции и неоправданно занимают место уже существующих в языке собственных слов и выражений. Вместе с тем следует сказать, что русское влияние — явление естественное и положительное в жизни нашего языка. Оно определяется двумя основными факторами: большой лексической близостью двух братских языков (значительно возросшей в результате упоминутых сложных процессов взаимодействия в литературной жизни обоих народов в далеком и недавнем прошлом) и общей системой понятий, связанных с экономической, политической и культурной жизнью социалистического общества.

И в прошлом европейские языки в связи с общими процессами общественного и культурного развития европейских народов постоянно переживали различные процессы взаимодействия, которые привели к значительной общности в терминологии и в некоторой части фразеологии. Помимо общей международной терминологии греческо-латинского, а отчасти и французского, английского, итальянского и немецкого происхождения, при образовании терминов и фразеологических сочетаний постоянно использовался также метод калькирования, чем в особенности достигался параллелизм между теми или другими языками (и в значительной степени между всеми культурными европейскими языками) в области лексико-фразеологического материала. Обычно влияние оказывает язык того народа, который раньше других разработал систему лексико-фразеологических средств в данной области общественной жизни и культуры. В настоящее время ведущая роль СССР в построении социалистического общества и мировое значение современной советской культуры создают условия для такого рода влияния русского языка не только на языки социалистических стран, но и на многие другие языки.

Значительная лексическая близость между русским и болгарским языками позволяет употреблять в обоих языках одни и те же слова и термины для обозначения очень многих понятий (имеются в виду и словосочетания, играющие роль терминов), связанных с социалистической общественной и культурной жизнью, как, например, *народен съвет, съветски, колективизм, колективен метод, петилетка, държавен контрол, съвещание, обсъждане, производствено съвещание, обмяна на опит, комунистическо възпитание, партиец, партийно-масов, централен комитет, критика и самокритика, митинг, ударник, отличник, бригадир, пионер, кадри, субективен и обективен фактор, трактор, тракторист, комбайн, комбайнер, екскаватор, машинно-тракторна станция, агротехника, снеговадържане, ползащитни поски, трудовен, лауреат, народен артист, заслужил артист, герой на социалистическия труд* и мн. др. Разумеется, большая часть этих слов и раньше не была чужда нашему языку (некоторые из них славянского происхождения, некоторые сейчас употребляются и в другом значении), но важно отметить то, что в настоящее время они стали гораздо более актуальными и широко употребляемыми, а в этом смысле и характерными для нашего современного языка.

Обычно термины оформляются в соответствии с особенностями болгарской фонетики, морфологии и словообразования, например *съвещание* (русс. *совещание*, произносится с долгим мягким *ш*), *обсъждане* (русс. *обсуждение*), *снеговадържане* (русс. *снегосадержание*), *свиневъд* (русс. *свиновод*), *обмяна на опит* (русс. *обмен опытом*) и т. п. Отдельные термины сохраняют некоторые русские особенности структуры, например *петилетка* (русс. *пятилетка*) и под.

Если русские термины содержат нехарактерные для болгарского языка основы или суффиксы, то термин, созданный на болгарском материале, чаще всего бывает переведен или калькирован с русского (часто с сохранением суффикса): *гетгодишен план* (русс. *пятилетний план*), *кращец екскаватор* (русс. *шагающий экскаватор*), *тежкотоварник* (русс. *тяжеловесник*), *разглобка* (русс. *разборка*), *трудосмен* (русс. *трудоёмкий*), *червена армия* (русс. *красная армия*) и др. Таким образом, общность между двумя языками сказывается и на внутренней форме значительного числа терминов. В некоторых случаях предпочитается более свободное отношение к русскому термину-образцу: так, например, не следует употреблять ни русский термин «агрукса» (преподаватели), ни буквальный его перевод (кальку) «натовареност»; это понятие лучше выразить по-болгарски посредством более нам близкого по внутренней форме слова *заетост*.

Характерным явлением, находящимся в связи с рассматриваемыми процессами, является распространение какого-либо типичного для русского языка суффикса на болгарской почве в сфере технической терминологии; например, суффикс *-ник*, помимо слов типа *монтажник, ремонтник, такеджик* и др., заимствованных из русского языка, встречается и в образованных на болгарской почве словах типа *очетник*,

¹ Вопрос этот отчасти затрагивается в следующих статьях: Р. Мутафчиев и К. Анкова, *Промени в лексиката на български език след 9 септември*, «Език и литература», V (1949—1950), кн. 2, стр. 127—136; Ив. Лекков, *Новият производствен и общественополитически живот и речникът на българския език*, «Език и литература», VIII (1953), кн. 5, стр. 311—317; М. Москв. Новага производствена и обществено-публицистична лексика, «Български език», VII (1957), кн. 2, стр. 130—142.

тежкооварник, стохляндник, придружник и др. Этот суффикс употребляется и в нашем языке, но распространение его в указанных случаях следует объяснить скорее русским влиянием. Значительно распространен в современной технической терминологии и суффикс *-чик*, соответствующий не только русскому *-чик*, но и *-чик* (в упрощенном на болгарской почве фонетическом виде): *азотчик, аппаратчик, браковщик, вальцовщик, генераторчик, нормировщик, облицовщик, протодчик* и пр. Суффикс этот ощущается как чуждый в болгарском языке, в связи с чем встречаются и попытки его замены другим: *полнровач, разкройвач, формувач* вместо *полнровщик, разкройщик, формовщик*. Эти попытки следовало бы умножить. В меньшем количестве встречаются слова и с русскими суффиксами *-ка, -овка* и др.: *очистка, поправка, задвижка, уравниловка, бонитировка* и др. (см. в указанной статье М. Москова). С другой стороны, как об этом ясно говорит богатый материал в статье М. Москова, в области технической терминологии в значительной мере развиваются и словообразовательные процессы на нашей традиционной основе с широким использованием таких болгарских суффиксов, как *-ач, -ар, -тел, -не* и иноязычных *-ист, -джия*. Это особенно относится к случаям, когда термин возникает на нашей почве или русский термин калькируется более свободно.

Из русского языка советской эпохи к нам пришел новый словообразовательный способ — образование новых слов путем механического слияния элементов (начальных звуков, букв и слогов) слов, которые образуют описательные названия каких-либо основных и часто встречающихся на практике понятий, например *СССР, КПСС, БКП, ЦК, ТКЗС, БАН, ВУЗ, ДИП, ДОСО, диамат, селкооп, нармаг, стенистник, стенист, политбюро, полтприветна, профреанизация, проферуна, профтоговорник, райсвет, сенекур* и др.

Революционное переустройство жизни в СССР и других социалистических странах создает много новых общественных институтов, в результате чего возникает множество характерных новых понятий, которые получают пространные описательные названия. Зачастую эти названия неудобны для практического использования, и жизнь требует, чтобы от них были образованы механическим путем письменные и устные сокращения, которые технически для ряда случаев достаточно удобны и фактически обогащают язык, не умаляя при этом значения основных словообразовательных средств. Несмотря на то, что наблюдается ясная тенденция ограничивать рост этого типа сложносокращенных слов, их существование все же свидетельствует об определенной особенности нашей современной лексики и сходном ее развитии с современной русской лексикой.

Целью данной заметки было поставить в общих чертах вопрос о роли русского языка советской эпохи в развитии нашего современного языка. В этом направлении следует обстоятельно и углубленно работать.

Перевела с болгарского

О. А. Лантеева

РЕФЕРАТЫ

В № 1 за 1958 г. журнала «New age», органа индийской коммунистической партии, помещена статья секретаря ЦК Коммунистической партии Индии А. Гхош а, освещающая позицию Коммунистической партии Индии в вопросах языковой политики (см. A. Ghosh, Language policy, «New age», vol. VII, № 1, [New Delhi], 1958, стр. 8—16). С размахом национального движения в Индии, отмечает А. Гхош, в области языка возникли две дополняющие друг друга тенденции. Одна из них была связана с ростом популярности хинди, который воспринимался как язык, противопоставленный языку английского империализма, и являлся мощным средством в объединении Индии, свидетельством растущего самосознания индийского народа. На хинди говорят широкие слои индийского населения, еще более широкие слои понимают его. В то же время наряду с распространением хинди начался расцвет местных языков — бенгальского, маратхи, тамильского, малайяльского, телугу и др.

С проникновением национально-освободительного движения в самую толщу индийского народа стало с очевидностью обнаруживаться огромное разнообразие страны и ее культуры. Все громче стало звучать требование образования на родном языке, требование, чтобы родным языком пользовалась администрация, местная пресса, юридические учреждения и т. п. Однако в последующие десятилетия, и в особенности после освобождения, установившееся здоровое соотношение между хинди, как общим посредником, и местными языками, стремящимися к своему полному развитию, было нарушено. Обнаружилось стремление к максимальному развитию хинди в ущерб другим языкам Индии.

Между тем, заявляет Гхош, Индия должна развиваться как обширное многоязыковое государство. Языковой вопрос в Индии следует рассматривать с точки зрения усиливающегося единства Индии, которое должно основываться на равенстве всех языковых групп. Само развитие хинди как государственного языка (а также как языка местного) возможно лишь на основе всемерного развития других местных языков, для чего необходимо возложить на них большие функции — как в области образования и культуры, так и в области местного самоуправления.

В настоящее время, указывает в статье, в изучении и распространении хинди в отдельных штатах наблюдается большой разбой. Высказываясь за обязательное обучение хинди (а в областях, где хинди является родным языком, — какому-либо другому местному языку), Центральный Комитет компартии Индии считает в то же время, что не следует искусственно насаждать тяжелую «санскритизированную» форму хинди; нужно обучать той его разновидности, которая широко используется в речевом общении.

Особенно важным, подчеркивает Гхош, является вопрос о развитии языка урду, который внес большой вклад в развитие национальной литературы и культуры и до сих пор является устным и письменным языком большей части населения.

По мере окончательной утраты английским языком своей прежней роли будут, естественно, возникать значительные трудности из-за недостаточного количества хороших учебников, в особенности для высшей школы, из-за неразработанности национальной терминологии. Необходимо хорошо наладить переводческую работу, стремлясь к тому, чтобы, насколько это возможно, научная и техническая терминология в различных индийских языках была одинаковой, для чего следует широко привлекать и необходимую международную лексику.

«Информационный бюллетень ЮНЕСКО» приводит, ссылаясь на лондонскую газету «Таймс» (11 III 58), следующие данные об исключительном росте в Великобритании интереса к русскому языку. «Свидетельством этого явления, — пишет „Таймс“, — служит все возрастающее количество учащихся в школах, университетах, на вечерних курсах, где преподается русский язык. Новым доказательством успеха русского языка является сообщение о том, что в течение этого лета английские преподаватели русского языка посетят СССР, а русские преподаватели английского языка посетят Великобританию.

В настоящее время рассматриваются планы обмена преподавателями между Британским советом по культурным связям и Министерством просвещения РСФСР. Это — первое соглашение такого рода, заключенное между двумя государствами, согласно которому 30 англичан-преподавателей получат возможность посетить Россию и такое же количество преподавателей из СССР приедет в Великобританию. Английские преподаватели будут проходить обучение, по всей вероятности, в Москве, а гости из России — в Эдинбурге. Визиты состоятся в период с 23 июля по 24 августа, но Британский совет еще не в состоянии сообщить, какое учебное заведение организует курсы для зарубежных гостей. Английская группа будет принята Министерством просвещения РСФСР и часть ее путевых расходов будет оплачена Британским советом. В свою очередь Британский совет примет русскую группу, которая приезжает на средства своего правительства».

Идея организовать подобный обмен преподавателями языков была высказана в октябре прошлого года, во время визита в Москву английской делегации деятелей культуры, изучавшей методы преподавания английского языка в Советском Союзе. В феврале советская делегация посетила английские школы и университеты.

«Таймс» указывает, что после войны в Великобритании наблюдается подлинный «бум» в изучении русского языка в различных учебных заведениях. Директор Школы славянских и восточноевропейских языков при Лондонском университете д-р Дж. Х. Болсовер заявил недавно, что количество студентов, получивших удостоверение о том, что они прошли курсы русского языка, увеличилось по сравнению с 1937—1938 г. на 1500 проц. Большинство этих студентов изучало русский язык по поступлению в высшие учебные заведения по долгу службы и решило продолжать его во время пребывания в университете. Но имеются и другие причины, которые увеличивают интерес к русскому языку, а именно признание той важной роли, которую играет Советский Союз в области политики, науки и культуры. Русскому языку стали уделять больше внимания также в средних школах. В настоящее время русский язык преподается в 40 английских школах. Перед войной таких школ было значительно меньше.

Представитель Министерства просвещения разъяснил недавно, что в 1956 г. был выдан 91 аттестат лицам, прошедшим курсы русского языка. За 20 лет до этого было выдано лишь 4 таких аттестата. В вечерних учебных заведениях в 1955—1956 г. русский язык изучало 1300 учащихся, в то время как в 1937—1938 г. русский язык учило в этой системе лишь 526 человек.

(«Информационный бюллетень ЮНЕСКО», № 22,
15 марта 1958 г., стр. 10—11).

Вышло из печати ежегодное издание «Index translationum» (UNESCO, 1958, стр. 694). Этот сборник, в котором собраны материалы об издании переводной литературы за 1956 год, подготовлен Секретариатом ЮНЕСКО совместно с библиографами многих стран мира.

В книге приводятся данные об изданиях переводной литературы в 52 странах. Согласно «Индексу трансляционному», в 1956 г. было переведено 27 617 произведений, в то время как в предыдущем году было переведено 24 274 печатные работы.

Среди переводной литературы наибольшее количество переводов приходится на художественные произведения — 14 692. Следующие группы образуют книги по праву, социальным наукам и просвещению — 3 211. На третьем месте находятся книги по истории, географии и биографическая литература; на четвертом месте — книги по прикладным наукам. Среди переведенных работ на первом месте стоят работы Ленина — 331 перевод. В 1956 году вышло 143 перевода произведений Жюль Верна, 134 — Л. Толстого, 107 — М. Горького, 104 — американского писателя Майка Спилейна (большая часть переводов — 89 — была сделана в Турции). Затем следует Библия — 99 переводов, произведения Шекспира — 89, Чехова — 84.

На первом месте по количеству переводов находится Советский Союз: в 1956 году там было переведено 4 648 произведений. На втором месте находится Германия (авторы сборника суммировали количество переводов, сделанных в ФРГ и ГДР — 2152), Италия — 1428, Франция — 1399 и т. д.

После Советского Союза среди стран Восточной Европы на первом месте стоит Чехословакия — 1386, затем следуют Румыния — 1114, Польша — 1043, Югославия — 742, Болгария — 557, Венгрия — 314.

В 1956 году, согласно «Индексу трансляционному», в США было выпущено 764 переводных издания, а в Великобритании — 500.

(«Информационный бюллетень ЮНЕСКО»,
№ 23, 1 апреля 1958 г., стр. 13).

В Германской Демократической Республике (г. Халле) начал выходить новый журнал для переводчиков — «Fremdsprachen» (Halle — Saale, 1957, 1, 80 стр.). Читателям получен первый, пробный, номер журнала. Идатель журнала: д-р К. А. Аммер, директор Института перевода при Университете имени Карла Маркса в Лейпциге, В. Бозс, глава Секции иностранных языков Министерства внешней торговли ГДР, О. Каде, зам. директора Института перевода при Университете имени Карла Маркса, К. Коконко, директор Института иностранных языков при Высшей школе внешней торговли в Берлине.

В соответствии с целями журнала он подразделяется на следующие пять частей: общая часть (на немецком языке), русская, английская, французская и испанская части. В общей части первого номера журнала напечатаны статьи К. К о к о н к о «За создание союза переводчиков в ГДР» и В. Б о з с «Основы перевода на немецкий и на иностранные языки». В статье О. К а д е и В. Х ю к к е л я «На ошибках следует учиться» дается критика перевода на русский и английский языки текста выступления Генриха Рау, опубликованного в журнале «Deutscher Export» (Jg. 1956, № 8/9) — журнал издается на немецком, русском и английском языках. В конце общего отдела помещена интересная информация Г. Б е н з е и К. А м м е р а о прочитанных на VIII Международном съезде лингвистов докладах, посвященных вопросам практического изучения иностранных языков и составлению словарей.

В русской, английской, французской и испанской частях журнала удачно подбираются небольшие тексты из различных областей науки и техники, а также тексты, построенные на разговорной лексике; они снабжены грамматическими примечаниями, в которых разбираются возможности перевода встретившихся в тексте специфических оборотов того или иного языка на немецкий язык, правилами орфографии и объяснением грамматических трудностей текста. В журнале приводятся, кроме того, немецкие тексты для перевода на один из иностранных языков, а также разбираются типичные ошибки перевода. В конце английского и французского отделов дается перевод некоторых неологизмов и терминов из различных областей науки и техники. При этом среди включенных в указанные списки слов имеется немало таких, значение которых давно зарегистрировано в соответствующих отраслевых словарях (например: англ. *charge* — «Ladung»; *ion* — «Ion»; франц. *la boîte de vitesse* — «Getriebkasten»; *Palésage* — «Bohrung» и др.). Было бы весьма желательным включать в эти списки слова, употребляемые в какой-либо области техники сравнительно недавно и еще не включенные в словари.

Выход журнала «Fremdsprachen» будет, несомненно, приветствоваться в широких кругах переводчиков, так как он даст им возможность не только совершенствовать свои знания иностранных языков, но и окажет помощь в их повседневной работе.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ В «УЧЕНЫХ ЗАПИСКАХ»
И «ТРУДАХ» (1955—1957)

Статьи в «Ученых записках» и «Трудах», посвященные языку писателей, говорят о большой исследовательской работе советских языковедов. Они содержат яркий иллюстративный материал, оригинальные наблюдения, убедительные в ряде случаев комментарии. Многие страницы заняты описанием стилистических функций лексических и грамматических средств, определением закономерностей образного словоупотребления, изучением работы писателей над черновыми редакциями произведений, обобщением поучительных высказываний о слове выдающихся его мастеров. Нет сомнения, что назрела необходимость создания теоретических основ эстетики слова, решения вопроса, который, как свидетельствует акад. В. В. Виноградов, предусматривает выяснение взаимоотношений науки о языке писателей «с историей литературного языка, с одной стороны, с историей литературы, с другой, со стилистикой и теорией художественной речи, с третьей»¹. Согласно выдвинутому положению, язык писателей должен изучаться в связи с историей общенародного и литературного языка, в русле тех языково-стилистических традиций и особенностей, какими характеризуются различные направления, при широком и всестороннем учете возможных в языке и стиле писателя аналогий, соответствий, контрастов и родственных связей.

В какой же степени отвечают требованиям научного анализа языка художественных произведений материалы, публикуемые в «Ученых записках»? Уже при беглом ознакомлении с содержанием их бросается в глаза известная однолинейность, «серийность» статей, которая обнаруживается, например, в особом пристрастии авторов к такому компоненту речевого строя произведений, каковым является лексика. Мнение, будто языково-стилистическое своеобразие писателя проследивается лишь в лексике, превалирует в области изучения словесной ткани художественных произведений². Именно с ним связано появление диссертаций и статей на одноименные темы, со стереотипными названиями и приемами выполнения. Критикуя утвердившийся своего рода шаблон, мы не хотим сказать, что лексику следует исключить из поля зрения исследователей художественной речи. О стилистических функциях лексических категорий в «Ученых записках» есть интересные работы, например статья Г. А. Шелюто «Лексика иноказаний в революционно-демократической литературе 60-х гг.»³. Автор занялся не шаблонной и мало плодотворной классификацией «измов», а выяснением закономерностей метафоризации и естественно-научной лексики в публицистических стилях второй половины XIX в. Такое изучение обогащает и историю русского литературного языка, и теорию художественной речи. Интересна статья М. М. Орлова «Славянизмы в произведениях Н. Г. Помаловского»⁴. В ней исследуются функции таких славянизмов, которые, сохранив связь с церковно-книжной традицией, получили название церковно-служительского жаргона. К недостатку работы относится тот факт, что М. М. Орлов подошел к объяснению стилистических функций славянизмов исключительно с позиций «общественного миро-

¹ В. В. Виноградов. Общие проблемы и задачи изучения языка русской художественной литературы, ИАН ОЛЯ, 1957, вып. 5, стр. 407.

² См. С. А. Савицкая, Язык художественных произведений, «Труды Одесского ун-та», т. СXLVI, вып. 5, 1956, стр. 95; А. Я. Рожанский, Объект и содержание лингвистической стилистики, «Уч. зап. [1-го МПНИИЯ]», т. X, 1956, стр. 219—220.

³ «Доповіді та повідомлення Ужгородськ. ун-ту», № 1, 1957.

⁴ «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону ун-та]», т. LI, вып. 5, 1957.

воззрения Помяловского» (стр. 150) и не учел специфику закономерностей развития литературного языка второй половины XIX в.¹

Полезны для историка литературного языка наблюдения над пародийно-сатирической функцией славянизмов, проведенные в статьях Е. В. Мухомовой «Славяно-кишная лексика, ее стилистические функции и приемы использования в языке иронико-комических поэм В. Майкова и М. Чулкова»², В. А. Сиротиной «Речевые средства сатиры в «Русских сказках» А. М. Горького»³ и О. А. Шестаковой «О некоторых лексико-стилистических особенностях статей и памфлетов А. М. Горького об Америке»⁴. Вместе с тем, читая последнюю статью, нельзя не обратить внимание, что славянизмами именуются такие слова (*праз, чрево, деяние*), которые по своим стилистическим качествам таковыми уже не являются.

Что же касается другой и немалой части статей, то стилистические функции лексических пластов разрабатываются там без должной квалицированности. Обратимся к работе И. Ф. Кузнецова «Из наблюдений над языком и стилем басен Демьяна Бедного»⁵. Автор перечислил «сверковую терминологию»: *обитель, затворница, келья, питие, ерад, руци, ножи, придоша*, указал на «редко» и «часто» встречающиеся «просторечия», «диалектизмы», «неологизмы» и пришел к выводам: «все персонажи басен Д. Бедного говорят на общерусском языке» (стр. 144), а сам «Демьян Бедный в совершенстве владел русским литературным языком» (разрядка моя.— А. С.) (стр. 143). В таком же примерно духе дано исследование И. М. Багрянского «К вопросу о языке критических статей и сатирических произведений Н. А. Добролюбова»⁶. Иронично-публицистическая речь критика превратилась по воле автора в плохо систематизированный лексический материал — «сверковославянизмы», «канцеляризм», «книжные» и «просторечные» слова. В заключение И. М. Багрянский уверяет, будто «Добролюбов дал превосходные образцы лексики своего языка», проявил «подлинное языковое мастерство» (стр. 122). Не подтвержденные конкретным анализом, эти заверения мало убедительны. Неудачна статья Г. Д. Петрова «Из архаизирующей лексики в историческом романе А. Н. Толстого „Петр Первый“»⁷. Если судить по заголовку, в ней предполагалось осветить одну из актуальных форм словесно-художественной образительности — историческую стилизацию. Вместо этого автор занялся не совсем верной классификацией «форм славянского языка» [*старче, сыне, отче (?)!*; стр. 148] и «архаизмов» [*венегерский кафтан, крапичный кафтан (?)*] и пр.]

Аналогичные недостатки прослеживаются в статьях В. Г. Васильева, М. П. Жоголевой, А. А. Богдановой и В. С. Потапова⁸. Сделав ряд интересных наблюдений над отдельными случаями употребления речевых средств в историко-литературном жанре, авторы не связали содержание своих статей с общей характеристикой языково-стилистических особенностей исторической стилизации. Из работ на данную тему выделяется статья В. В. Степановой «Стилистические приемы использования устаревших слов в языке романа А. Н. Толстого „Петр I“»⁹. Не ограничиваясь указанием на архаизмы в художественном повествовании (*ратник, ландрат, ассамблея* и др.), автор исследует жизнь этих слов в соотносительных стилях литературного языка, например в документально-деловом.

В некоторых статьях словесно-образительное мастерство писателя ставится в прямую зависимость от того, насколько «редко» или «часто» употребляются «измы». Хороший признак, по мнению этих исследователей, если писатель избегает просторечия, диалектизм, заимствований и славянизмов, ибо, с их точки зрения, подобное увлечение может кончиться не иначе, как «нарочитыми эффектами» и «формальными трюками». Общепризнанный художник, допустивший такую «оплошность», в статьях обычно «реабилитируется», например: «... использование диалектизм у Вс. Вишневского... приводило к натурализму. Но это ни в коем случае не говорит о том, что Вишневский

¹ См. в связи с этим его статью «Публицистическая лексика и фразеология в языке Н. Г. Помяловского», «Уч. зап. [Балашовск. пед. ин-та]», т. 2, 1957.

² Уч. зап. [Орехово-Зуевск. пед. ин-та], т. II, вып. 1, 1955.

³ Наукові зап. [Київськ. ун-ту], т. XIV, вип. II, 1955.

⁴ Уч. зап. [2-го ЛГПИИЯ], т. 4, 1956.

⁵ Уч. зап. [Томск. пед. ин-та], т. XV, 1956.

⁶ Труды Узбекск. ун-та, вып. 62, 1956.

⁷ Уч. зап. Каракалпакского пед. ин-та, вып. 1, 1957.

⁸ В. Г. Васильев, О языке «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, «Уч. зап. [Магнитогорск. пед. ин-та]», вып. IV, 1957; М. П. Жоголева, О некоторых особенностях разговорной речи Пугачева в романе Вячеслава Шипкова «Емельян Пугачев», «Уч. зап. [Ульяновск. пед. ин-та]», вып. VIII, 1956; А. А. Богданова, О языке исторического романа В. Шипкова «Емельян Пугачев», «Труды IV научной конференции [Новосибирск. пед. ин-та]», т. I, 1957; В. С. Потапов, Язык как средство раскрытия образов-персонажей в историческом повествовании В. Я. Шипкова «Емельян Пугачев», «Уч. зап. [Балашовск. пед. ин-та]», т. 2, 1957.

⁹ Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена], т. 130, 1957.

не владел словарным составом русского языка»¹. Можно ли согласиться с таким подходом к языку и слогу художественных произведений? Нет. В основе его лежат не языковые факты, а предвзятые схемы, в частности, ошибочное мнение, будто диалектизмы портят словесную ткань художественных произведений.

Нам хочется напомнить, что в последнем издании сочинений М. А. Шолохова речь донского казачества вновь обрела характерные диалектные особенности. Писатель оказался от тех правок, которые были навязаны ему критиками. В связи с этим утеряли свое значение статьи М. И. П р и в а л о в о й и В. Г. В е т в и ц к о г о, посвященные языковым правкам «Поднятой целины» и «Тихого Дона»². Созданный в настоящее время Союз писателей Российской Федерации ставит перед художниками речи задачу использования во всей полноте словесной сокровищницы народа. Перед русскими писателями открылся широкий простор для привлечения в художественные произведения многообразных форм территориальных различий национальной речи.

Приходится называть и такие статьи, где авторы проявляют недостаточную языковедческую осведомленность, слабую филологическую подготовку. Разве правомерно, например, относить, как это делает Е. П. Д у б р о в и н а³, к диалектизмам в языке молодого Некрасова книжные формы: местоимение *оно*, усеченные прилагательные (*стель песчану*) и наречие *далече*? Столь же неверно в статье С. Н. А с т а ф ь е в о й «Приемы типизации в произведениях В. Н. Полевого»⁴ называть слово *моць* «архаизмом», а украинизмы *дидуць* и *сит* диалектной лексикой (стр. 170).

Нельзя согласиться и с теми исследователями, которые сводят задачи стилистики художественной речи к изучению соотносительных и параллельных лексических средств. Конечно, небезынтересны такие статьи, как «Работа А. М. Горького над лексикой публицистических статей советского периода» М. Я. К р и в о н к и н о й⁵, «Работа К. Тренца над словом Л. А. В е д е н с к о й»⁶, «О языке и стиле повести Б. Горбатова „Непокоренные“» Т. В. О ш а р о в о й⁷, «О работе А. П. Чехова над языком произведений в 90-х — начале 900-х годов» Т. И. П а б а у с к о й⁸, «Место Н. Г. Помыловского в истории литературы и русского литературного языка» С. А х у м я н⁹ и, наконец, «Мастерство Федора Гладкова» А. П. В о л ж е н и н а¹⁰. В них ставится проблема выбора писателем языковых эквивалентов. Поднятый в статьях материал полезен в равной степени для истории литературного языка и национального искусства художественного слова, а также для историко-литературного процесса. Но все дело в том, что располагать черповыми вариантами, отражающими работу писателей над синонимами, не всегда возможно. Среди нескольких десятков статей, содержащих наблюдения над языком художественных произведений, всего лишь шесть посвящены вопросу выбора писателем стилистически соотнесенных друг с другом средств.

Остро выдвигается в современной стилистике вопрос о законмерностях использования в художественных произведениях частей речи, морфологических форм и категорий, а также синтаксических конструкций. Но «Ученые записки» пишут об этом недостаточно. Большинство статей, где рассматриваются выразительные качества грамматических средств, носят комментаторский характер¹¹.

Нам представляется, что метод лингвистического комментирования словесной ткани художественных произведений в известной степени — пройденный этап в науке о языке писателей. Внимание филолога-стилиста должно быть направлено на выяснение общих закономерностей художественной речи и тех языково-стилистических вариаций, которые прослеживаются у отдельных писателей.

Очень немногие авторы выделяют, например, в качестве речевых средств имитации слога народных песен и сказов формы субъективной оценки имен существитель-

¹ М. М. С а в ч е н к о, «Первая Конная» Вс. Вишневского, «Уч. зап. [Балашовск. пед. ин-та], т. 1, 1956, стр. 38.

² См. «Михаил Шолохов. Сб. статей», Л., 1956.

³ Е. П. Д у б р о в и н а, К вопросу о развитии художественного мастерства Н. А. Некрасова в использовании диалектных элементов языка, «Уч. зап. [Арамакск. пед. ин-та], вып. 1, 1957, стр. 211.

⁴ «Труды Томского ун-та», т. 139, 1957.

⁵ «Уч. зап. Карело-Финск. ун-та», т. V, вып. 1, 1955.

⁶ «Уч. зап. [Ростовского-на-Дону пед. ин-та], вып. 4 (14), 1955.

⁷ «Труды Томского ун-та», т. 139, 1957.

⁸ «Уч. зап. [Латвийск. ун-та], т. XI, вып. 1, 1956.

⁹ «Уч. зап. [Ереванск. русск. пед. ин-та], т. VII, 1956.

¹⁰ «Уч. зап. [МГИИ им. В. П. Потемкина], т. LXX, вып. 1, 1958.

¹¹ См. П. Г. С т р е л к о в, Победа реализма в стиховом языке Лермонтова, «Уч. зап. [Марийск. пед. ин-та], т. IX, 1955; Б. О. Р о м а н, К вопросу о формировании лирического стиля Н. А. Некрасова, «Уч. зап. [Борисоглебск. пед. ин-та], вып. 1, 1956; И. С. В а х р и ч е н к о, Некоторые наблюдения над приемами создания отрицательных образов и над языком и стилем романа Л. Леонова «Русский лес», «Труды Прижвальск. пед. ин-та», вып. IV, 1956.

ных, прилагательных, наречий, а также префиксальные глаголы¹. Но обратимся к старинным грамматическим исследованиям, руководствам по теории словесности и красноречию, и станет ясно, что исследователи языка с давних пор последовательно интересовались экспрессивно-изобразительными качествами грамматических средств². Внимание их привлекали: 1) стилистические возможности, заложенные в частях речи (прилагательные и качественные наречия назывались, например, «красочными»); 2) стилистическое использование в художественных произведениях грамматических категорий рода, числа, падежа, времени, вида и наклонений; 3) экспрессивные функции порядка слов в стихе и фразе; 4) изобразительные качества словообразовательных элементов; 5) речевые средства «поэтического синтаксиса» («фигуры тождества» и пр.). Вместо того чтобы дальше разрабатывать эту богатую традицию русской филологии, авторы статей в «Ученых записках» ограничиваются беглыми замечаниями о том, что писатель использует «и грамматические средства»³. А что это за средства и каковы приемы их употребления — читатель не знает.

Среди частей речи как средств художественной изобразительности внимание авторов чаще останавливает глагол, особенно если он выступает как средство динамического повествования⁴, а также отглагольные имена существительные⁵. Есть работы, посвященные экспрессивно-изобразительным качествам грамматических синонимов⁶. Но эту важную для стилистики художественной речи проблему непропорционально сужают: комментируется лишь синонимика прилагательных и определенных-существительных в косвенных падежах. Что касается синонимии разрядов местоимений, инфинитива и личной глагольной формы, предлогов, а также знаменательных слов, принадлежащих к различным частям речи, то она остается, как правило, за пределами исследовательских устремлений. Это происходит, может быть, еще и потому, что большинство такого рода статей принадлежит перу литературоведов. Анализ языка художественных произведений занимает в них «минимальные места». Почти в каждой статье, раскрывающей характеристику персонажей, одна-две страницы отводятся анализу языка. Большая часть замечаний обращена к лексике, меньшая — к грамматическим формам и категориям. Чтобы судить о характере этих замечаний, приведем примеры: «язык мельника чисто разговорный. Эту „разговорность“ придает ему широко применяемый союз *да* в значении „и“⁷; «постпозитивная частица *то* помогает глубже раскрыть образ старого боярина, мало образованного, но умного и хитрого»⁸. Непонятно, почему в исследованиях с «лингвистическим» названием [см. А. Х и д е ш е л и, Некоторые языковые особенности «Тихого Дона» М. Шолохова⁹, В. И. Б а й к у р о в, Из наблюде-

¹ См. А. И. Ч и ж и к-П о л е й к о, Языковые средства фольклорного колорита в сказах П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка», «Труды Воронежск. ун-та», т. 38, 1955; А. И. Ч и ж и к-П о л е й к о и В. В. Т и т о в с к а я, О глаголах с вторичной приставкой [в русском языке], «Труды Воронежск. ун-та», т. 47, 1957; С. Г. Л а з у т и н, Художественная форма русской народной лирической песни, «Труды Воронежск. ун-та», т. XLII, вып. 3, 1955.

² В связи с этим приходится возразить против категорического мнения, будто дореволюционная филологическая наука «стояла в стороне» от изучения языка художественных произведений (см. Ю. Р. Г е п н е р, Лингвистика — детище советского языкознания, «Научн. зап. Харьковск. пед. ин-та», т. XXVIII, 1957).

³ См. А. С у п р у н, О языковой характеристике действующих лиц комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», «Уч. зап. [Киргизск. заочн. пед. ин-та]», вып. II, 1956.

⁴ См. А. Е. М а р г а р я н, О романе Мариэтты Шагинян «Гидроцентральный», «Уч. зап. [Ереванск. русск. пед. ин-та]», т. V, 1955, стр. 80; Э. И. А л ь б и н а, О стиле публицистики А. Н. Толстого, «Уч. зап. [Киргизск. заочн. пед. ин-та]», вып. II, 1956, стр. 207—208; А. И. Д у д е н к о в а, О некоторых особенностях художественного мастерства А. Н. Толстого, «Доповіді та повідомлення Ужгородськ. ун-ту», № 1, 1957, стр. 50.

⁵ См. З. П. Ж а п л о в а, Стилистические функции имен существительных в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя, «Уч. зап. [Азербайдж. пед. ин-та]», вып. II, (1956), 1957.

⁶ См. Э. С. В о й н о в а, Стилистическое употребление некоторых грамматических синонимов, «Вопросы русского языкознания» [Львовск. ун-т], кн. 2, 1956.

⁷ См. О. В. А с т а ф ь е в а, Драма Пушкина «Русалка» (Опыт идейно-художественного анализа), «Уч. зап. [Таганрогск. пед. ин-та]», вып. 1, 1956, стр. 108.

⁸ См. Л. А. К и щ и н с к а я, Приемы языковой характеристики образа в романе А. Н. Толстого «Петр Первый», «Уч. зап. [Свердловск. пед. ин-та]», вып. 11, 1955, стр. 48.

⁹ «Труды Тбилисс. ун-та», т. 61, 1956. В этой статье есть лишь одно внешне напоминающее языковедский анализ замечание: «И вот сжатая, спокойная авторская речь прорывается восклицанием: „Отдохнуть бы Григорию, отоспаться!“ Восклицание выражено безличным инфинитивным предложением, которое выражает оттенок желательности» (!?) (стр. 304).

ний над поэтическим мастерством К. Симонова (в стихах 1941—1945 гг.)¹, С. Е. Ш а т а л о в, Стиль Чехова-юмориста², Е. О з м и т е л ь, Стиль сатиры «Окон Роста» В. В. Маяковского³ языково-стилистический анализ отсутствует, а в сугубо литературоведческих работах (см. М. П. Д и ч е н с к о в, Образы рабочих в пьесе А. М. Горького «Враги»⁴, В. Ф. П и п и н с, Рабочий класс Германии в трилогии Вилли Бределя «Родные и знакомые»⁵) уделяется большое место.

Художественное мастерство писателя проявляется не только в речи персонажей и авторском повествовании, но и в таких, например, средствах художественной изобразительности, как пейзаж, композиция, портретные характеристики, музыка и т. д.⁶ Однако если литературовед задался целью охарактеризовать языково-стилистическое своеобразие художественного произведения, то, с нашей точки зрения, он должен избежать подмены анализа языка анализом содержания⁷. Не случайно лучшими образцами анализа художественного текста являются именно такие работы, в основе которых лежит языково-стилистический подход к словесной ткани художественных произведений. Укажем на статью С. А. Копорского «Собственные имена в языке писателей-демократов: Н. Успенского, Слепцова и Решетникова»⁸. Ценность ее заключается в том, что истоки «яркой социально-стилистической окраски» собственных имен автор видит в особенностях смыслового объема и морфологической структуры этих слов, в контаминация номинативного и образно-переносного значений. Прием использования фамилий для социальной характеристики персонажа довольно популярен в художественных произведениях⁹. На него неоднократно обращали внимание и филологи. Но для С. А. Копорского фамилия персонажа — это не содержание, как понимается она в статье Д. Мгеладзе и Н. Колесникова «Собственные имена в рассказе А. П. Чехова»¹⁰, а слово, языковой материал.

Испытанным приемом создания художественных образов является метафорическое словоупотребление. Эпитеты и метафоры с давних пор занимали в поэтике видное место. «Традиционными украшениями» стиля, «тропами» именовались они в старинных руководствах по риторике и теории словесности. Рецензируемые статьи не прибавляют в изучении тропов нового к предшествующей традиции. Как и раньше, в тропах выделяется лишь их предметно-логическое содержание, а не языковая оболочка¹¹. Авторы предпочитают классифицировать эпитеты и метафоры по рубрикам: звуковые, цветные, пространственные и т. д.¹², но забывают о том, что троп — это прежде всего факт языка.

¹ «Уч. зап. [Киргизск. женск. пед. ин-та], вып. 2, 1957.

² «Труды Узбекского гос. ун-та», вып. 72, 1957.

³ «Уч. зап. [Киргизск. заочн. пед. ин-та], вып. III, Русский язык и литература, 1957.

⁴ «Научки записки [Ворошиловградск. пед. ин-ту], вып. V, 1956.

⁵ «Уч. зап. [Кабардинск. пед. ин-та], вып. 9, 1956.

⁶ См. об этом: В. И. Баранов, Вопросы художественного мастерства в эстетике А. Н. Толстого, «Уч. зап. Горьковск. ун-та», вып. 39, 1957; В. Г. Одинокоев, Художественные особенности трилогии Л. Н. Толстого, «Труды IV научной конференции [Новосибирск. пед. ин-та], т. I, 1957; А. Н. Мензоров, О роли пейзажа и музыки в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», там же; А. В. Терновский, О художественном мастерстве Н. Йогодина, «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина], т. СIII, вып. 1, 1957.

⁷ См. Ф. В. Попов, Противопоставления в языке памфлетов (1906—1907) А. М. Горького, «Уч. зап. [Магнитогорск. пед. ин-та], вып. IV, 1957.

⁸ «Уч. зап. [МОПИ], т. XXXV, вып. III, 1956.

⁹ См., например, З. П. Жалова, Стилистические функции имен собственных в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя, «Уч. зап. [Азерб. пед. ин-та], вып. V, ч. 1, 1957.

¹⁰ «Труды [Тбилиск. ун-та], т. 61, 1956.

¹¹ См., например, И. А. Федосов, О сравнениях в романе А. М. Горького «Мать», «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону ун-та], т. LI, вып. 5, 1957; С. А. Савицкая, Афоризмы А. М. Горького в его публицистических произведениях, «Традиц. Одесского ун-та», т. 147, вып. 6, 1957; А. С. Борисевич, О некоторых свойствах и функциях косвенных обозначений, «Уч. зап. [Шахтинск. пед. ин-та], т. I, вып. 2, 1956; В. И. Корovin, Наблюдения над метафорой и сравнением в лирике М. Ю. Лермонтова 1834—1841 годов, «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина], т. CXV, вып. 7, 1957. Противопоставляя г и п е р б о л и ч и е м метафоры Лермонтова вещественным метафорам Пушкина, автор последней статьи не указывает на языковые и стилистические черты этих категорий.

¹² См. Е. А. Есяя, Пейзаж в ранних реалистических рассказах Горького, «Уч. зап. [Ереванск. русск. пед. ин-та], т. VII, 1956, стр. 203. См. также Я. А. Назаренко, Творческая история и идейно-художественное значение «Весенних мелодий» и «Песни о Буревестнике» А. М. Горького, «Уч. зап. [Могилевск. пед. ин-та], вып. II, 1956. В этой статье перечисляются использованные писателем многочисленные олицетворения-метафоры: *ветер тучи собирает, тучи слышат*, глаголы: *стонать, метаться, прыгать*, но лексико-грамматическая база, обусловившая стилистические оттенки в этих словах-действиях, остается нераскрытой.

Автор одной статьи полемизирует с литературоведами по вопросу, является ли эпитет «термином грамматическим и стилистическим или только стилистическим»¹. Но поскольку в основе изобразительных качеств эпитета лежит синтез семантических, морфологических и синтаксических показателей, то разговор о нем как о средстве словеснохудожественной изобразительности следует, по-видимому, начинать с характеристики его лексико-грамматических свойств. Грамматическое и стилистическое сливается в эпитете в одно целое².

Односторонне в ряде случаев решается вопрос о факторах, влияющих на отбор писателем языковых средств. Состав языка и характер слога художественного произведения обусловлен, как известно, рядом обстоятельств: мировоззрением писателя, характером предмета описания, степенью осведомленности писателя в этом предмете (с романы Мельникова-Печерского, Мамина-Сибиряка, сказы Бажова и пр.), а также индивидуальным чутьем языка. Все эти факторы взаимосвязаны, но в ряде статей отбор речевых средств писателем рассматривается как «идеологический фильтр языковых элементов»³, как «отражение мировоззренческих позиций писателя»⁴. Такая точка зрения содержит элементы социологизации, она подрывает основы научного анализа словесной ткани художественных произведений. Для советских писателей характерно единое марксистско-ленинское мировоззрение. Но кто решится сказать, что выдающиеся произведения нашей литературы аналогичны по составу и приемам употребления речевых средств?

Отожествление формы и содержания дает повод некоторым авторам выдавать свои собственные соображения за намерения писателя. Б. А. Б а з и л е в с к и й в статье «О работе Л. Н. Толстого над языком рассказов для детей» своеобразно мотивирует поправки, сделанные Л. Толстым в рассказе «Пожарные собаки»: «Шаблоны, мало-выразительные слова *обрадовалась и стала целовать*, Толстой заменяет динамичным выражением, в котором чувствуется сила материнской любви: (!?) *Она бросилась к дочери*»⁵.

В статьях о языке и стиле писателей ставится также вопрос о роли «языкового лейтмотива» или таких словесно-художественных образов, которые наиболее характерны для речевого строя того или иного произведения. Однако некоторые исследователи, в том числе Э. Г. Ризель, понимают его несколько схематично, как «повтор слова, оборота, предложения или целого абзаца на протяжении всей речи»⁶. Выводы Э. Г. Ризель подтверждаются работами других авторов. С. А. Савицкая, например, считает, что каждое направление в литературе (классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм) характеризуется своим, присущим только ему «языковым лейтмотивом». У поэтов-сентименталистов он выражался прилагательными *грустный, томный*, у романтиков — *умный, угрюмый, скорбный и роковой*⁷.

На наш взгляд, типичным образцом речевого лейтмотива являются словесные образы, запечатленные прежде всего в заглавиях художественных произведений: «Вешние воды», «Дым», «Гроза» и пр. Стилистическое своеобразие этих слов обусловлено тем, что они «обращены, — как свидетельствует акад. В. В. Виноградов, — не только к действительности, но и к другим словам и выражениям, входящим в строй того же произведения»⁸. В качестве примера, иллюстрирующего это положение, можно указать на образное, глубоко обобщенное употребление слова *чайка* в известной чеховской пьесе.

Следует сказать, что в статьях Д. Д. Ильина «Некоторые проблемы поэтического словоупотребления»⁹, Н. В. Юстратовой «О некоторых особенностях стиля Чехова»¹⁰, В. И. Корovina «Наблюдения над метафорой и сравнением в лирике М. Ю. Лермонтова 1837—1841 годов»¹¹, вопрос о языковом лейтмотиве затрагивается именно в плане сращения слов («Огонек» у Исаковского, «Степь» у Чехова и «Листопад» у Лермонтова) с образно-речевой структурой контекста.

¹ В. А. Пау т ы н с к а я, Об использовании термина «эпитет», «Уч. зап. [4-го МГПИИЯ], т. X, 1956, стр. 123.

² Интересный материал об эпитете как языково-стилистической категории излагает Л. К. Бобылева в статье «Об эпитете» («Уч. зап. [Дальневост. ун-та], вып. 1, 1957).

³ Г. И. Ш к л я р е в с к и й, Некоторые вопросы анализа языка и стиля художественной литературы, «Уч. зап. [Харьковский ун-ту], т. 3, 1956, стр. 119.

⁴ С. А. С а в и ц к а я, Язык художественных произведений, «Труды [Одесск. ун-та], т. 146, вып. 5, Киев, 1956, стр. 90.

⁵ «Уч. зап. [Калужск. пед. ин-та], вып. 2, 1954, стр. 57.

⁶ Э. Г. Р и з е л ь, О так называемой архитектурноязыковой функции языково-стилистических средств, «Уч. зап. [4-го МГПИИЯ], т. X, 1956, стр. 155.

⁷ С. А. С а в и ц к а я, Язык художественных произведений, стр. 93.

⁸ В. В. В и н о г р а д о в, Язык художественного произведения, ВЯ, 1954, № 5, стр. 18.

⁹ «Труды Среднеазиатского ун-та», вып. LXIX, кн. 8, 1955.

¹⁰ «Уч. зап. [Кишиневск. ун-та], т. XXII, 1956.

¹¹ «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина], т. СХV, вып. 7, 1957.

Несколько замечаний вызывают термины, которыми пользуются исследователи языка и стили писателей. Стилистика художественной речи как оформляющаяся филологическая наука испытывает острую потребность в упорядоченной терминологии. Но в «Ученых записках» понятия стилистического, стилевого, эмоционального, экспрессивного, оценочно-экспрессивного, изобразительного, оценочно-характеристического, выразительного, эмоционально-выразительного лишены терминологичности. В любое наиболее «ходовое» слово, например *экспрессия*, *эмоциональность*, *стилистика*, *стилистическая окраска* и др., вкладывается самое противоречивое содержание. Да и может ли, в самом деле, терминологизироваться слово *экспрессия*, если его будут связывать с двумя понятиями: «социально-стилистика оценки?»¹ и «социально-стилистика оценки?» Бросается также в глаза различное понимание термина «эмоциональность речевых средств». В активном словаре исследователей художественной речи часто используются «красивые», но малозначащие слова и выражения: *замечательная простота*, *кристаллическая ясность*, *свежесть* и *неподдельная образность*, *целомудренная правдивость*, *крепость*, *энергичность* и др. К ним добавляется определение — *точный* (ср. выражение: «стиль ясного и точного» (разрядка моя. — А. С.) воспроизведения жизни»²). Возникает вопрос, как вообще понимать *точность* языка художественной литературы? Аналогично ли это понятие тому, какое характеризует стили научного изложения? Думается, что писатели вкладывают в понятие точности языка иное содержание, нежели ученые. И вообще, хочется пожелать авторам быть сдержанней на «эмоции» в оценке кропотливой работы писателей. В статье Е. А. М а й м и н а «Некоторые вопросы художественного мастерства на материале романа Л. Н. Толстого „Воскресение“»³ выражение «Репенюк, девочка с золотыми длинными локонами и голыми ногами» (а не «ножками», подчеркивает Е. Маймин) сопровождается длинным рядом «эпитетов»: «удивительно своеобразное, новое, художественно убедительное и правдивое» (стр. 128).

Данью традиции является неправомерное употребление в «Трудах» слова *язык* применительно к действующему лицу произведения⁴. Сюда более подходит выражения: *речь*, *речевая характеристика*. В связи с этим следует сказать о приемах раскрытия речевой характеристики действующих лиц. Отправной точкой служит обычно замысел писателя, его идеология. Возьмем, например, статью литературоведа Н. В. К а р ц о в а «Язык комедии Салтыкова-Щедрина „Смерть Паузухина“»⁵. В ней подвергается анализу речь некоторых действующих лиц, в том числе Прокофия. Последний груб, невежествен, значит, рассуждает исследователь, и говорить он должен соответствующим образом. Отсюда употребляемые им выражения: *ни гу-гу*, *ин будет с тебя*, *чорт*, *ведьма* и т. д. Не слишком ли схематичен и прямолинеен такой анализ? Тем более, что в таком духе, как по трафарету, можно характеризовать речь десятков литературных персонажей: Простакова, Скалозуба, Дикого и др.

В статье языковед М. К. М и л ы х «Язык художественной прозы. (Некоторые приемы индивидуализации языка персонажей)»⁶ сравнивается речь Марьи и Феклы из «Мужиков» Чехова. Но приемы анализа те же, что и в статье литературоведческой. Автор рассуждает: одна женщина — натура мягкая, забытая, следовательно, речь ее трудно представить без уменьшительной лексики (*редименькие* и пр.). Другая — женщина злая, грубая. В соответственном тоне выдержана и ее речевая характеристика.

А между тем лингвист должен начинать свой анализ не с содержания, а со способов его выражения. В. В. Виноградов подчеркивает, что языковед должен найти или увидеть замысел посредством тщательного анализа самой словесной ткани литературного произведения⁷. В этом плане заслуживает отметки статья Н. А. Р у д я к о в а «О средствах и приемах речевой характеристики персонажей в романе М. Шолохова „Тихий Дон“»⁸. Автор анализирует не характеры действующих лиц, а *языковые средства*, в которых выражаются психологические свойства, социальная принадлежность и мировоззрение персонажей.

Последнее наше замечание касается требований к статьям, поступающим в редакцию «Ученых записок» и «Трудов».

¹ См. Н. Н. Амосова, К вопросу о лексическом значении слова, «Вестник Ленингр. ун-та», 1957, № 2, вып. 1.

² В. Б. Бродская, Язык и стиль романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история», «Вопросы славянского языкознания» (Львовск. ун-т), кн. 4, 1955, стр. 209.

³ «Уч. зап. [Вятск. пед. ин-та]», т. 1, вып. 1, 1957.

⁴ См. О. В. Астафьева, Драма Пушкина «Русалка»; В. Л. Богородский, О языке и стиле романа А. С. Пушкина «Арап Петра Великого», «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», т. 122, 1956.

⁵ «Уч. зап. [Липецк. пед. ин-та]», вып. 1, 1956.

⁶ «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону ун-та]», т. LII, вып. 5, 1957.

⁷ В. В. Виноградов, Общие проблемы и задачи изучения языка русской художественной литературы, стр. 410.

⁸ «Праці Одеського ун-ту», т. 147, вып. 6, 1957.

Часть статей является главами недавно или только что написанных диссертаций¹. «Ученые записки», разумеется, могут и должны печатать разыскания диссертантов, но целесообразнее печатать не весь материал диссертации, а лишь отдельные из нее места с наиболее оригинальными наблюдениями, ценными для науки о языке писателей материалом и выводами.

Необходимо прежде всего устанавливать, какими новыми сведениями обогащает статья курс истории литературного языка, теорию словесно-изобразительного искусства или историю литературного процесса. Следует поощрять, с нашей точки зрения, работы, посвященные малоизученным вопросам, например «Об использовании неассимилированной иноязычной лексики в произведениях Пушкина» В. В. Макарова², «Терминологічна лексика (літературознавча і новознавча) в критико-публіцистичній прозі О. С. Пушкіна» С. Е. Вайтуба³, «Язык и стиль П. И. Мельникова-Печерского в оценке русской критики» Д. А. Маркова⁴, «К проблеме изучения публицистического стиля» И. М. Подгаецкой⁵ и т. п. Но нередко работы компилятивные, без оригинальных наблюдений. К таким можно отнести статьи В. А. Савельева «Борьба Н. В. Гоголя против жаргонизмов в русском языке»⁶, М. А. Пустыни и Ковой «Н. В. Гоголь — борец за народную основу русского литературного языка»⁷. Студенту, особенно заочнику, полезно прочесть их перед экзаменом по истории русского литературного языка. Однако новых сведений, дополняющих соответствующие разделы учебных пособий, публикуемые материалы не дают. Думается, что такие статьи недостаточно отражают характер и направление научной работы в высших учебных заведениях.

Плохой пример показывают «Ученые записки Узбекского ун-та» (1957, вып. 72), напечатавшие три пространнейшие статьи одного и того же автора, С. Е. Шаталова. Написанные с претензией на образцовый «стилистический» анализ, эти работы, в особенности «Стиль Чехова-юмориста» и «О ритме повествования Н. Г. Помилковского», отмечены большим субъективизмом в подходе к художественному тексту.

Заканчивая обзор, следует подчеркнуть, что в недостатках тех статей, которые посвящены вопросам стилистики художественной речи и опубликованы в «Ученых записках» и «Трудах», частично отражается и состояние самой науки о языке писателей в целом. Вывод один: языковеды-стилисты должны направить свои усилия на выявление закономерностей образного словоупотребления, прочно утвердить в стилистике художественной речи плодотворный принцип историзма.

А. В. Степанов

¹ М. Шелякин, Тургенев о словоупотреблении в художественном произведении, «Уч. зап. [Таллинск. пед. ин-та]», т. I, вып. 1, 1957; М. Морлов, Научно-техническая и профессиональная терминология в сочинениях Н. Г. Помяловского, «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону ун-та]», т. LXIV, вып. 5, 1957; е го ж е, Семинарские слова в произведениях Н. Г. Помяловского, там же.

² «Уч. зап. [Калининск. пед. ин-та]», т. XIX, вып. 2, 1957.

³ Наукові записки Кам'янець-Подільського пед. ін-та», т. 4, вып. 1, 1956.

⁴ «Уч. зап. [МОПИ]», т. XLVIII, вып. 4, 1957.

⁵ «Уч. зап. [Южно-Сахалинск. пед. ин-та]», т. I, 1957.

⁶ Наукові записки [Полтавськ. пед. ін-ту]», т. IX, 1957.

⁷ «Уч. зап. Петрозаводск. ун-та», т. VI, вып. 1, 1957.

РЕЦЕНЗИИ

Kazimierz Moszyński. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Prace językoznawcze PAN. 16.—Wrocław-Kraków, 1957. 332 стр. + 1 карта.

В послевоенные годы появилось весьма значительное количество работ, посвященных проблеме происхождения славян, их языка, определению славянской прародины, основных этапов расселения славян и их древнейших связей с другими народами¹. В этих исследованиях принимали участие историки, историки культуры, археологи, этнографы, антропологи, лингвисты. Было высказано немало интересных соображений, выдвинуто много оригинальных положений — от кажущихся вполне вероятными до фантастических. Для решения вопроса были испробованы достижения этнологического направления, восходящего в своей основе к работам Г. Коссины, начавшимся в на-

¹ Укажем лишь некоторые работы в этой области: T. Leher-Splawiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946; ег о же, Praslówianie, Kraków, 1946; ег о же, Początki Słowian, Kraków, 1946; ег о же, Z rozważań o pochodzeniu Słowian, «Przegląd Zachodni», 3, 1947; ег о же, Wspólnota językowa bałto-słowiańska a problem etnogenezy Słowian, «Slavia antiqua», 4, 1951; ег о же, Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa, 1954; ег о же, Głos językoznawcy o etnogenezie Słowian, «Pierwsza sesja archeologiczna Instytutu historii kultury materialnej», Warszawa — Wrocław, 1957, и др.; J. Czekański, Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej, Kraków, 1947; ег о же, Polska-Słowiańszczyzna. Perspektywy antropologiczne, Warszawa, 1948; ег о же, Wstęp do historii Słowian, Poznań, 1957, и др.; J. Kostrzewski, Prakolebka Słowian w świetle badań paleobotanicznych, «Przegląd archeologiczny», 7, 1946; ег о же, Praslówiańszczyzna, Zarys dziejów i kultury Praslówian, Poznań, 1946, ег о же, Bałtosłowianie i początki Praslówian, «Przegląd Zachodni», 2, 1946; ег о же, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa — Wrocław, 1955; ег о же, Stosunki między kulturą łужицką i bałtycką a zagadnienie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej, «Slavia antiqua», 5, 1956; S. Krukowski, J. Kostrzewski, R. Jakimowicz, «Prehistoria ziem polskich», PAU, 1939—1948; K. Jazdzewski, Pradzieje Słowiańszczyzny w ujęciu prehistoryka i językoznawcy, «Roczniki historyczne», 16, 1947; ег о же, Gdzie była prakolebka Słowian, Warszawa, 1947; ег о же, Atlas do pradziejów Słowian, Łódź, 1—2, 1948—1949; K. Tymieniecki, Ziemia polskie w starożytności, Poznań, 1951; W. Hensel, Pochodzenie Słowian, «Wiadomości archeologiczne», 20, 1954; G. Labuda, Okres «wspólnoty» słowiańskiej..., «Slavia antiqua», 1, 1948; M. Rudnicki, L'habitat primordial des Slaves après l'époque i.-e., «Slavia occidentalis», 18, 1939—1947; ег о же, Wartość nazw drzewa bukowego, łosia i rdzenia lędh dla wyznaczenia prakolebki (praojczyzny) indoeuropejskiej i słowiańskiej, BPTJ, 15, 1956; St. Nosek, Zagadnienie praslówiańszczyzny w świetle prehistorii, Warszawa, 1947; V. Polak, K otazce slovanské pravlasti, «Časopis pro moderní filologii», 30, 1946; ег о же, Slovanská pravlast s hlediska jazykového, «Vzink a počátky Slovanů», Praha, 1956; ег о же, Ethnogenese Slovanů s hlediska jazykového, там же; J. Eisner, Les origines des Slaves d'après les préhistoriens tchèques, RESL, 24, 1948; ег о же, Nové vyklady o slovanské pravlasti. Obrysy slovanstva, Praha, 1948; J. Böhм, Původ Slovanů ve světle nové české literatury prehistorické, «Časopis Matice Moravské», 68, 1948; J. Filip, počátky slovanského osídlení v Československu, Praha, 1946; ег о же, Právěké Československo, Praha, 1948 и др.; M. Budimir, Problem bukve i protoslovenske domovine, «Rad JAZU», knj. 282, 1951; S. H. Cross, Slavic civilization through the ages, Cambridge, Mass., 1948 (срь французский перевод); E. Gasparini, La cultura lusaziana e i Protoslavi, «Ricerche slavistiche», 1, 1952. C. Verdiani, Il problema dell' origine degli Slavi. Premessa allo studio del mondo slavo prima del X secolo, Firenze, 1951; K. H. Menges, An outline of the early history and migrations of the Slavs, New York, 1953; K. Treimer, Ethnogenese der Slawen, Wien, 1954; H. Preidel, Die Anfänge der Slawischen Besiedlung Böhmens und Mährens, München, 1954; M. Gimbutas, On the origin of north Indo-Europeans, «American anthropologist», 54, 1952 (ср. также ответную статью Трейджера и Смита, там же, 55, 1953), и др.

чале 10-х годов, ретроспективный метод в археологии, принципы старой львовской антропологической школы, новейшие приемы палеоботанического флористического анализа с широким учетом общего экологического фона, приемы статистического анализа языковых фактов, метода топонимического (прежде всего, гидронимических) исследований, принципы анализа данных индоевропейской диалектологии.

И тем не менее перечисленный выше круг вопросов во многом еще далек от решения. Более того, остается неизвестной доказательная сила или даже правомочность применения тех или иных методов к решению указанных вопросов. Именно это обстоятельство в сочетании с очень нестрогой (как правило), а часто и вовсе неправильной постановкой вопроса о прародине славян не позволяет до сих пор решить проблему в целом. Что же касается определения территории, занимаемой праславянами, то, оставляя в стороне детали, относящиеся к хронологии и к доказательству как таковому, оно едва ли окажется затруднительным. Нужно думать, что был прав Л. Нидерле, когда он весьма несложным способом, в основном путем исключения, определял прародину славян как территорию, лежащую к северу от Карпат между средним Поднепровьем и Эльбой или Вислой (в зависимости от решения вопроса об этнической принадлежности полей погребения дужицко-силезского типа)¹. Необходимость более точных определений связана исключительно с хронологической дифференциацией. Без нее, как показал Г. Лябуда, можно вполне применять самые различные теории о славянской прародине, помещающие ее от Эльбы до Волги².

На горькие мысли о методологическом несовершенстве, характерном для многих работ о праславянских древностях, навело нас чтение рецензируемой здесь книги К. Мопинского. Автор — крупнейший польский этнограф, профессор Ягеллонского университета. Его перу принадлежит целый ряд превосходных монографий³ и большое количество статей, посвященных вопросам общей и славянской этнографии, древней культуре славян, их происхождения. Уже с самых ранних работ К. Мопинский связал себя с языковедением; в последние годы эта связь еще более укрепились: на страницах польских лингвистических журналов все чаще появляются статьи К. Мопинского по славянской этимологии и лексике⁴.

Поэтому не следует удивляться тому, что традиционный вопрос о прародине славян взят в книге в исключительно лингвистическом аспекте (это отражено и в несколько необычном ее названии), а среди разнородных аргументов преобладают те, которые содержатся непосредственно в данных языка или которые получают в них свое отражение. Такой подход к решению проблемы, по-видимому, заслуживает одобрения. Во всяком случае, он вполне закономерен и психологически понятен, особенно если принять во внимание, что книга К. Мопинского полемически затронута против приверженцев познательной археологической школы Ю. Костековского и примкнувших к ним лингвистов (как, например, Т. Лера-Славинский)⁵, пытающихся связать те или иные этапы в истории праславян с определенными археологическими культурами.

Свою книгу К. Мопинский и начинает с небольшой главы «О несоответствии гео-

¹ См. L. N i e d e r l e, *Rukovět' slovanských starožitností*, Praha, 1953 (русский перевод — «Славянские древности», М., 1956, стр. 31—33). Между прочим, приблизительно такое же решение вопроса было представлено еще В. Суровенки (см. W. S u r o w i e s k i, *Śledzenie początków narodów słowiańskich*, Warszawa, 1824).

² См. G. L a b u d a, *Okres «wspólnoty» słowiańskiej w świetle źródeł i tradycji historycznej*, «Slavia antiqua», 1, 1948, стр. 214—242.

³ См. K. M o s z y Ń s k i, *Badania nad pochodzeniem i pierwotną kulturą Słowian*, Kraków, 1925; его же, *Polesie wschodnie. Materiały etnograficzne z wschodniej części b. powiatu mozyrskiego oraz z powiatu rzeczyckiego*, Warszawa, 1928; его же, *Kultura ludowa Słowian, I, II (zesz. 1—2)*, PAU, 1929—1939; его же, *Ludy zbieračko-łowieckie. Ich kultura materialna oraz podstawowe wiadomości o formach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce*, Kraków, 1951; его же, *Ludy pasterskie*, Kraków, 1953, и др. Объявлено о выходе в свет в этом году фундаментальной работы К. Мопинского «Wstęp do etnografii powszechnej».

⁴ См. K. M o s z y Ń s k i, *Uwagi do 1 (соответственно — 2, 3, 4, 5) zeszytu Słownika etymologicznego języka polskiego Fr. Sławskiego, Język polski, XXXII—XXXVII, 1952—1957; его же, Skąd poszła nazwa gołąb?, «Język polski», XXXV, 1955; его же, Jeszcze o nazwach koniczyny i niektórych innych roślin, там же; его же, О początkach i pochodzeniu wyrazów *pluga* i *plużycza*, там же, XXXVI, 1956; за пределы славянского языковедения выходит К. Мопинский в статье «Słownictwo ludów tzw. prymitywnych», BPTJ, 15, 1956.*

⁵ Речь не идет здесь, естественно, о частных расхождении, например, в трактовке археологического эквивалента балто-славянской языковой общности, нашедших выражение в книге Т. Лера-Славинского «O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian» и в работах Ю. Костековского «Baltosłowianie i początki Prасłowian», «Przeгляд zachodni», II, 1946 и «Stosunki między kulturą, języką i bałtycką, a zagadnieniami wspólnoty baltosłowiańskiej», «Slavia antiqua», 5, 1956 (полемика по этому вопросу еще не закончилась).

графических ареалов языков и культур», в которой проводятся аргументы, как правило, почерпнутые еще из ранней работы («Badania...», 1925) или взятые из трудов других ученых, против методики школы Косинны, связывающей те или иные археологические культуры с определенными языками. Из этой критики К. Мошинский делает ряд выводов, важнейшие из которых заключаются в следующем: во-первых, ареал данной культуры может заключать в себе два или несколько разных лингвистических ареалов и, во-вторых, ареал одного языка может совпадать с несколькими разными ареалами археологических культур (стр. 13). Впрочем, эти положения сопровождаются оговоркой автора, считающего, что на 2—4 века вглубь возможны некоторые более или менее определенные выводы в тех случаях, когда связь между данной культурой и данным языком несомненна и подтверждается историческими источниками. К сожалению, польский этнограф критикует лишь самые общие положения этнологического метода в том виде, как он сложился в первое десятилетие своего существования. Новейшие частные приемы определения этнической принадлежности тех или иных культур и, наоборот, культурного эквивалента данного языка, как и ряд основательных разъяснений в связи с сомнениями в правомерности этнологического метода, К. Мошинский оставляет без внимания. Точно так же избегает он оценки ретроспективного метода в некоторых чрезвычайно выгодных для его применения условиях, которые, видимо, и существуют на территории Польши, где прослеживается связь раннеисторической культуры с пшеворской и далее вплоть до лужицкой¹. Во всяком случае разногласия между польскими археологами и К. Мошинским относительно этнической принадлежности населения на территории между Вислой и Одрой на рубеже нашей эры столь велики, что они должны бы были подвергнуться детальному анализу.

Основной части книги К. Мошинского предшествуют еще две главы, в которых излагаются взгляды автора на происхождение индоевропейского языка и на смешанный характер праславянского языка. Начиная с правильного утверждения, что положение славянской прародины ни в коей степени не определяется первоначальной территорией распространения индоевропейских диалектов (стр. 15), К. Мошинский тем не менее останавливается на индоевропейской проблеме. По его мнению, вопрос о происхождении индоевропейцев не только до сих пор не решен, но даже и не поставлен надлежащим образом. Неудовлетворенность и скептицизм автора станут понятными, если принять к сведению его советы изучить в первую очередь индоевропейские заимствования в кавказских языках (на этом особенно настаивает К. Мошинский)², а также в диалектах северной, центральной и восточной Азии (в частности, в тибетском). По его глубокому убеждению, эти языки в будущем станут «обетованной землей» (Ziemia Obietana) для индоевропейцев (стр. 16). Несомненно, подобные соображения представляют собой несколько исправленный вариант старой теории К. Мошинского, изложенной еще в 1925 г. с той разницей, что сказанное раньше о славянах теперь относится к индоевропейцам³. Все это подтверждается еще наблюдениями автора, согласно которым «примитивным» племенам свойственно в высшей степени интенсивное передвижение в разных направлениях. Что же касается прародины индоевропейцев, то К. Мошинский помещает ее в поясе, начинающемся в центральной или юго-восточной Европе и продолжающемся вплоть до Тянь-Шани и Алтая (здесь уместно вспомнить об отчасти сходных мыслях К. Крамаржа в отношении прародины славян⁴, что в той или иной степени совпадает с мнением других ученых (Чайлд, Неринг, Копперс, Бранденштейн, Филли, Трейджер, М. Рудницкий и др.), все чаще рассматривающих южноурские степи (включая сюда и прикаспийские) как прародину индоевропейцев⁵ (в свою оче-

¹ См. J. K o s t r z e w s k i, Prastowiańszczyzna. Zarys dziejów i kultury Prastowian, Poznań, 1946; его же, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa—Wrocław, 1955 (3-е изд.); S. K r a m a r ż, J. K o s t r z e w s k i, R. J a k i m o w i c z, там же.

² Помимо ряда серьезных работ на эту тему (ср., например, R. L a f o n, Le nom de l'argent dans les langues caucasiques, «Revue hittite et asiatique», 10, 1933 и др.), в последнее время появилось немало исследований совершенно фантастического характера, в которых делаются попытки решить вопрос о происхождении славян в связи с кавказскими данными; ср. К. T r e i m e r, Die Ethnogenese der Slawen, Wien, 1954; несколько более осторожен В. Поляк (ср. его статью «K problému lexikálních shod mezi jazyky kavkazskými a slovanskými, «Listy filologické», 70, 1946, ср. также «Sarsopsis pro moderní filologii», 32, 1948—1949), хотя и его сопоставления обычно неприемлемы. Более убедительными оказываются лишь случаи опосредствованных связей славянских языков с кавказскими (см. К. B o u d a, «Zeitschr. für slav. Philologie», 17, 1941; 18, 1942, и др.).

³ См. К. M o s z y ŋ s k i, Badania..., стр. 96—138 (особенно стр. 102).

⁴ См. К. K r a m a r ż, Nové doklady pro pravlast Slovanů na Altaji, Budějovice, 1919; ср. также его более раннюю работу «Die Ankunft der Germanen, Litauer und Slawen aus der Urheimat am Altaj», České Budějovice, 1916.

⁵ См. J. B r ö n s t e d t, Omkring indoeuropæerproblemet, «Corolla archaeologica in honorem C. A. Nordman», København, 1952.

редь это не противоречит последним взглядам на прародину угро-финнов¹). К. Мошинский не раскрывает мотивов, по которым он помещает индоевропейскую прародину в указанном *поисе* (это, видимо, будет сделано в его «Вступлении в общую этнографию»), однако, каковы бы они ни были, они не могут иметь отношения к предпологаемым индоевропейским заимствованиям в перечисленных автором азиатских языках.

Связь между данными заимствований и определением прародины, оставшиеся до сих пор несколько завуалированными, обнаруживаются в полной мере, когда К. Мошинский говорит о славянском языке. Пытаясь использовать идеи известной работы И. А. Бодуэна де Куртене «О смешанном характере всех языков», он вслед за Т. Лером-Славинским излишне прямолинейно представляет славянский язык состоящим из двух элементов — протославянского (трансформация индоевропейского языка на территории славянской прародины) и некоего неизвестного языка-кептуна, не являющегося, однако, германским. Единственный аргумент в пользу смешанного характера славянского языка К. Мошинский черпает в не слишком в общем многочисленных случаях, когда в славянских языках индоевропейские задненебные палатальные трактуются как *k*, *g* (такие случаи, как известно, особенно часты в балтийских диалектах). По мнению польского ученого, этот кентумный народ некогда отделял германцев от славян и балтов, его основным занятием было скотоводство (ср. праслав. **korna*, литовск. *kàrvė*; литовск. *pėkus*, прусск. *peckus*; праслав. *čerda*, литовск. *keřd-zius*; праслав. *gōsь*; латышск. *kuņa*); позднее он исчез (ассимилировался), оставив следы в славянских и балтийских языках. К. Мошинский охотно принял эту теорию, поскольку она давала возможность объяснить этническую принадлежность территории Польши в то время, когда германские племена находились еще к западу от Эльбы, а славяне сидели в Поднепровье². Согласиться с автором рецензируемой книги в этом вопросе невозможно, так как у нас нет никаких положительных данных о пребывании какого-либо неизвестного индоевропейского народа на указанной территории, а относить прародину славян так далеко на восток без особых причин мы не вправе. Кроме того, существуют гораздо более правдоподобные и теоретически хорошо обоснованные точки зрения, объясняющие кентумный тип трактовки старых задненебных палатальных в славянских и балтийских языках. В частности, если принять рассуждения К. Мошинского, то останется непонятным, почему распределение примеров кентумного типа в славянских языках оказывается подчиненным некоторым вполне определенным закономерностям, отмеченным еще С. Агреллем³. Идя вслед за К. Мошинским, пришлось бы признать смешанным языком и иероглифический хеттский, в котором появление сибиланта на месте задненебного палатального также, видимо, зависит от определенных условий; к смешанным языкам нужно бы было отнести и древнеиндийский, в котором в отдельных словах представлена кентумная трактовка. Число примеров можно было бы значительно увеличить, если привлечь другие случаи расхождений, аналогичные указанному. Более того, каждую область затухания той или иной изоглоссы можно было бы рассматривать как территорию, смешанную в языковом отношении. По всем этим соображениям нельзя, по нашему мнению, принять точку зрения К. Мошинского о двойном происхождении славянского языка: нужно думать, что она была выдвинута *ad hoc* для того, чтобы впоследствии сосредоточиться на исследовании территории, отличной от той, которую польские автохтоны рассматривают как прародину славян.

Название книги К. Мошинского — «Первоначальная территория славянского языка» — явно полемическое, поскольку автор сразу же пытается перевести исследование в чисто лингвистический план; он неоднократно заявляет, что его не интересует в данной работе вопрос о прародине физических предков славян или о колыбели славянской культуры (ср. стр. 305). В этом он видит одно из основных отличий от целей Т. Лера-Славинского в его книге «О происхождении и прародине славян». Однако это отличие само по себе не столь велико и принципиально, как кажется К. Мошинскому. Дело в том, что и Т. Лера-Славинского интересуют, конечно, прежде всего языковые славяне; если бы это было не так, то трудно было бы объяснить использование Лером-Славинским лингвистических аргументов. С другой стороны, тот факт, что польский лингвист прибегает и к аргументам иного рода (прежде всего, археологическим), не означает, по нашему мнению, отказа от исследования древнейших судеб языков славян; хотя, разумеется, остается не вполне ясным, насколько удачны методы и результаты, полученные Лером-Славинским.

Что же касается различий между двумя учеными в выборе аргументации (К. Мошинский усиленно подчеркивает их в особой главе о причинах расхождений результа-

¹ См. I. N. Sebestyén, Zur Frage des alten Wohngebietes des uralischen Völker, «Acta linguistica», Budapest, 1, 1952; Y. H. Toivonen, Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat, «Journal de la Société finno-ougrienne», 56, 1952.

² Предисылки указанной точки зрения содержались уже в книге «Kultura ludowa Stowian», II, zes. 2, стр. 1602.

³ См. S. A. Gr e l l, Zwei Beiträge zur slavischen Lautgeschichte, Lund—Leipzig, 1918 («Die Entwicklung der idg. palatalen Gutturale vor hinteren Velarvokal im Slavischen»).

тов его работы с результатами, полученными Лером-Славинским), то и они оказываются не столь существенными, как может показаться вначале. Хотя аргументация Лера-Славинского не ограничивается исключительно языковыми данными, зато последние использованы в известном смысле более широко и, главное, более правильно, чем в книге К. Мошинского, который останавливается только на лексическом материале, игнорируя данные фонетики и грамматики; значение же последних по мере углубления в древние эпохи несомненно возрастает, а для предельно далеких периодов является решающим и для определения относительного положения данного языка среди других родственных. Кроме того, есть серьезные сомнения в том, что аргументация К. Мошинского, строго говоря, является лингвистической. Скорее всего, ее можно квалифицировать как культурно-историческую интерпретацию лексических данных, широко применявшуюся уже со второй половины XIX в. К сожалению, хорошо зная преимущества такого метода, польский этнограф забыл о тех его сторонах, которые ограничивают его применение, во-первых, и не позволяют зачастую перейти от чисто лингвистической реальности к физической, во-вторых¹. Поэтому похвальное желание автора оперировать исключительно языковыми фактами практически привело лишь к тому, к чему приходили все ученые в попытках такого рода — к установлению некоторой территории, которую можно рассматривать как прародину славян или, точнее, как их местожительство в определенную эпоху.

Другое недоуменное замечание, связанное с названием работы, относится к понятию «*przewrotny ziaję*» праславянского языка. Реально имеется в виду эпоха на рубеже старой и новой эры с верхней границей, вероятно, в V в. н. э., когда, по мнению К. Мошинского, славяне вышли из границ своей первоначальной прародины и вторглись на территорию Польши, а несколько позже устремили свой путь к Дунаю и на Балканы. Не говоря о явной ошибочности хронологии появления славян в Польше, противоречащей и так называемому «буковому» аргументу самого автора (об этом ниже), остается непонятным, почему территория, на которой, по существу, закончилась совместная жизнь праславян, должна называться первоначальной. Наконец, если следовать предлагаемому К. Мошинским различию протославянского и праславянского языков, то, очевидно, оказывается, что целью автора должно быть определение первоначальной территории протославянского (а не праславянского) языка до того, как он ассимилировал неизвестный язык типа *kentum*. Но даже и в этом случае слово «первоначальная» едва ли уместно, поскольку им — в полном согласии с традицией — лучше обозначать ту территорию, на которой впервые появились специфически славянские изоглоссы, выделявшие ее из более обширной и старой области общих славяно-балтийских, славяно-германских и других изоглосс. Как показывают исследования последних лет по индоевропейской диалектологии (отчасти это было и раньше), древнейшие языковые связи праславянского объединяют его в гораздо большей степени с западными языками, чем с восточными. Во всяком случае, это утверждение в полной мере относится к наиболее специфическим процессам, тогда как славяно-восточные изоглоссы (как-то: сатемная трактовка заднеязычных палатальных, известное изменение с после ряда звуков, разражение надежной системы, некоторые аналогии при образовании сигматического аориста и т. д.) окончательно выходят из доверия.

К сожалению, Мошинский никак не объясняет такие факты, как общее развитие *a* и *o*, флексии с элементом *-m* в склонении, *-i-* в каузативных формах, целый ряд удивительных совпадений в именованном словообразовании и т. д. — факты, которые объединяют славянскую область с балтийской и германской. Если о явлениях такого рода в книге вообще не говорится ни слова, а древность славяно-германских контактов определяется лишь лексическими заимствованиями, то балто-славянским параллелям автор уделяет несколько голословных фраз (стр. 207—208). По его убеждению, балто-славянские сходства [лексикальные и другие] (!) объясняются контактами славян и балтов на рубеже нашей эры на территории между северным Поднепровьем и Балтийским морем; считать же эти сходства результатом известного единства, относимого к более древней эпохе, по К. Мошинскому, нельзя. Все эти соображения должны внести существенные коррективы в оценку «первоначальности» устанавливаемой К. Мошинским территории праславянского языка.

Первоначальная территория распространения праславянского языка, по мнению автора, находилась в Поднепровье, точнее, в северо-западной и центральной частях Украины; к началу нашей эры границы праславянского языка сильно расширились на север, и лишь затем, вероятно, к концу I-й половины I тысячелетия нашей эры, можно с уверенностью говорить о славянской экспансии в западном направлении. В определении праславянской территории именно таким образом, как это сделано К. Мошинским, по существу нет ничего оригинального: многие ученые и раньше и теперь рассматривали указанную область как прародину славян или, по крайней мере, как существенную ее часть (см. Пейскер, Ростафинский, Нидерле, Фасмер; в последние годы к этой точке зрения склоняются Менгес и, видимо, Р. О. Якобсон). Оригинальное же

¹ См. О. Шрадер, Индо-европейцы, СПб., 1913, стр. 36.

в рецензируемой книге заключается в выборе аргументов или в некоторых выводах, которые делаются из уже известных аргументов.

Каковы же эти аргументы?

Прежде всего флористические (им посвящена вся 4-я глава и 1-я глава дополнений). Начиная с пионерской работы Ю. Ростафиского (в 1908 г.), славысты неоднократно прибегали к аргументам такого рода для определения славянской природы. Однако за пятьдесят лет никто не попытался дать решение вопроса на всем доступном или хотя бы просто на достаточно обширном материале славянской флоры. Обычно излагались лишь ставшие уже тривиальными частные соображения без серьезных попыток оценить методологическую основу исследований такого типа. Большой заслугой К. Мошинского является то, что он снова вернулся к этому вопросу, используя значительный и в ряде случаев новый материал. Несомненно, что этот раздел самый интересный в книге, и его изучение окажется весьма поучительным и полезным даже для тех, кто не согласится с выводами К. Мошинского, сделанными на основании этого материала. Весь фактический материал, относящийся к деревьям, делится автором на три части: деревья, названия которых имеются во всех славянских языках, причем эти названия имеют старые соответствия в других индоевропейских языках (*береза, ясен, ольха, осина, липа* и др.); деревья, названия которых представляют праславянские новообразования (*верба, сосна, рябина* и т. д.); деревья, названия которых не имеют индоевропейских соответствий, причем их нельзя рассматривать как славянские инновации (речь идет здесь о заимствованиях). К. Мошинский избирает интересный, по несколько необычный путь. Он сосредотачивает внимание на анализе третьей группы деревьев, считая ее важнейшей. Следовательно, он предпочитает определить границы славянской природы извне (путем исключения некоторых ареалов), а не изнутри, как это нередко делается.

Разумеется, что внимание польского ученого прежде всего привлекает бук. По мнению К. Мошинского, название буква было заимствовано у германцев не раньше IV—III вв. до н. э., а скорее всего уже в первые века нашей эры или даже позже; это заимствование не могло произойти раньше, чем славяне достигли области распространения буква; отсюда вывод, что природа славян находилась к востоку от этой области (примерно такие же аргументы выдвигались в свое время Ростафиским, Хиртом, Фасмером и др.). Попытка же М. Рудницкого видеть в некоторых славянских топонимах старое индоевропейское название буква квалифицируется как фантастическая¹ без достаточных оснований (стр. 35). Другие возможности решения противоречия между отсутствием в славянских языках старого названия «бук» и принятием теории польской природы славян по существу игнорируются К. Мошинским. Речь идет здесь не об умалчании некоторых крайне спорных объяснений², а о предложениях первостепенной важности, сделанных с разных точек зрения. Мы имеем в виду существенные замечания Т. Милевского, относящиеся к принципам заимствования³, новые открытия в палеоботанике, сделанные за последние двадцать лет Фирбасом, Шафером и Берчем и интерпретированные в плане определения славянской природы Т. Лером-Сплавинским⁴ и особенно убедительно Я. Чекановским⁵ (их смысл состоит в том, что восточная граница буква проходила некогда гораздо западнее, так что славяне, сидя в бассейне Вислы, вполне могли не знать этого дерева); и, наконец, полную дискредитацию старых названий буква с вокализмом *āi* (:āi: u) и, следовательно, сопоставления и.е.* *bhāg-* со слав. *бъгъ и т. д.⁶ К сожалению, все эти факты остались не учтенными в книге К. Мошинского. Он предпочитает оперировать корнями типа **bhāg-*: **bhaug-* и, отвергая точку зрения И. Хупса (не называя его имени), строит крайне искусственную теорию о заимствовании праславянского **bъгъ* из какого-то неизвестного индоевропейского диалекта (на этот раз уже не кентумного) (стр. 61).

В дальнейшем автор дает анализ других старых заимствований названий деревьев: явора [с указанием на интересные особенности географии этого названия и на неизвестное нам литовское слово *aornas* (?)], ливтеницы (польск. *modrzew*; здесь высказывает-

¹ См. M. R u d n i c k i, ВРТЖ, 15, 1956, стр. 132—133. Любопытно, что недавно вновь разгорелась полемика о топонимах со следами названия буква на другой окраине распространения буква, а именно в нельской области, ср. A. H e i e r t e i e r, Indo-germanische Etymologien des Keltischen, I, Würzburg, 1955 и J. P o k o r n y, Zum keltischen Buchennamen, BzNf. 7, 1956 и ег о же рецензия на книгу Хайермайер в «Zfcelt Phil.», 26, 1957.

² См. M. B u d i m i r, Problem bukve i protoslovenske domovine, «Rad JAZU», knj. 282, 1951, где славянское слово сопоставляется с лидийской глоссой *βαρκός* «красный»; или еще ранее A. B r ŭ c k n e r, KZ, 46, 1914, стр. 193

³ См. T. M i l e w s k i, Zarzys językoznawstwa ogólnego, II, стр. 302. Lublin—Kra-ków, 1948.

⁴ См. T. L e h r - S p ł a w i ŋ s k i, O pochodzeniu..., стр. 45, 156.

⁵ См. J. C z e k a n o w s k i, Polska-Słowiańszczyzna, стр. 91—102; Wstęp..., стр. 146—150.

⁶ См. E. P a b l e r, Die Buchenfrage. Frühgeschichte und Sprachwissenschaft, Wien, 1948. Эту точку зрения разделяет и М. Рудницкий (указ. статья, стр. 132).

ся заслуживающее внимания предположение о роли германского **madra-triu*), тиса [заимствование из неизвестного языка; сравнение с польск. *cigiedź* и далее с герм. * *fahsu* «барсу», и.е. **tiḡ-: *tog-: *tiḡ-(!)*], одного из видов рябины (польск. *brzezinka*, чешск. *břek*, сербскохорват. *брекиња* и т. д. — *Sorbus torminalis*). Здесь же рассмотрен круг вопросов, поднятый еще К. Ничем в связи с названиями *jadła*, *świerk*, *śmrek*. Однако и это интересное наблюдение из географии ботанических терминов вовсе не обязательно трактовать столь прямолинейно и однозначно, как это делает К. Мошинский.

Следующим аргументом в пользу отсутствия славян на территории Польши до нашей эры, по мнению автора, является диспропорция между расцветом так называемой «кельтской» археологической культуры в IV—III вв. до н. э. (и в языковом плане она интерпретируется как кельтская ввиду подмеевского *Lugdunum*) и чрезвычайной скудостью славянских заимствований из кельтских языков. Однако какова бы ни была роль кельтов и их вклад в славянскую культуру и язык, у нас нет оснований устанавливать непосредственные связи между «кельтской» культурой и кельтскими диалектами и, следовательно, придавать серьезное значение аргументу польского ученого¹.

В доказательном отношении примерно таким же достоинством обладает наблюдение К. Мошинского о почти полном отсутствии старых лексических связей, которые объединяли бы славян с германцами в такой области, как название культурных растений и оружия (!). Подобный вывод оказался возможным только в силу предвзятости взглядов автора, который обычно отводит германо-славянские сходства, хорошо известные каждому лингвисту, ссылаясь на то, что подобные же примеры есть в некоторых других индоевропейских языках, или они представлены лишь в части германских языков, или они содержат некоторые препятствия фонетического² и семантического характера; наконец, в ряде случаев К. Мошинский объясняет их, — тут уж не взирая ни на какие трудности (как в случае с германо-балто-славянским названием ржи), — явно неприемлемым образом.

Использование аргументов отрицательного характера продолжается и в дальнейших рассуждениях. Автор оспаривает количественное преобладание славяно-германских сходств над славяно-иранскими указанием на неравномерное распределение германских и иранских примеров в словаре Вальде-Покорного, на слабое состояние изучения иранских диалектов. Однако эти замечания, верные в качестве критики слишком элементарных статистических подсчетов Т. Лера-Славинского³, сами по себе никак не могут быть подтверждением мысли К. Мошинского о преимуществе славяно-иранских связей над славяно-германскими.

Переходя к анализу славяно-иранских лексических связей, К. Мошинский в основном синтезирует результаты известных исследований Розвадовского и Мейе, игнорируя почти все написанное в последние десятилетия. Если бы новая литература была учтена, то, с одной стороны, значительно увеличилось бы число приведенных автором славяно-иранских сходств, а с другой, кое-что получило бы уточнение⁴ или даже было бы исключено из числа соответствий, тем более, что наблюдается определенная тенденция к ограничению числа этих сходств⁵. Некоторые сопоставления К. Мошинского заслуживают пристального внимания, ср. слав. **chъmelъ* и авест. *haoma* (хотя детали такого заимствования остаются не ясными)⁶, особенно если учесть соответствующие угрофинские параллели; другие же явно ошибочны (выведение слав. *rota* из иранского заимствования!) или предвзяты (ср. рассуждения о Перуне с полным игнорированием западных связей).

¹ Тем более странной кажется попытка Т. Лера-Славинского (правда, в виде гипотезы) связать с кельтским влиянием польское мазурение (см. его статью «*Kilka uwag o stosunkach językowych celtysko-prastowiańskich*», «*Rocznik slawistyczny*», 18, 1956). Более целесообразно, видимо, говорить лишь о культурных (в археологическом плане) влияниях кельтов, как это делает Я. Филип (ср. его работы: «*Die Aufgabe der Kelten in Mitteleuropa und ihre kulturelle Erbschaft*», «*Palaeologia*», 4, Osaka, 1955; «*Keltové ve střední Evropě*», Praha, 1957).

² Между прочим, фонетические трудности сопоставления слав. *sliva* с др.-в.-нем. *slēha* (есть и *slēva*, что, видимо, К. Мошинскому осталось неизвестным) могли бы теперь разрешиться в согласии с предложением А. Мартине. См. его статью «*Some case of -k/-w-alternation in indo-european*», «*Word*», 12, 1956.

³ Ср. их оценку Я. Сафаревичем в рецензии на книгу Т. Лера-Славинского (см. «*Rocznik slawistyczny*», 16, 1948) и в статье «*Krytyka metody ilościowej, stosowanej w ocenie pokrewieństwa językowego*», ВРТЖ, 8, 1948.

⁴ См. F. B. J. Kuiper, Avestan *mazdā*, «*Indo-Iranian journal*», 1, 1957 (к стр. 84 книги К. Мошинского).

⁵ См., например, J. Graffner, Ali je praslovanska beseda *Bog* iranska izposojenka, «*Slovenski etnograf*», 5, 1952; О. Н. Трубачев, К этимологии слова *собака*, «*Краткие сообщения Института славяноведения*», 15, 1955, и др.

⁶ Впрочем К. Мошинский ошибается, категорически заявляя об отсутствии ботанического соответствия сомы (стр. 218). Ср. A. Stein, On the Ephedra, the Hün plant, and the Soma, BSOS, 6, 1931, и др.

Ряд разделов книги посвящен традиционным вопросам интерпретации геродотовского сообщения о неврах, анализу упоминаемых Диодором и Плинием названий палов (спалов) и т. д. Здесь не место оценивать эти аргументы, поскольку их трудно назвать лингвистическими. Поэтому ограничимся двумя замечаниями. В полном противоречии с действительным положением вещей находится утверждение К. Мошинского, что «почти все исследователи вплоть до современных» считают неврах славянами (стр. 98). В этих же разделах содержатся серьезные этимологические ошибки: предложенному К. Мошинским объяснению слова *колымага* нужно решительно предпочесть недавнюю этимологию К. Менгеса¹; переход **sk'aina* > **sēna*, как и образование из последнего *stēna*, *stēль* путем контаминации, в одном случае невозможен, в другом недоказуем с нужной строгостью.

В разделе, посвященном происхождению названия славян и распространению его на все племена славянской ветви языков, автор продолжает оставаться в сфере гипотетических поисков, которые даже в случае их удачного завершения едва ли что-нибудь дали для решения основной задачи исследования. С другой стороны, он не обращает внимания на географическое распределение этнонимов с корнем *slav-/slav-*. Здесь же К. Мошинский предлагает объяснить название хорватов как скифский вариант слова *сербы* (которое в свою очередь из и.-е. **serv-*, ср. лат. *servus*): **serv-* > скифск. **harv-*. Если с этимологией «серб», восходящей в конечном счете к Константину Багрянородному, некоторые ученые могли бы согласиться², то объяснение второго слова, очевидно, вызовет серьезнейшие возражения. Видимо, то же произойдет и с точкой зрения К. Мошинского об иранских связях (или даже заимствованиях) германского и славянского названия для седла и для стрелы, об исключительно иранском происхождении славянских слов с суффиксами *-ago-*, *-ogo-* (без учета значения этого элемента и иранского суффикса *-ak-*).

Не совсем также понятно, что может дать для определения первоначальной территории распространения праславянского языка установление (разумеется, крайне гадательное) старого названия Днепра, тем более, что, вопреки мнению автора, невозможно доказать славянскую принадлежность этого топонима. И уж представляется совсем странной попытка К. Мошинского определить праславянскую территорию на основании противоречий между реальным значением целого ряда географических терминов в славянских языках и их этимологическим значением. Уместно вспомнить, что совсем недавно И. Шютц отказался решить более простую задачу — установление изменений общеславянской географической терминологии в условиях Балкан, хотя он проделал весьма значительную подготовительную работу.

Последний существенный аргумент К. Мошинского в пользу приднепровской прародины славян заключается в гидронимах этого района. Их исследование именно в Поднепровье, помимо ряда других причин, оправдано и тем, что, как известно, славянская гидронимия серьезно отличается от той, которую теперь принято называть центрально-европейской. Следы последней сохраняются на территории Польши, но отсутствуют в бассейне Днепра. Поэтому изучение гидронимического ареала, отличающегося от центрально-европейского, сулит важные открытия. Однако предварительным условием анализа является установление критериев «славяности» в связи с определенной временной шкалой. Без этого ни одно топонимическое исследование не может рассчитывать на успех. И, конечно, это хорошо известно К. Мошинскому — ведь именно он в одной из своих прежних работ независимо от К. Буги показал возможность совершенно иной интерпретации названий рек Горынь и Иква по сравнению с безупречным, как казалось, объяснением Фасмера (впоследствии Фасмер принял точку зрения К. Мошинского относительно названия первой реки; в отношении Горыни см. также рецензируемую книгу, стр. 171). К сожалению, польский ученый не позаботился об определении критериев той или иной принадлежности гидронимов днепровского бассейна. Поэтому даже наиболее острые наблюдения оказываются, по существу, бездоказательными, что особенно ясно при сравнении результатов, полученных К. Мошинским, с выводами Розвадовского, Фасмера, Лера-Славинского и других лингвистов, занимавшихся гидронимией указанной территории. Второй важной ошибкой является то, что К. Мошинский ограничил свои поиски славянской топонимией исключительно Поднепровьем. Но ведь если бы даже ему удалось строго доказать, что названия рек этого района действительно славянские, то это все-таки не значило бы, что праславянская территория ограничивается Поднепровьем, так как подобного рода гидронимия могла существовать и в бассейнах Вислы и Одры. Мы не будем здесь приводить возражений против этимологий речных названий, предложенных К. Мошинским, по указанным выше соображениям³. Заметим лишь, что заключение автора, согласно которому он определял названия приднепровских рек только из славянского лексического материала (стр.

¹ См. K. Menges, *Altajische Lehnwörter im Slavischen*, ZfslPh., 23, 1955.

² Ср. G r é g o i r e, *L'origine et le nom des croates et des serbes*, «Byzantinica», 17, 1944—1945. К сожалению, эта статья, видимо, неизвестна К. Мошинскому.

³ Стоит указать лишь на этимологию названия реки Стирь, не выдерживающую самой элементарной критики.

205), ни в коей степени не соответствует действительности; наоборот, как правило, в книге даются чрезвычайно далекие этимологии речных названий — чаще всего в виде общендоевропейских корней со значением «светлая», «ясная», «облестящая» и т. д. Такой метод этимологизирования едва ли найдет сейчас много сторонников.

Один из последних разделов книги посвящен решению вопроса о том, откуда пришли славяне на их прародину в Поднепровье. Здесь наиболее четко обнаруживается связь концепции К. Мошинского с основными положениями его книги 1926 г. Многие примеры повторяются без изменения; количество заведомо неверных славяно-урало-алтайских этимологий и сопоставлений здесь особенно велико (ср., например, устанавливаемую автором связь между став. *poršy*¹ и тюркским названием барсука и др.); каждый внимательный читатель их обнаружит, и поэтому здесь нет необходимости в их перечислении.

Книга К. Мошинского заканчивается рассуждениями о социальной структуре праславянского общества на основании прежде всего этимологических данных (среди них новая этимология слова *konь*, из **skopny* от **skopiti* «кастрировать») и целым рядом различных дополнений и уточнений к основным разделам книги.

Бесспорно, что новое исследование К. Мошинского представляет собой фундаментальный труд с таким широким кругом проблем, что в известной степени он заслуживает названия праславянской энциклопедии. Однако существующие методологические изъяны и целый ряд ошибок при анализе конкретного материала значительно снижают достоинство книги.

В. Н. Топоров

Chr. S. Stang. Slavonic accentuation.— Oslo, 1957. 192 стр. («Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Hist.-Filos. Klasse», 1957, № 3).

Один из крупнейших современных славистов — профессор университета в Осло Хр. С. Станг, имеющий большие научные заслуги как исследователь древнерусского (древнебелорусского) языка и как выдающийся компаративист, прежде всего в области славяно-балтийских языковых связей, обогатил нашу науку новым важным синтетическим трудом — на этот раз в области славянской акцентологии. Научные интересы Хр. С. Станга ясно определились уже в предшествующих работах — о славянском и балтийском глаголе и о языке одного из двух важнейших снабженных знаками ударений памятников русского языка XVII в.² Новую книгу Станга естественно поэтому отметить как плод долгой работы, увенчавшейся значительными результатами.

Наиболее важные научные достижения книги автор коротко сформулировал в заключении ее (стр. 179) в виде семи положений:

1. Закон де Соссюра не действовал в славянских языках.
2. Новоаккутовая интонация обязана своим появлением не метатонии, а репессии («оттяжке») ударения с полугласного («редуцированного») или с начального гласного с нисходящей интонацией.
3. Новопиркумфлексовая интонация относится не к праславянскому периоду.
4. В праславянском обнаруживаются три интонации: а) акутовая, которая может встречаться на любом слоге и в отношении места ударения характеризуется устойчивостью его во всей парадигме; б) новоаккутовая, которая может встречаться на любом слоге, если другие формы той же парадигмы или этимологической группы имеют ударение на следующем слоге.; в) пиркумфлексовая, встречающаяся в первом слоге слова, когда другие формы парадигмы имеют ударение на последнем слоге.
5. Всеименные и глагольные парадигмы могут выступать как: а) неподвижные с: а) ударением на первом слоге или б) ударением на среднем слоге. Ударение было в таких случаях перетянуто с пиркумфлексированного слога на средний и — у глаголов — аналогически с *-e/-o-*. Новоударенный слог получал новоаккутовую интонацию; б) подвижный тип с ударением в некоторых формах на первом слоге, в других — на последнем, с передвижением его на средний. В глаголах сохраняются некоторые (немногочисленные) следы былой подвижности ударения. В большей части форм ударение аналогически перенесено на конечный слог.
6. Славянские подвижные парадигмы тесно связаны с теми, какие мы находим в балтийских языках. Неподвижный тип с ударением на последнем слоге основы, который в некоторых случаях сросся с окончанием, в литовском языке исчез.

¹ Любопытно напомнить, что оказалась неудачной и известная попытка Е. Д. Поливанова объяснить другое индоевропейское слово для названия «свиньи» с помощью заимствования (из китянского языка).

² См. Chr. S. Stang, *Das slavische und baltische Verbum*, Oslo, 1942; е г о ж е, *La langue du livre «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. 1647»*, Oslo, 1952.

7. В славянских языках акцентуальная интонация характеризовала парадигмы с устойчивым ударением. Новоакцентуальная парадигма с рецессивным (оттянутым) ударением в некоторых формах. Циркумфлексивная была характерна для парадигмы с подвижным ударением.

Эти очень интересные выводы, да и вся исключительно содержательная книга Хр.С. Станга требуют подробного и более обширного разбора и обсуждения. С скромными рамками настоящих критических заметок позволю сейчас высказаться только по отдельным основным положениям труда и весьма выборочно — по некоторым частным вопросам. Оставляя за собой право еще раз оценить в целом монографию Станга, отметим пока лишь ряд спорных, с нашей точки зрения, моментов.

Трудно разделить мнение автора, как и мнение Е. Куриловича, о том, что закон Фортунатова — де Соссюра не действовал в славянских языках. Не пересматривая вопроса за отсутствием места, заметим, что, по нашему мнению, до сих пор не устарели работы Т. Лера-Славинского и Н. Ван-Вейка, посвященные этой проблеме¹.

Окончания форм, наиболее смущающих Станга (стр. 19) в случае, если принять, что закон Фортунатова — де Соссюра действовал и на славянской почве (*o'ba, *o'bǝ, *mǝla, *o'ci), действительно, не совпадают по их предполагаемой интонации с соответствующими литовскими формами (в литовском им принадлежал определенно акцентуальный характер, отсюда позднейшая краткость). Но ведь интонации конечных слогов, носителей соответствующих формальных значений, — материал наименее показательный в сравнительно-историческом отношении: здесь приходится считаться и с явлениями собственно-сандвическими (ср., например, конечное *o' : *o), которые могли приводить к вариациям интонационного характера, и с аналогическими явлениями (различными отношениями, например, между однозначными окончаниями разных образцов склонения), реже — с индукцией друг на друга разных позже сближавшихся между собой форм той же парадигмы.

Материал этот, таким образом, на славянской почве хрупкий, и строить на нем утверждения об определенных закономерностях, действительно, рискованно. Но важно, что действие закона Фортунатова — де Соссюра на славянской почве, как нам представляется, с достаточной определенностью выступает отнюдь не только в пределах материала, относящегося к конечным слогам, т. е. не только в пределах тех данных, которые получаются при непосредственном сличении соответственных показаний славянских языков с балтийскими (главным образом литовским) или путем привлечения теоретических соображений о происхождении тех или других конечных гласных.

Соображения, связанные с тем, что уже, по-видимому, в древнейшем славянском («праславянском») языке конечные гласные фонетически сокращались и утрачивали свои более интонационные различия, для решения вопроса, действовал ли закон Фортунатова — де Соссюра на славянской почве, роли не играют. Ведь действие этого закона, осуществлялся ли он в эпоху «балто-славянского единства» или в каждой из обеих ветвей отдельно, во всяком случае надо считать предшествующим действию закона о сокращении конечных гласных. Другое дело, можно ли уверенно утверждать, что закон Фортунатова — де Соссюра должен быть одинаково сформулирован для «прабалтийского» языка и для языка «праславянского». Сопшемся, например, на уже высказанные нами в свое время сомнения в том, что этот закон действовал в положении: средний краткий гласный (редуцированные требуют при этом особых замечаний; см. ниже), может быть, и долгий циркумфлексивный (что более сомнительно) перед конечным долгим акцентированным².

Как бы, однако, ни обстояло дело в том, что касается движений ударения с предшествующих слогов определенного характера на конечные слоги акцентированного характера, или, что проще и менее спорно, скажем, на гласные, например монофтонгического происхождения, — мы думаем, что нет никаких серьезных оснований отрицать (этого не может сделать и Станг, см. стр. 19) полную выразительность таких отношений. Они говорят в пользу закона Фортунатова — де Соссюра, так как наблюдаются в пределах двух первых слогов трехсложных слов, хотя бы у инфинитивов вроде — *slāviti, *stāviti, *plāviti: *no'iti, *prositi; *pādati, *plākati, *kǝdāti: *bodāti, *tegāti, *pǝsāti: *vidēti, *slǝšāti: *glǝdēti. В отношении почти любой категории выявятся те или другие конкретные осложнения исходных отношений, но сути дела они не меняют.

Не вызывает возражения мнение Станга о происхождении новоакцентуальной интонации в слогах с отпавшими и выпавшими редуцированными гласными, раньше носившими на себе ударение. Заметим только, что требуют более внимательного освещения факты, относящиеся к случаям, когда ударение с предполагаемых предконечных подударных редуцированных оказывается перенесенным не на предшествующий слог слова, получающий вследствие этого новоакцентуальную интонацию (коллекция соответствующих

¹ См. T. Lehr [S p l a w i ũ s k i, Ze studjów nad akcentem sło iańskim, Kraków, 1917; N. van Wijk, Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme, Amsterdam, 1923.

² См. Л. А. Булаховский, Акцентологический закон А. А. Шахматова, в сб.: «А. А. Шахматов. 1864—1920», М. — Л., 1947, стр. 409—410.

случаев в общем хорошо известна), а на конечный его слог, не являющийся по своему происхождению актутовым. Мы имеем в виду случаи вроде: *grěšъ no (ср. русск. грешъ, грешу и т. д.): грешю; *ишь no (ср. русск. умъ, уму и т. д.): умно и под.; затъ kъ: русск. род. падеж замка и т. д., розъ lъ: русск. род. падеж посла и т. д. Что же касается предлагаемого Стангом объяснения новоактутовой интонации в ряде других случаев (морфологических категориях), то оно нам представляется сомнительным.

Очень важным приобретением славянской акцентологии могло бы оказаться новое положение, выдвинутое в книге Станга, будто в древнейшем славянском языке произошло передвижение ударения с внутренних циркумфлектирующих гласных на предшествующие, приобретавшие при этом новоактутовую интонацию (стр. 49 и сл.). Аналогию такому движению ударения Станг видит в судьбе новых долгот циркумфлексного характера (точнее было бы сказать «нисходящего характера» — из стяжений) в отдельных славянских языках. Но эта аналогия мало доказательна. Существо ее сводится только к действительно свидетельствуемой отдельными славянскими языками возможности, что образующиеся в них новые нисходящие долготы не остаются на месте, а оттягиваются к началу соответствующих слов; что же касается интонации, то только членные прилагательные дают материал для достаточно надежного заключения о новоактутовом характере слога, на который перетягивается ударение с прежде заударных слогов, ставших циркумфлектированными.

Рассуждая отвлеченно и пользуясь иллюстрациями хотя бы из говоров сербскохорватского языка, действительно, естественно предполагать, что слоги, на которые перетягивается ударение, приобретают восходящий характер; но общей закономерностью это, однако, не является. Соплюсь хотя бы на факты чакавского наречия в словосочетании Подунавье, описанные В. Вакным¹. В указанном наречии, сохранившем древнюю сербскохорватскую акцентацию, конечное ударение перетягивается на предпоследний слог слова, и этот слог приобретает при этом не восходящий, а нисходящий характер.

Трудно разделить мнение Станга (стр. 18) и его предшественников, будто ударение в глаголах типа *ношю; носиш* и т. д. более первоначально в 1-м лице ед. числа, а в остальных формах является оттянутым со слога, предшествующего флексии (-i-), и будто именно этим объясняется новоактутовая интонация гласного звука первого слога. Что интонация теперь заударного *i* (русск. *и*) по происхождению не циркумфлексовая, а с е и ф и ч е с к а я — ясно хотя бы из показаний языков чехословацкой группы и кашубского с рефлексом не сократившегося, а долгого *i*.

Рефлекс с в е р х д о л г о т ы в этих языках, нам кажется, требуют совсем другого объяснения. Мы видим его в предположении очень старого («праславянского») влияния на этот глагольный класс (подкласса) параллельного подкласса с конечным (нафлексивным) ударением. Долгота перед последним должна была фонетически сохраняться в виде тонально восходящей. Несомненно, что, по крайней мере в ряде случаев, новоактутовая интонация подударного слога (как и «новциркумфлексовая» в параллельных случаях) выступает в сопровождении заударной долготы; но очень сомнительно, чтобы эта долгота была по своему происхождению циркумфлексового характера. Наоборот, для таких категорий, как данная, или для страдательных причастий ба **ань, апа...* скорее можно думать, что появление новоактутовой интонации на гласном начальном слоге было обязательно воздействием заударного слога а к у т о в о г о характера, но характера вторичного, ассоциативного — из старой параллельной окситонной парадигмы.

Сильный аргумент в пользу того, что новоактутовая интонация корневого слога у форм настоящего (будущего) времени изъяснительного наклонения глаголов класса -i- (IV) связана с передвижением у них ударения с приметы класса на гласный корневого слога, выдвинул в свое время Н. Ван-Вейк². Он обратил внимание на то, что в ряде случаев деинвариативные глаголы данного типа очень ясно обнаруживают свою связь с именами охутона, т. е. что, иначе говоря, в качестве исходного ударения приходится для них предполагать ударение именно приметы класса. Беря наиболее прозрачные примеры, имеем, например, отношения: *слагъ, вин. падеж слагъ: *slúžъ (-šī), *slúž (-t) и т. д.*³; *суд, род. падеж судъ и т. д.: *sǫdъ (-šī), *sǫd (-t) и т. д.; женъ, вин. падеж женъ...: *že nъ (-šī), *že nъ (-t) и т. д.*, и под.⁴.

Отдавая должное аргументу Ван-Вейка, нельзя, однако, думать, что вопрос о происхождении новоактутовой интонации даже в одной этой категории он решает окончательно в духе того мнения, которого придерживается Станг. Укажу коротко на те во-

¹ См. V. V á ž n ý, Čakavské nářečí v slovenském Podunají, «Sborník filosofické fakulty Komenského v Bratislavě», ročn. V, číslo 47 (2), 1927.

² N. v a n W i j k, Zur Betonung der Verba mit stammbildendem *i*, «Archiv für slav. Philologie», Bd. XXXVII, 1918, стр. 1 и сл., главным образом стр. 5—6 и 15—16.

³ Обычный знак ударения употреблен здесь в значении нового акута.

⁴ Из серьезных отступлений от ожидаемого самое важное: *грехъ, род. падеж грехъ и т. д.: русск. грешить, грешит и т. д.*, словенск. *gręšiti, gręši* и т. д., болг. *грешити, грешъ и т. д.*, серб. *грешити, грешъ и т. д.*

просы, которые еще должны быть решены для того, чтобы последнее объяснение можно было более или менее уверенно принять.

Сам Ван-Бейк поставил под сомнение исходный циркумфлексовый характер приметы данных форм — *-i-* у *denominativ'a* (ср. стр. 15 указанной статьи). В случаях, где первоначальное ударение несомненно приходилось на начальный слог акутового характера и где позже фонетически возникла, условно говоря, «новоциркумфлексовая» интонация, эта интонация должна быть объяснена, конечно, иначе. Заударная циркумфлексовая (обычного типа) так на предшествующие (подударные) акуты не действовала.

Принимая положение о том, что сдвинувшееся с середины слога на предшествующий ударение циркумфлексового характера получало в новом положении новоакутовый характер, нужно, по-видимому, предположить еще, что фонетически такое движение имело место только в отношении корневых слогов циркумфлексового же характера. Основание думать так дает общее, достаточно надежное, впечатление о происхождении новоакутовых долгот (кроме позиции перед подударными редуцированными гласными из циркумфлексовых — факт, обнаруживающийся в ряде других грамматических категорий).

Если можно указать, как будто вопреки этому, на случаи вроде *xvalá, xvalú: *chváli šb (-ši), *chváli (-tb)* тоже с новоакутовой интонацией корневого слога, несмотря на его *-a-*, т. е. рефлекс долгого монофтонга, для которого надо предположить исходную акутовую интонацию, то это, вероятно, не что иное, как случай аналогического включения отдельных образований на *-iti* (наст. время *изъявит. наклонения* — *x*) в сферу влияния типа: «инфинитив *-iti*: наст. время *изъявит. наклонения* с новоакутовой интонацией».

Опираясь на наши прежние наблюдения¹, мы полагаем, что автор, как, впрочем, и многие другие, со сравнительно-исторической точки зрения неверно оценивает рефлексы заударных долгот, наблюдающиеся, например, в соответствиях русским словам *заяц, йстрѣб, мѣсяц* и под. Польск. *zajac, miesiac, pajac* и подобные долготные отражения заударных слогов в других славянских языках (см. стр. 45 книги) никак нельзя ставить на одну доску с заударными долготами или их рефлексам по своему происхождению определенно циркумфлексового характера (русск. *глубь*, серб. *јарѣб* и под.). Для *заяц, мѣсяц* и некоторых других подобных слов (с заударными носовыми гласными) необходимо принять первоначальный акутовый (восходящий) характер заударной долготы (о чем уже в свое время догадывался Ф. Лоренц), и только при этой догадке факты, думаем, становятся на свое настоящее место.

Что касается **vitěa*, тут не все ясно². Особый вопрос вызывает по отношению к словенскому языку слово **gávorň* с необычной рефлексацией в первом слоге — *gávrán*³. Из догадок об этом отклонении (новоциркумфлексовом) может фигурировать предположение о междометном происхождении начального **ga-* (ср. и *kávrán* при *kav-rán*, т. е. *kaorán* — в словаре А. И. Мурко) или о гаплогогическом **gavovornь* (ср., например, укр. *gáva* «ворона»).

Проф. Хр. С. Станг не находит доказательств того, что нисходящие (циркумфлексовые) долготы влияли в словенском языке на предшествующие подударные акцентированные слоги иначе, чем долгие восходящие (стр. 28). Правильную оценку затруднила, надо полагать, упомянутая ошибка в понимании слов типа **měšecь, *zaičь* и под., где интонация заударных слогов не циркумфлексовая. Далее, не приняты во внимание например, такие достаточно надежные словенские свидетельства, как восходящая, а не «новоциркумфлексовая» интонация первого слога в слове *pámet*: серб. *пáмѣт*; в *kládivo* «молот, молоток» (заударная циркумфлексовая интонация суффикса *-iv-* с полной определенностью выступает в сербском: *jědivo, njuivo* и под.); в слове *práprat* (*práprot*), жен. род., «шапоротник»; серб. *pránpám*, жен. род. [в литовском, впрочем, показания говоров расходятся: *papártis* — в Дусятах (К. К. Буга), *pápártis* (К. Явнис). Другие справки см. у Р. Траутмана⁴].

Если подобных примеров мало, то для этого есть специальные основания: образования, параллельные **páměť*, в словенском языке теперь, вообще говоря, в чистом виде не представлены (нет, например, потомка такого слова, которое в этом отношении было бы очень показательным, как **pážitb*); для настоящего-будущего времени изъяв. наклонения сомнительна циркумфлектированность заударного *-i-*; суффиксы с цир-

¹ См.: Л. А. Булаховский, Об интонационных суффиксальных дублетах в праславянском языке, ИОРЯС, т. XXXI, 1926, стр. 328 и сл.; Л. А. Булаховский, Акцентологический комментарий к чешскому языку, вып. 1, Киев, 1953, стр. 18—19.

² Одна частности: Станг неверно приводит чеш. *vitěz*. Это опечатка; следует: *vitěz*.

³ Р. Брандт («Начертание славянской акцентологии», СПб., 1880, стр. 267), впрочем, приводит из неизвестного нам источника ожидаемое *gávrán*.

⁴ См. R. Trautman, Baltisch-slavisches Wörterbuch, Göttingen, 1923, стр. 206: литов. *papártis*, вост.-литов. *papartys*, латыш. *paparde*.

кумфлексированными гласными, кроме **iv*-o, вряд ли вообще существовали в древнейшем славянском языке, и под.

Но не только рефлексы былых исконных заударных долгот нисходящего (пиркумфлексного) характера, а и рефлексы простых былых заударных долгот восходящего (актуного) характера не вызывали, думаем, фонетически в словенском языке перехода рефлексов подударных долгот из восходящих в нисходящие. Изменение подударных восходящих долгот в неподвижные нисходящие вызывалось только вторичными заударными восходящими долготами, приобретенными такой характер интонации а с о и и а т и в и о — под влиянием нормальных типов склонения и спряжения с бесспорной долготой подударного гласного в соответствующих формах. Полагаем, таким образом, что в существенном ближе всего к истине был уже М. Валивец¹. Эти заударные долготы восходящего характера он представлял себе, — и, думаем, верно, — как продукты влияния родственными образованиями, в которых соответствующие гласные находились в положении перед конечным ударением.

Другое дело, был ли прав Валивец, применивший свое объяснение и к таким категориям, где предпологавшегося им условия на самом деле не было и где поэтому ему приходилось прибегать ко всякого рода натяжкам (см., например, такие категории, как формы глаголов настоящего-будущего времени: *bôdeš, bôde* и т. д.; *bîjem, bîješ* и т. д.; *stânem, stâneš* и т. д.). Для них искали — и следовательно искали — другие объяснения. Некоторые из высказывавшихся догадок более или менее приемлемы. Например, предположение А. Брезника о том, что нисходящая интонация в настоящем-будущем времени изъяв. наклонения таких глаголов — продукт влияния параллельных форм с несокращавшимися заударными долготами².

Хр. С. Станг справедливо сомневается в том, что новоциркумфлексовую интонацию (т. е. неподвижную нисходящую долготу, выступающую в словенском языке в таком виде на былых актированных долготах), нужно для всех случаев приписывать уже древнейшему славянскому («праславянскому») языку. Это, действительно, особенно сомнительно в отношении рефлексов гласных перед выпавшими редуцированными, процесс выпадения которых совершался уже на глазах истории и в словенском языке, как и в других, мог привести к индивидуальным акцентным результатам.

Но думать, как это делает Станг, что вообще все случаи, на основании которых заключают о «новоциркумфлексовой» интонации, являются фактами относительно поздними, нам кажется, не следует. Полагаем, как и другие (например, Т. Лер-Сплавинский, Ф. Рамовш), что нельзя не считаться с поразительными совпадениями в этом отношении между такими далекими друг от друга ветвями, как словенский и кашубский языки (в его славянском наречии). Напомним почти удивительные особенности интонаций, resp. ударений, в формах ед. числа жен. рода, своеобразных в деталях и, по-видимому, исключаящих для себя какое-либо другое объяснение, кроме предположения, что они относятся уже к очень глубокой древности (дословенской и докашубской)

Трудно согласиться с очень, впрочем, осторожно и неуверенно высказанными Стангом замечаниями (стр. 41) относительно того, что сохранение долгот перед конечным ударением не является особенностью «праславянской» древности. Те немногочисленные категории, где в качестве рефлексов былых предударных долгот отдельные языки в таком положении имеют краткости, получают более или менее вероятные объяснения на почве самых этих языков, вроде того, например, что **ina*: диалектно подверглось влиянию параллельного **ina* с фонетическим сокращением подударного гласного, что чеш. *žítiva* восходит к старинному варианту ударения **žítiva*, вроде известных отношений русск. *кранива*: укр. *кранивâ* (ср. и чешский вариант среднего рода *žítivo*), и под. Количество совершенно определенных свидетелей славянских языков в пользу искомого сохранения долготы перед конечным ударением таково (это ясно даже из собственных справок Станга), что его неуверенность в данном случае, по нашему мнению, никак не является оправданной.

Таковы отдельные замечания по поводу «Славянской акцентуации» — капитального исследования Хр. С. Станга, насыщенного большим фактическим материалом и не только подводнящего итоги в области славянской акцентологии за последние десятилетия, но и выдвигающего ряд новых интересных положений. Содержательность и научная острота книги требуют того, чтобы мы высказались еще об очень многом. Оставляем за собой право и удовольствие сделать это при случае в другом месте.

Л. А. Булаковский

¹ M. Valjavec, Glavne točke o naglasu (novo)slovenskom jeziku, «Rad JAZU», knj. CXXXII, Zagreb, 1897, стр. 116—213.

² Ant. Breznik, Die Betonungstypen des slavischen Verbums, «Archiv für slav. Philologie», Bd. XXXII, Hf. 3—4, 1911.

НОВЫЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ¹

1

Автор нового этимологического словаря польского языка Ф. Славский является по своей специальности болгаристом и имеет ряд трудов по болгарскому языку. По вопросам славянской и польской этимологии к началу публикации рецензируемого словаря он опубликовал немного работ: это обстоятельная и тщательно написанная рецензия на болгарский этимологический словарь С. Младенова, затем — крупная статья о дублетах *o : u* в славянских языках² и несколько заметок частного характера по этимологии отдельных слов. Однако из интересных методологических заметок, опубликованных Ф. Славским через несколько лет после начала публикации словаря³, мы узнаем, что непосредственной работе над словарем предшествовали почти десять лет подготовительного труда.

Составитель польского этимологического словаря находится в более выгодных условиях сравнительно с составителями таких словарей для других славянских языков. В его распоряжении имеются богатые собрания диалектной лексики Я. Карловича и других авторов, словарный состав различных эпох истории польского языка прекрасно отражен в трудах старых польских лексикографов вплоть до С. Б. Линде. Наконец, неоценимым орудием труда является образцовый, судя по отзывам, «Древнепольский словарь» Польской Академии наук, опубликованный пока лишь в незначительной части и вследствие этого доступный в основном только польским исследователям. Составитель польского этимологического словаря имеет возможность в полной мере использовать достижения польской лингвистической географии в работах К. Ипча. Одним словом, десятилетия, истекшие со времени выхода в свет словаря А. Брюкнера (1927 г.), принесли очень много истории и этимологии польского языка, вызвав тем самым потребность в современном польском этимологическом словаре.

Сам Ф. Славский неоднократно указывал, что его словарь отнюдь не призван полностью заменить словарь А. Брюкнера. Об этом убедительно свидетельствует также осуществленное почти одновременно с выходом первого тома словаря Ф. Славского второе издание «Этимологического словаря польского языка» А. Брюкнера, выпущенное тиражом в 20 тыс. экземпляров⁴. Однако несомненно также и то, что труд А. Брюкнера, занявший почетное место в литературе по славянской этимологии, сохраняет сейчас во многих отношениях лишь историческое значение. В меньшей степени эта оценка может быть отнесена к материалу, в большей степени — к методам работы. На практике почти всегда приходится предпочесть обычно плохо документированным сведениям Брюкнера точные справки Ф. Славского, основанные на систематических материалах полного «Древнепольского словаря» Академии наук. Кроме того, сейчас уже не может быть признан приемлемым метод подачи материала, примененный А. Брюкнером, который, как известно, заявил в предисловии к словарю, что не считает нужным приводить или оспаривать прочие этимологии, хотя сам знает их все превосходно⁵. И, наконец, А. Брюкнер полностью не использовал географии языковых фактов, в связи с чем словарь Ф. Славского является желанным дополнением к труду А. Брюкнера.

В предисловии к первому выпуску Ф. Славский указывает, что отличие его словаря от словаря А. Брюкнера будет состоять еще и в том, что он намерен учитывать преимущественно словарь современного литературного языка (стр. 5). Однако стоит лишь вернуться к первым строкам предисловия, где Ф. Славский справедливо ставит в упрек А. Брюкнеру пренебрежение данными лингвистической географии и диалектными материалами, чтобы понять недостаточную продуманность этой установки Ф. Славского. Совершенно ясно, что учет лингвистической географии должен был строиться на исчерпывающем использовании диалектной и устаревшей лексики. Сам Ф. Славский в дальнейшей конкретной работе над словарем фактически отошел от заявленной вначале установки, как мы [это] можем с удивлением м сейчас констатировать.

¹ F. S ł a w s k i, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I (A — J), Kraków, 1952—1956, 599 стр.; V. M a c h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, 627 стр.

² F. S ł a w s k i, [рец. на кн.:] Ст. Младенов, Этимологически и правописен речник на българския книжовен език, «Rocznik slawistyczny», t. XVI, cz. 1, 1948, стр. 68 и сл.; F. S ł a w s k i, Obecność *o : u* w językach słowiańskich, «Slavia occidentalis», t. 18, Poznań, 1947, стр. 246 и сл.

³ См. F. S ł a w s k i, Z doświadczeń przy pracy nad Słownikiem etymologicznym języka polskiego, «Język polski», roczn. XXXVI, zes. 4, 1956, (стр. 274 и сл.); об этом же см.: Ф. С л а в с к и, Принципы за съставяне на этимологичен речник на славянски език, «Езиковецки изследвания в чест на академик Стефан Младенов», София, 1957, стр. 263 и сл.

⁴ A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1957.

⁵ A. B r ü c k n e r, указ. словарь, стр. XIII.

Лучшие из его собственных опытов, как, например, этимологии польск. диал. *grędać się*, *grędo*, *grędko*, ст.-польск. *grędq* (см. стр. 344—345 словаря), были бы невозможны в противном случае. Однако определенный отбор лексики за счет ряда диалектных слов и большого числа культурных заимствований имел место, что вряд ли следует признавать положительным явлением¹. На деле это означало ущерб для полноты словаря. Так, мы напрасно будем искать у Ф. Славского слово *chachmęć*, а из заимствованных — *ementarz* или *harumpalcat*, за которыми нужно обращаться по-прежнему к А. Брюкнеру. В отличие от А. Брюкнера, Ф. Славский не включил принципиально даже наиболее интересные из собственных имен, о чем тоже можно только пожалеть, тем более что именно польская наука дала много нового в вопросе изучения топонимики и ономастики. Известно, насколько полезны сведения по этимологии топонимики, приводимые, например, М. Фасмером в «Русском этимологическом словаре».

Один важный вопрос, имеющий первостепенное значение для структуры этимологического словаря, не нашел отражения ни в предисловии к словарю, ни в написанных позднее заметках Ф. Славского «Из опыта работы над этимологическим словарем польского языка», ни, наконец, в болгарском варианте этой статьи, помещенном в сборнике за честь С. Младенова. Это тем более интересно, что в своем словаре Ф. Славский проводит, как мне кажется, единственно правильный принцип. Здесь имеется в виду вопрос, объединять ли в общие гнезда слова на основе их этимологической принадлежности, включая при этом в одну статью и разные производные, или же рассматривать в качестве отдельных статей каждую существенную словообразовательную модель одного и того же исходного корня. Ф. Славский дает в качестве самостоятельных статей *ciskać* (стр. 103) и *cisnąć* (стр. 104); *czesne* (стр. 120), *czesć* (стр. 120), *cześćnik* (стр. 121); *człek* (стр. 123) и *człowiek* (стр. 123); *dań* (стр. 137), *dąc* (стр. 137), *dąc* (стр. 136), *darować* (стр. 138), *darzyć* (стр. 138), *dawać* (стр. 138—139); *drobiazg* (стр. 166), *drobić* (стр. 166) и *drób* (стр. 169).

Если сам Ф. Славский в своих теоретических выступлениях никак не мотивирует этот метод, то некоторые его рецензенты отнеслись к данному вопросу, напротив, весьма внимательно. Так, В. Поляк, рассматривая несколько новых этимологических словарей, специально указывает, что в словаре И. Голуба — Ф. Коpecного даются, как правило, целые нерасчлененные этимологические гнезда, в противоположность чему М. Фасмер применяет аналитический метод, давая отдельно такие слова, как *бог*, *богадельня*, *богатый*, *богослуж.* и т. п. Почему В. Поляк считает, что «Ф. Славский в этом следует скорее за Голубом, чем за Фасмером»², для нас, по-видимому, так и останется загадкой. В. Махек ищет по этому поводу следующее: «Бросается в глаза у него (Славского) — О. Т.) то, что в ряде случаев он не приводит всю семью слов в одной статье, а разделяет их на отдельные статьи, правда, только тогда, когда производные являются якобы древними, т. е. когда они имеют точные соответствия и в остальных славянских языках... Это имеет свое оправдание в таких случаях, как *grzuzca* и *grzuzna*, в остальных же я считаю это излишним»³. И В. Махек и В. Поляк говорят о преимуществах и невыгодах обоих методов, однако это скорее производит впечатление рассуждений не на тему. Недостаток метода этимологических гнезд состоит далеко не только в том, что в итоге образуются очень сложные статьи, в которых не сразу можно найти нужное слово. Для этого в словарях А. Брюкнера, И. Голуба — Ф. Коpecного и В. Махка (подробнее см. ниже) имеются дополнительные алфавитные индексы. В. Поляк усматривает даже в описанной особенности словаря И. Голуба — Ф. Коpecного черту, присущую новейшему этимологическому исследованию с его первостепенным вниманием к изучению пелых групп лексики. Но, во-первых, нельзя ставить знак равенства между этимологическим словарем языка и монографическим этимологическим исследованием, скажем, названий красок в славянских языках. Во-вторых, — и это главное — метод этимологических гнезд означает то, что разные производные, давно имеющие в языке свою собственную судьбу и историю, а нередко представляющие лишь передачу, кальку иноязычной модели, оказываются формально подчиненными одной общей основе. Современное этимологическое исследование, если понимать его несколько иначе, чем это делает В. Поляк, как раз предполагает обязательный интерес к реальным единицам речи, будь то производные с продуктивными или непродуктивными суффиксами.

Раздельное рассмотрение образований *grom* (стр. 347), *gromić* (стр. 349) и *gromki* (стр. 349) позволяет Ф. Славскому выделить первые два как исконно польские, в то время как третье обнаруживает признаки заимствования из русского языка. Ввиду слово-

¹ Эти особенности словаря Ф. Славского уже служили предметом обсуждения в литературе; см. V. P o l á k, *Nad novými etymologickými slovníky slovanskými*, «Roznik slavistyczny», t. XVIII, cz. 1, 1956, стр. 33; ср. также мою статью «Принципы построения этимологических словарей славянских языков», ВЯ, 1957, № 5, стр. 64—65.

² V. P o l á k, указ. статья, стр. 32.

³ V. M a c h e k, [рен. на кн.:] F. Sławski, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, t. I, «Slavia», роён. XXVI, seš. I, 1957, стр. 131.

образовательной прозрачности, казалось бы, единственно целесообразным будет объединить все три слова в одной статье *grom*, но это затуманивало бы особую судьбу каждого типа. Более того, в ряде случаев желательнее проводить аналитический принцип еще решительнее, чем проводит его Ф. Славский. Так, приводя *dlugi* (стр. 148), он забывает вообще упомянуть такой важный праславянский диалектизм, известный лишь западно-славянским языкам, как производное существительное польск. *dlugość*, чеш. *dłouhost*; ср. его параллель в хет. *dalugaštiš* «длина». Очевидно также, что не во всех случаях Ф. Славский сделал выводы, основание для которых дает его аналитический метод. Он рассматривает в особой статье *dzieje* «история» (стр. 194), в древнепольском также «подвиги, деяния», видя в нем производное от др.-польск. *dziejać*. Однако культурный термин *dzieje*, вероятно, представляет буквальный перевод лат. *gesta* «деяния, подвиги», причем перевод мог быть осуществлен на польской или на чешской почве; ср. чеш. *dějiny* «история». В статье *javny* (стр. 527—528) можно было бы добавить, что *javny* «публичный» представляет собой кальку с нем. *öffentliche Straße, öffentlicher Platz* (ср. *javna droga, javne mjejsce*).

К концу первого тома словаря статьи в нем значительно возрастают в объеме. Так, статья *jastrząb* занимает почти целые две страницы, на которых подробно изложены и критически прокомментированы различные этимологии. Столь же обширна статья *jutro*. Правда, в некоторых случаях увеличению объема статьи способствуют излишние, на наш взгляд, подробности, посвященные заимствованиям. Говоря о заимствовании, бывает иногда полезно уточнить происхождение слова в самом языке-источнике. Ф. Славский наряду с этим, объясняя *holować* из нем. *holen*, считает нужным добавить, что последнее содержит тот же корень, что слав. **kolkoľ*. При этом автор очень удаляется от своих непосредственных задач. Этимология ничего не выигрывает, а принципиальное различие между генетическим родством и заимствованием смазывается.

Остальные замечания носят частный характер. Ф. Славский всегда дает богатую библиографию, и здесь трудно назвать какой-либо досадный пропуск. В статье о др.-польск. *jen, jenze* «который» (стр. 581) следовало использовать исследование З. Рысевича¹. Суффикс *-va* в **děwa*, польск. *dziawca* следует отличать от суффикса отглагольных имен *bitwa, kłątwa*, которые скорее представляют расширение сушпной основы на *-i* (**bitū, *klętiū*), тогда как Ф. Славский не делает здесь различия (стр. 191). Без достаточного основания *cholewa* «голенщик» признается родственным сербскохорв. *hlěca, hlěce* (стр. 74), хотя последнее давно известно как заимствование из романских языков. При подаче иноязычных примеров желательнее в современном этимологическом словаре применять общепринятое новое правописание, т. е. литовск. *burkiūti*, а не *burkiūti* (стр. 50).

Что касается различных возможных этимологических решений, то в ряде случаев это могло бы представить тему не для одной, а для многих специальных статей, что наглядно показывает пример К. Мошинского, который сопровождает словарь Славского из года в год новыми заметками в журнале «Język polski».

2

Недавний выход в свет «Этимологического словаря чешского и словацкого языка» В. Махка является событием большой важности. Автор его — профессор Брненского университета Вацлав Махек — широко известен как специалист по индоевропейской и славянской этимологии. В итоге более чем тридцатилетней работы он написал значительное количество трудов в этой области. Среди них имеется много статей и заметок, печатавшихся в различных чехословацких и зарубежных журналах, а также такие важные крупные исследования, как «Studie o tvoření výrazů expresivních» (Прага, 1930), «Recherches dans le domaine du lexique balto-slave» (Брно, 1934), «Česká a slovenská jména rostlin» (Прага, 1954). Круг проблем, интересующих В. Махка как этимолога, очень широк. Среди них центральное место всегда занимало изучение экспрессивных элементов словаря и характерных для них звуковых изменений. В противоположность распространенной точке зрения, значительная часть обычного словаря признавалась генетически экспрессивной, в связи с чем подвергались ревизии многие важные специальные проблемы, как, например, проблема начального *x-* в славянских языках. Эта совокупность вопросов стала определять основное направление работ чешской этимологической школы, крупнейшим представителем которой является, наряду с покойным И. М. Горжаником, В. Махек. Другой важной проблемой, постоянно занимающей В. Махка, является выявление «праевропейских», иначе — доиндоевропейских элементов словаря славянских и других индоевропейских языков Европы. Следует тоже упомянуть об интересе В. Махка к изучению, например, параллельных образований славянских и хетто-лувийских языков. Все эти вопросы нашли отражение в его новом этимологическом словаре.

¹ Z. Rysiewicz, Zachodniosłowiańskie *tyń, syn, jnē*, «Księga referatów [II Międzynarodowego zjazdu slawistów]», Sekcja I — Językoznawstwo, Warszawa, 1934, стр. 108 и сл.

Рецензируемый словарь содержит этимологически обработанное лексическое богатство как чешского, так и словацкого языков. Сведения об истории слов и их первом появлении сообщаются, ср. *almužna* — XIII в. (стр. 17 словаря), *archa* — 1498 г. (стр. 19), однако это не проводится с той абсолютной последовательностью, которая характерна, например, для словаря Ф. Славского. В то же время в словаре широко используются материалы диалектов Чехии, Моравии, Силезии и Словакии, приводятся большое количество вариантов слова, рассматриваются интересные диалектные формы. Например, наряду с *teprv*, др.-чеш. *teprv(o)*, называются диал. *teprva*, *teprřiva*, *teprv(a)*, *teprov(á)*, *tepráv*, *tepreu*, *teprum*, *teprym*, *depro*, *depreu* (стр. 526). Значения заглавных чешских и словацких слов В. Махек дает в исключительных случаях, когда это требуется и для чехословацкого читателя, в то время как Ф. Славский приводит всегда развернутое значение по принципу толкового словаря. Регулярно прослеживает В. Махек распространение форм в остальных славянских языках. Что касается подачи сведений по этимологии, В. Махек решает эту задачу довольно своеобразно. Отказавшись в самом начале от равномерного реферирования литературы («Úvodní slovo», стр. 8—9), В. Махек регулярно приводит лишь ссылки на свои работы и работы чехословацких ученых — И. Зубатого, В. Шмиллауэра, И. Янко, И. М. Коржиника, Ф. Оберпальцера-Илека, К. Яначка, из польских чаще — Я. Отрембского; остальные литературные ссылки носят скорее случайный характер. Удивление вызывает неожиданная щедрость, с которой автор цитирует в некоторых местах словаря довольно длинные выдержки из новой беллетристики, например из «Города в стене» А. С. Серафимовича и др.

Этимологическая часть статей в словаре представляет значительный интерес с самых различных точек зрения, так как здесь хорошо отражены как достоинства, так и недостатки чешской этимологической школы. Кроме того, здесь наиболее полно представлены этимологические достижения самого автора, причем некоторые из толкований — как он сообщает, приводятся им здесь впервые («Úvodní slovo», стр. 9). Этимологии В. Махка пользуются широкой известностью, многие из них стали общим достоянием. Ср., например, объяснения слов: *jědrv* (чеш. *jadrný*, русск. *ядрѣный*) — к др.-инд. *indra* «сильный, крепкий», *Indra*; слав. *jьgъla* (чеш. *jebla*, русск. *улла*) — производное от слав. *jьgo*, «ярмо, игло»; слав. *ježьbny*, чеш. *ježmen* — от **ank-* «гнуть»; чеш. *struk*, русск. *стручок* — к литовск. *runkū*, *rūkti* «морщиться»; чеш. *střemen*, русск. *стремя* — к литовск. *remti* «опереть» и др.

Значительный интерес представляет объяснение чеш. *peskovati* «ругать» — к русск. «губа» как диалектного заимствования (ср. ганацк. *pěskovat* «ругать»), хотя по этому поводу возникла целая дискуссия в чешской литературе¹. Все эти этимологии вошли в настоящий словарь. Некоторые статьи, посвященные названиям предметов материальной культуры, снабжены специальными иллюстрациями, которых в тексте словаря всего восемь. Это можно рассматривать как новшество в этимологическом словаре. К сожалению, В. Махек совершенно не затрагивает этимологии топонимии и вообще собственных имен, как и Ф. Славский. Словарь бы много выиграл от включения хотя бы наиболее интересных, старых названий, таких, как *Benátky*, *Brno*, *Haná*, *Miškovce*, *Olomouc* (этимологией которого, кстати, занимался сам автор в другом месте²), *Rakousko* и т.р. Отдельных названий автор все же несколько касается; ср., например, *Zdár* < *žďáru* < *žáru* (стр. 591).

Специально нужно упомянуть участие в подготовке словаря проф. В. Шмиллауэра, который в качестве научного редактора книги сообщил В. Махку множество своих наблюдений, замечаний и литературных справок, использованных автором в тексте. Представление об их количестве дает даже беглый просмотр словаря. В. Махек использовал также ряд замечаний рецензента Ф. Копечного.

Основным методом построения словарной статьи в этимологическом словаре В. Махка является метод этимологических гнезд. Автор убежден в его полезности, как мы это видели из его слов, цитировавшихся при обсуждении работы Ф. Славского. Общие методологические пороки этого метода были вскрыты выше, здесь можно ограничиться наиболее необходимыми примерами. Стр. 391: «*pravý*; огромное множество производных и богатое развитие значений. Наречие *pravě*..., *právě*...; *býtí práv něčemu*...; *právo*, *právni*, *-ník*,... *správný*, *bezpráví*, *svěprávny*, *pravoplatný*; *pravověrný*; *pravoslavný*...» и др. Кажется, что все перечисленные производные достаточно прозрачны в словообразовательном отношении и по праву занимают в статье подчиненное место. Однако, что это не совсем так, показывает сам автор, определяющий, например, форму *pravoslavný* как целиком заимствованную из русского языка. Впрочем, сам метод, применяемый В. Махком, заставляет его тут же рядом допускать ошибки или же не выделять того,

¹ См. «*Naše řeč*», ročn. 37, № 7—8, 1954, стр. 193—196; «*Naše řeč*», ročn. 39, № 3—4, 1956, стр. 76—79; «*Naše řeč*», ročn. 40, № 1—2, 1957, стр. 32—36, № 9—10, стр. 277—282.

² См. V. M a c h e k. Jméno Olomouc, «*Casopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci*», ročn. 59, 1950, стр. 12 и сл.

что настоятельно требует выделения. Немного ниже, в той же статье, автор упоминает *popraviti*, замечая, что раньше оно значило «исправить, привести к порядку», тогда как на самом деле мы имеем в этом слове особое образование, очевидную кальку: *po-praviti* «казнить» < нем. *hin-richten* «казнить». Единственно верную картину в этом случае дал бы аналитический метод, при условии, если бы анализ *popraviti* основывался на специальном историческом материале. На стр. 444 в статье *sila* объединены все производные от этой основы, как-то: *silný, posilnití*, др.-чеш. *silná cesta, silnicě*, современное *silnice* и др. Как видим, др.-чеш. *silná cesta, silnicě*, резко выделяющиеся из остальной массы производных от *sila* отличным значением «проезжая дорога, шоссе», у В. Махка оставлено без каких бы то ни было комментариев. Однако оно могло бы послужить предметом специального этимологического исследования, потому что есть основание думать, что мы здесь имеем кальку лат. *via* «дорога», осмысленного, вероятно, как производное от лат. *vis* «сила»¹, откуда др.-чеш. *silná cesta, silnicě* «проезжая дорога».

Особенно любопытны конкретные приемы этимологического исследования, применяемые В. Махком для констатации близких форм и для объяснения эволюции форм. Следует признать, что они носят ярко выраженный чешский характер методики чешской этимологической школы и одновременно существенно отличаются от методов и приемов, обычно принятых в индоевропейской и славянской этимологии. Последнее их изложение — скатное, но вместе с тем весьма полное — находим в предисловии к словарю (стр. 10—11). Изложению автор предпоставил следующие слова: «Поскольку при обычных способах интерпретации оставалось много неясных слов, я кое-где использовал возможности (из которых некоторые пропагандирует в особенности Ян Отрембский), до сих пор мало применявшиеся в этимологической работе, хотя они и таят в себе известную опасность. Но эта опасность исчезнет, или по крайней мере сократится до минимума, если структура сравниваемых слов в остальном не имеет различий, а также, если значения слов тождественны». Далее автор выделяет ряд явлений, определяющих, по его мнению, новые возможности этимологической интерпретации:

а) Удлинение корневого гласного в ряде слов в праславянском языке, например *slabý (ā)* при нем. *schlaff* (*a), *matý, sám, těsný, tělo*.

б) «Вертикальная» замена (субституция) согласных, причем, например, звонкий губный заменяется звонким зубным и наоборот. Пример такой замены В. Махек видит в устанавливаемом им соответствии слав. *bolěti*: лат. *dolere* «болеть» (ср. также стр. 37 словаря). Полное в остальном совпадение звуков и значения служит В. Махку аргументом для того, чтобы устранить это мешающее расхождение допущением необычного изменения *b : d*. При этом В. Махек никак не обосновывает реальность подобной субституции в отношении между генетически родственными словами. Вопрос о направлении изменения (*d > b* или *b > d*) так и не ставится.

в) Замена звонкого согласного парным глухим и наоборот. Этот момент особенно широко используется В. Махком; ср., например, слав. *krasa*: литовск. *grōžis, gražus* (стр. 232); чеш. *blizký*, русск. *близкий* признается родственным греч. *πείλας* «близко», *πλάτος*, дорич. *πλάτιος* «близкий» (стр. 35). Изменения, или, вернее, колебания такого рода несомненно в экспрессивной, звукоподражательной лексике или в словах, очевидно, связанных генетически со звукоподражаниями; ср. названия птиц: слав. *kŕpъ*: литовск. *gubė*. Гораздо меньше вероятна в возможности или продуктивности этих изменений в обычной, немотивированной лексике, чем объясняется недостоверие большинства этимологов к приведенным выше этимологиям В. Махка².

г) Замена плавных *l/r*, например чеш. *láti*, укр. *лѣтити* «ругать»: латышск. *rāt* «то же» (стр. 259).

д) Замена в способе артикуляции согласных, например носовой *n* вместо зубного смычного *d*. В. Махек приводит сопоставление равнозначных чеш. *hlen* и греч. *χλῆδος* (стр. 130).

е) Дистантная метатеза согласных. В. Махек правильно приводит классический пример — слав. *reko*: литовск. *kerų*. Существуют и другие надежные примеры этого явления, ср. чеш. *bětruch* из ср.-в.-нем. *buochvel* (стр. 29). Однако, когда сам В. Махек или другие представители чешской этимологической школы придают такому явлению необычайно большое значение и обнаруживают его в любых словах, имеющих «одни и тот же звуковой состав» (неважно, в каком порядке расположены эти звуки) и одинаковое значение, этимология теряет всякие критерии надежности. Возникает нелепый вопрос: способно ли подобное этимологическое исследование вывести этимологию из кризиса, о котором слишком много писалось последние два десятилетия? Дело отнюдь не в стремлении этимологию казаться правдоподобнее, вопрос носит принципиальный характер. Остается наиболее вероятным, что за вычетом метатезы, вызванных конкретными причинами формального или семантического порядка³ (табу), порядок звуков

¹ Между лат. *via* и *vis* вероятна также этимологическая связь. См. A. W a l d e, *Latinitisches etymologisches Wörterbuch*, 2 Aufl., Heidelberg, 1910, стр. 831.

² Ср. V. M a c h e k [пен. на кн.:] E. Fraenkel, *Litauisches etymologisches Wörterbuch*, «Slavia», роѡн. XXVI, сеš. 3, 1957, стр. 441.

в слове представляет собой стабильную величину, одно из условий равновесия элементов языка. Прочие примеры из словаря В. Махка: *bedro*, русск. *бедро* <**debro* <**dem-ro*, ср. лат. *femur, minus* (стр. 28); *břidký* <**bhidrú-*, ср. лем. *bitter* (стр. 48); *dobry*, **dobrr* <**bodrr*, ср. др.-инд. *bhadrá-*, гот. *batiza* (стр. 90); *hod*, **godr* признается родственным нем. *Tag* (стр. 135); русск. *крыса* отождествляется (вслед за К. Яначком) с литовск. *žiurkė* (стр. 239); *obilí*, **obilí* сопоставляется с греч. *ὄλιζος* и литовск. *ūdas* (стр. 331); *pouhý* <*hloupy*, *hlupý* (стр. 387); *stroj* путем принятия особо сложных метатез В. Махек сравнивает с нем. *bereiten* (стр. 477).

ж) Усиление некоторых корней плавающим *r* или *l* после первого согласного или обратный процесс, например в словах *chlípěti, klaběti, zgrýnat*; напротив, в *skočiti* В. Махек допускает выпадение такого *r* и сравнивает его с др.-в.-нем. *schrecchon* (стр. 447).

з) Соответствия ряда слов можно определить лишь признав замену типа *st/d* в начале слова. Это наблюдение оказывается в некоторых конкретных случаях полезным и подтверждается известным слав. *drozdъ*: литовск. *strázdas*. Ср. еще приемлемое соответствие такого типа: литовск. *skilandis* «часть желудка (у крупного рогатого скота)»; слав. *želodъkъ* (стр. 590).

и) Присоединение «подвижного» *s* в начале слова может вызвать ослабление конечного согласного, т. е. замену глухого звонким, ср. *čerp* > *šerp*.

й) Начальное *s* легко отпадает в интенсивных формах глаголов на *s*: *mlsati* < **smil-sā-*, ср. литовск. *smilauti*.

к) Случаи неожиданных носовых *e, o* В. Махек склонен объяснять расширением геминат, т. е. *-pp* < *-erp*, где *-pp* есть экспрессивное удвоение более раннего *p*. В связи с этим В. Махек признает необходимым пересмотр вопроса о судьбе долгих согласных в славянском.

л) Допускается возможность замен в корне дифтонгов *ei, eu* носовым дифтонгом *ei, et* и, наоборот, ср. **pditi*: греч. *πετῖδα*.

Допущение всевозможных изменений в слове как бы освобождает В. Махка от необходимости считаться подчас даже с наиболее очевидными историческими и морфологическими отношениями. Так, глагол *budovati* В. Махек связывает через *obudovati* с синонимичным русск. *оборудовать*. У западных славян эта слишком длинная форма *l*-объя сокращена за счет среднего слога (стр. 39). Здесь почти каждое слово — фантазия! Неясное др.-чеш. *chlust, chluš* «слуга» оказывается возможным сопоставить с русск. *золуя* или даже с собир. *золушество* (стр. 158). Можно еще в какой-то мере принять гипотезу о родстве слав. *krado, krasiti* с жлѣдъ: «вор», засвидетельствованным у Гесхихи — этой настоящей житницы для смелых этимологов, но отности сюда же русск. *кладывать* (медведи), в котором якобы сохранилось первоначальное *l* (стр. 232), — значит не считаться с очевидным фактом генетических и морфологических связей *кладывать* и *кладу, класть* и пр. Чешское *chlup* «волос» автор считает возможным связывать с литовск. *plaukas* «то же» (стр. 158), слав. *dobry* — с др.-инд. *bhadrá-* (стр. 90). Совершенно ясно, что такие этимологии В. Махка не могут встретить сочувствия у большинства этимологов.

Весьма существенное значение имеет вопрос об отношении В. Махка к семантической стороне языковых явлений. Из различных его высказываний и непосредственной исследовательской практики видно, что критериями родства или тождества слов он считает наличие одного и того же звукового состава и «абсолютное тождество значений». Принципиальные возражения вызывает второе положение. Практика этимолога показывает, что абсолютное тождество значений — величина эфемерная; ср. массу случаев вроде тождественных во всех отношениях польск. *joda* — болг. *еа*, причем, однако, первое означает «шхта», а второе — «ель». Налицо переход значения — ситуация, чрезвычайно типичная в этимологии. Наиболее надежным является исторический критерий вероятности принимаемых семантических переходов, тогда как лишенное исторической основы подобие или даже тождество значений может быть обманным. Показательно, что В. Махек во многих случаях отказывается признавать самые естественные переходы и видит самостоятельные омонимы там, где нужно говорить лишь о вариантах одной исходной формы. Он разделяет *chytrý* на *chytrý 1* и *chytrý 2*, относит первое со значением «подвижный» — к литовск. *kutrus* «то же», а второе («всезлущий») — к литовск. *gudrús*. «Эти два прилагательных *chytrý* нельзя, таким образом, объединить и принимать какое-либо развитие значения» (стр. 167). Слованск. *kúrit'* «бежать» В. Махек сравнивает с литовск. *kuriù, kùrti* в этом значении (стр. 248). Но данное литовское слово надо рассматривать не как самостоятельное соответствие лат. *currò* «бегу», а как местную экспрессивную замену литовск. *bėgti*. Это *kùrti* нельзя отрывать от *kùrti* «топить, дымить»; значения «дым, пыль» вообще часто используются при образовании экспрессивных терминов «бежать», ср. литовск. *dūmti* «бежать», *nudūmti* «удрать», развишиеся из основного значения *dūmti* «дуть». Слово *kvapiti*, польск. *kwapic się* «торопиться» В. Махек считает неясным, предполагая здесь экспрессивное образование на *-ap* (стр. 251), в то время как здесь имеется полная аналогия разобранному случаю, а форма *kvapiti* этимологически родственна слав. *күрѣти* «кипеть», литовск. *kūparas* «пар, запах». Случай вроде чеш. *napařla mne myšlenka* он отрывает от *padati*, русск. *падать* и сопоставляет с нем. *fassen*, куда относит и русск. *нопадамъ* (стр. 347). Несо-

мнению, здесь можно говорить только об одном *padati*. Чеш. *napadla mne myšlenka* — калька немецких оборотов вроде *es fiel mir ein*, русск. *мне пришла в голову мысль*. В. Махек считает возможным разделить *žiti, žiji 1* «поправиться, выздороветь» и *žiti, žiji 2* «жить» (стр. 595).

В своем словаре В. Махек широко использует материал хеттского языка, однако при ознакомлении с устанавливаемыми им хеттско-славянскими соответствиями возникает опасение, что большинство из них антиисторичны, так как идентифицируются они на тех же принципах, что были изложены выше: *babrati se* «пачкаться» — хет. *parpárh-h* «осквернять, загрязнять» (стр. 21); *šechel* — хет. *kureššar* «женский головной убор» (стр. 67); *chrám* — хет. *karinni* «храм» (стр. 161); *le* (частица) — хет. *le* «не» (стр. 260); моравск. *lomiti* «определить, установить» — хет. *lamiti-a* «называть, приказывать» (стр. 275); *osnovati* — хет. *aššanu-* «устривать», каузатив от *eš* (стр. 342); *praviti* «говорить» отрывается от близких форм и относится к хет. *palvái-* «то же» (стр. 391).

Огромное количество названий животных, растений, явлений природы автор относит к числу остатков «праевропейского» субстрата: *bedla*, ср. греч. *βῆλα* «гриб» (стр. 28); *candít*, русск. *судак*, нем *Zander* (стр. 54); слав. *dyňa* (стр. 105); *hnida*, слав. *gnida* (стр. 134); *hovado*, слав. *govědo*, ср. литовск. *galviņas* (стр. 141); *sozna*, вместе с нем. *Kien* (стр. 464) и многие другие. При этом автор исходит из мысли, что предки славян населились на доиндоевропейское население и приняли из его языка все эти названия. Мысль в общем допустимая, но в большинстве конкретных случаев предположение о субстратном заимствовании имеет очень мало оснований. Здесь нужна большая осторожность. Следует помнить, как поразительно мало субстратных элементов проникло, например, в географическую терминологию сербскохорватского языка, как это показало специальное исследование И. Шютца¹. Приходится пожалеть, что В. Махек не приводит другие этимологии даже в тех случаях, когда существующая этимология надежнее, чем его собственная гипотеза.

Нельзя согласиться со способом подачи венгерского материала. Так, без дальнейших объяснений В. Махек приводит как родственные венг. *kető, távol, olcsó, kopoltyú*. Венг. *hamis* «фальшивый» называется заимствованием из нем. *hämisch*, что давно оставлено венгерской этимологией. Никакой критики не выдерживает сравнение словак. *jesen*, русск. *осень* с венг. *ős*: «то же», так как другие родственные финно-угорские формы говорят о древнем наличии начального шипящего согласного, т. е. о прафинноугорской форме, не имеющей ничего общего со славянскими словами².

В заключение следует еще раз сказать, что выход в свет «Этимологического словаря чешского и словацкого языка» В. Махека является важным событием. Это результат большой работы опытного и оригинального этимолога. Дискуссии о методах этимологического исследования, оживление которых принесет этот словарь, могут оказать плодотворное воздействие на развитие этимологии.

Несколько замечаний, имеющих частное значение: *beran* сравнивается с греч. *βάρυχο* (стр. 29), которое, однако, нужно читать как *βάρυχο*, ср. *άρυχο*³ (следовательно, сравнение неверно); *jistý*, слав. *jystъ*. В. Махек объединяет с нем. *Geist* < *ge-ist* (стр. 181), но немецкое слово объясняется совсем иначе; диал. и словацк. *lagan* «лентый», *logaň* «парень», оставляемое без объяснения (стр. 255—256), можно поименить как истолковать как заимствование из венг. *legény* «парень»; *maňásek* «театральная кукла» представлено лишь как производное от др.-чеш. *maňas* «чучело», которое, по мысли В. Махека, продолжает какое-то имя, например *Maňj* (стр. 284). Точнее будет считать этим исходным именем *Marie*, тогда *maňásek* получает правильное объяснение как калька франц. *marionnette*, ср. *maňáskové divadlo* — франц. *théâtre des marionnettes*; говоря о *medle*, др.-чеш. *mnedle* (стр. 291), стоило сказать здесь о кальке нем. *meinewegen*; *oteň*, толкуемое как сокращение *oploteň* (стр. 345), естественно объяснять как родственное *lyn*⁴; к словацк. *riava, rava* «горный поток» < дако-рум. *reu* < лат. *rius* «ручей» (стр. 419) относится, вероятно, и местное название укр. *Рава (Русская)*.

Количество опечаток сравнительно невелико; ср., например, литовск. *valgyti* (стр. 173, 177), нужно — *válgyti*. На стр. 348 вместо «Frühgeschichte der Sprachwissenschaft» должно быть: «Frühgeschichte und Sprachwissenschaft». На стр. 600 неверно указан инициал: М. Bárzi вместо G. Bárzi.

О. Н. Трубачев

¹ См. J. S c h ü t z, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin, 1957.

² Сведения по этимологии венгерских слов можно найти в словаре: B á r z i G., Magyar szófajti szótár, Budapest, 1941, стр. 111, 163, 170, 223, 230, 304.

³ См. H. F r i s k, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 2 Bde., Heidelberg, 1954, стр. 137.

⁴ См. F. В e l a j, Contributions lexicographiques (3 tchèue dialectal *oteň* «clôture»), «Slavistična revija», letn. VIII, 3—4, 1955 (приложение «Linguistica»).

Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. II. 3 — Н. Сост. С. И. Бернштейн, А. Д. Григорьева, И. С. Ильичская, В. Д. Левиц, В. А. Плотицкая, В. Н. Сидоров. Ред. тома В. Н. Сидоров. — М., Гос. изд-во иностр. и нап. словарей, 1957. 896 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

Второй том «Словаря языка Пушкина» составлен по тем же принципам, что и первый. В целях облегчения пользования словарем в оформлении статей внесены лишь некоторые изменения полиграфического характера. Лексический материал по-прежнему представлен с исчерывающей полнотой. В перечне словоупотребления, как и в I томе, даны ссылки на все места употребления того или иного слова в текстах Пушкина, за исключением некоторых служебных слов, число употреблений которых слишком велико. В словаре нашли отражение немногие, чисто языковые изменения в пушкинских текстах, явившиеся результатом новых прочтений рукописей поэта уже после выхода «большого» академического издания сочинений Пушкина.

Не ставя своей целью дать общую оценку словаря¹, ограничусь рядом отдельных замечаний. Укажу на пробелы и неточности, имеющиеся в некоторых словарных статьях.

Слово *каменщик* показано только в одном значении («рабочий, специалист по каменной, кирпичной кладке»), тогда как у Пушкина оно встречается еще в значении «член масонской ложи» в стихотворении, обращенном к генералу П. С. Пушкину, основателю масонской ложи в Кшишевце: «Хвалю тебя, о верный брат! О каменщик почтенный!»

В статье *места* не показано фразеологическое сочетание *места улицу* — окказаться «без средств к существованию», «не имея пристанища, скитаться по улицам»: «Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою» («Станционный смотритель»).

В ряду примеров, иллюстрирующих употребление слова *мощи* в значении «останки, прах людей», приведена цитата: «Вот мой совет: во Кремль святые мощи Перенести» («Борис Годунов»). Но здесь слово *мощи* имеет религиозно-культурное значение: «останки людей, почитаемых церковью святыми». Значение это следовало бы указать.

В статье *карантин* первое значение этого слова «изоляция лиц, перенесших заразную болезнь или приехавших из зараженной местности» иллюстрировано примером «Попали в честь тогда Орловы, А дед мой в крепость, в карантин, И присмирел наш род суровый» («Моя родословная»). Но здесь слово *карантин* употреблено в переносном значении.

В статье *невежда* употребление этого слова в утраченном теперь значении «неопытный, неиспорченный юноша» показано только в составе фразеологических сочетаний «невежда сердцем, душой», тогда как оно употреблялось и в виде фразеологических сочетаний: «Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет, И молвит: то-то был Поэт! Прими ж мои благодаренья, Поклонник мирных Аонид...» («Евгений Онегин, II, 40»)².

Одна из задач «Словаря языка Пушкина», как сказано в предисловии к первому тому, — быть «ключом к правильному пониманию текста пушкинских произведений». В соответствии с этой задачей важную роль играет толкование слов, значение которых в языке Пушкина отлично от того, какое они имеют теперь. Толкования, приводимые в словаре, очень кратки, но вполне удовлетворяют читателя. Например: *Зрак* — «образ»: «Москва, сколь Русскому твоей зрак унылый страшен!» («Воспоминания в Царском селе», о пожаре Москвы в 1812 г.). *Мечтанье* — «сновидение, видение, призрак»: «...она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтанья поминутно ее пробуждали» («Метель»). *Наездник* — «верховой воин, совершающий набеги на неприятеля один или в составе конных отрядов»: «Граф послал Пудина осмотреть овраг... Турки приняли его за наездника и дали по нем залп» («Путешествие в Арзрум»).

Однако краткость определенных значения некоторых слов, связанных с предметами и понятиями, исчезнувшими из нашего быта, оказывает читателю недостаточную помощь в правильном понимании пушкинских текстов. Не требуя от «Словаря языка Пушкина» справок, даваемых словарем энциклопедическим или реальным комментарием, все же хотелось бы видеть определения этой категории слов более расширенными.

Например, значение слова *заря* определено: «полевая трава из семейства зонтичных» и иллюстрировано цитатой: «В день Троицын, когда народ, Зевая слушает молебен, Умилно на пучок зари Они роняли слезки три» («Евгений Онегин», II, 35). Прочитав это краткое ботаническое определение, современный читатель не поймет, почему помещики Ларины во время молебна роняют слезы на пучок полевой травы. Только

¹ Общая оценка дана в обстоятельных рецензиях на первый том Ю. С. Сорокина (ВЯ, 1957, № 5) и Р. Р. Гельгардта (ИАН ОЛЯ, 1957, вып. 4).

² Ср. у Лермонтова в «Маскараде»: «Видал я много юношей, надежд И чувства полных, счастливых неведж В науке жизни... пламенных душою...» (д. I, ст. 4). «За вас отдам я счастье неведжы, Беспечность и покой — не для меня! они!» (д. II, ст. 2).

зная о том, что в старину существовал обычай обметать троицкими цветами могилы родителей, можно понять текст Пушкина: слезы вызваны воспоминаниями об умерших родителях¹. Поэтому значение слова *зара* можно бы определить примерно так: «любисток — травянистое растение с желтоватыми цветами, лучками которого в троицы день, по народному обычаю, обметали могилы родителей».

В статье *камергерский* фразеологическое сочетание *камергерский ключ* объяснено: «отличительный знак звания камергера — ключ на голубой ленте» и иллюстрировано цитатой: «В себе все блага заключая, Ты наконец к ключам от рая Привяжешь камергерский ключ» («Послание к А. И. Тургеневу»). Объяснение это следовало бы уточнить и, расширив, сформулировать так: «Отличительный знак звания камергера — золотой ключ на голубой ленте, прикрепленной к пуговице на левой фалде мундира». Только такое (или подобное) толкование раскроет читателю смысл шутивных стихов Пушкина в письме к Вяземскому («Любезный Вяземский, поэт и камергер...»).

Значение слова *монастырка* истолковано: «воспитанница Смольного монастыря в Петербурге (где воспитывались девушки-дворянки)» и иллюстрировано цитатой: «Не любить деревня простительно монастырке, только что выпущенной из клетки» («Роман в письмах»). Из этого объяснения читатель может понять, что монастырками называли девушек-дворянок, воспитывавшихся в монастыре монахинями, как это практиковалось в Западной Европе. Но в России такого обычая не было. Пушкин говорит о воспитаннице Смольного института в Петербурге. Институт этот, учрежденный в 1764 г. (официальное название его было: «Императорское воспитательное общество благородных девиц»), первоначально помещался в здании, начатом постройкой при Елизавете Петровне (на месте бывшего при Петре I «Смольного двора») и предназначавшемся для женского Смольного монастыря. Здание, законченное при Екатерине II, было приспособлено для Института. Желая все же исполнить и волю Елизаветы Петровны, Екатерина основала небольшую общину монахинь, поместив ее в том же здании, но совершенно обособленно от Института. В 1808 г. институт был переведен в новое здание (постройки Кваренги), где и находился до Октября 1917 г. Тем не менее в быту институт часто называли «Смольным монастырем» и за воспитанницами его укрепилось название «монастырок» (или «смолянок»)². Поэтому значение слова «монастырка» следовало бы определить так: «воспитанница петербургского Смольного института (где воспитывались девушки-дворянки), в быту называвшегося Смольным монастырем».

Попутно отмечу, что в статье *монастырь* не указано одно из значений этого слова: «закрытое женское учебное заведение при католическом монастыре». Именно такое значение это слово имеет в 1-й главе повести «Арап Петра Великого», где говорится о французской графине Д.: «17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить...»

Все сделанные замечания о неполноте и неточности толкований слов в некоторых статьях второго тома несколько не могут умалять его несомненных достоинств.

Н. С. Ашукин

С. С. Майзель. *Изафет в турецком языке*. Ред., предисл. и примеч. А. Н. Ковонова. — М.—Л., Изд-во АН СССР, 1957. 186 стр. (Ин-т востоковедения АН СССР).

Во всех тюркских языках, и в турецком в том числе, имеются «однотипные определенные словосочетания имен существительных, которые в турецких грамматиках принято называть арабским термином *изафет*». Подробное специальное исследование определенных, или *изафетных*, словосочетаний в турецком языке появляется впервые, и в этом несомненная заслуга безвременно скончавшегося С. С. Майзеля.

Во «Введении» (стр. 7—9) автор сообщает, что исследование *изафетных* словосочетаний он ограничивает рамками современного турецкого языка и воздерживается от «сравнения с аналогичными явлениями в других тюркских языках» (стр. 9); в методи-

¹ Об обычае обметать в Троицы день «гробы родителей, чтобы прочистить им глаза» Пушкин рассказывал этнографу И. М. Снегиреву (Н. О. Л е р н е р, Заметки о Пушкине, «Пушкин и его современники. Материалы и исследования», вып. XVI, СПб., 1913, стр. 47). Об этом же обычае упоминает П. П. Мельников в романе «В лесах», ч. IV, гл. 1.

² См. Н. П. Черепнин, Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк. 1764—1914, т. I, СПб., 1914, стр. 66, 72—75 и сл.; В. П. Быков в а, Записки старой смолянки. 1833—1878, ч. 1, СПб., 1898, стр. VII. В ВСЭ² (т. 39) дано неправильное сведение о том, что Институт был открыт при Смольном Воскресенском женском монастыре. Как уже сказано, институт ничего общего с монастырем не имел.

ческом отношении такое ограничение вполне оправдано, если иметь в виду обширность исследуемой темы и недостаточную изученность изафетных словосочетаний. В противном случае перед автором неизбежно встали бы новые проблемы.

В главе I «Изафет в турецком языке. (Предмет исследования и его границы)» (стр. 10—17) дается определение изафета: «Турецкий изафет представляет собой такое сочетание двух существительных, из которых одно, стоящее в родительном или неопределенном падеже, является определением и одновременно дополнением к другому — своему определяемому и одновременно дополняемому» (стр. 13). К этому определению нам придется вернуться ниже, после некоторого знакомства с типами «турецкого изафета», которые анализируются в главе IV (стр. 24—53).

Выделение трех типов изафета — 1) possessивного, двааффиксного изафета (сочетание существительного в род. падеже и второго существительного с местоименно-притяжательным, по терминологии нашего автора — «релятивным», аффиксом, например *kadın-ın şapka-sı* «шляпа женщины»), 2) релятивного, одноаффиксного изафета (сочетание существительного в неопределенном падеже и второго существительного с местоименно-притяжательным аффиксом, например *kadın şapka-sı* «женская шляпа»), 3) индентитивного, безаффиксного изафета (сочетание двух существительных с «нулевыми» морфологическими показателями, например *fötr şapka* «фетровая шляпа») (стр. 17) — в общем не расходится с общепринятым пониманием типов «турецкого изафета». Однако С. С. Майзель предложил очень систематичное обоснование означенных типов изафетных словосочетаний и группировку их, выделив множество разновидностей каждого типа в зависимости от содержания анализируемых словосочетаний.

Первый тип — possessивный — охватывает, по наблюдениям С. С. Майзеля, словосочетания, в которых предметно выражено понятие принадлежности (стр. 24—30). Второй тип изафета — сочетание существительного в неопределенном падеже с другим «существительным с местоименно-притяжательным аффиксом 3-го лица ед. числа — заключая в себе предметно выраженное отношение второго существительного к первому (стр. 30—43). В отличие от первого типа изафета здесь во всех случаях выражается не фактическая, а эвентуальная, потенциальная принадлежность; поскольку эвентуальная принадлежность может стать реальной, появляется обратимость этих двух типов изафета: *kadın şapkası* «женская шляпа» — *kadının şapkası* «шляпа женщины». Третий, так называемый индентитивный, безаффиксный тип изафетных словосочетаний заключает в себе, по словам С. С. Майзеля, качественно выраженное отношение одного существительного (в неопределенном падеже) к другому (также в неопределенном падеже) (стр. 43—53). Такого рода понимание изафетных словосочетаний и их классификация в известной степени, по-видимому, обусловлены влиянием в первую очередь синтаксических взглядов А. А. Шахматова.

В книге С. С. Майзеля рассматриваются подробно все перечисленные случаи изафетных словосочетаний, причем он, не ограничиваясь классификацией типов изафетных словосочетаний, переходит к рассмотрению их структурных особенностей. В небольших по объему главах изафет трактуется как «внутренний классификатор» (гл. III, стр. 18—23), анализируется с точки зрения отношения к категории лица (гл. V, стр. 54—58), зависимости форм «изафета» от определенности и неопределенности предмета (гл. VI, стр. 59—73); изафет рассматривается как в плане определения — определяемого и дополнения — дополняемого, так и в плане различия между изафетом и русским «приложением» (гл. VII, стр. 74—78 и VIII, стр. 79—86); исследуются вопросы употребления имен собственных в изафете (гл. IX, стр. 87—96), выражения агрибутивной категории члена изафета именами вещественными (гл. XI, стр. 97—102), выражения категории числа и места имени числительного в изафете (гл. XI, стр. 103—106 и XII, стр. 107—112), словообразования на основе изафетных словосочетаний (гл. XIII, стр. 113—122), состава, возможности инверсии и синтаксического усложнения изафетных словосочетаний (гл. XIV—XVII, стр. 123—142), выражения второго компонента изафета служебным именем (гл. XVIII, стр. 142—146), особенностей изафетных словосочетаний с отглагольными именами-мастерами (гл. XIX—XXIV, стр. 147—172), отличий изафетных словосочетаний в разговорном языке и фольклоре (гл. XXV, стр. 173—177), эволюции изафета и изменений в его структуре в современном турецком языке (гл. XXVI, стр. 178—184).

Уже из одного перечня затрагиваемых в книге С. С. Майзеля вопросов можно составить представление о широте, с которой он подошел к исследованию изафетных словосочетаний. Именно поэтому ему во многом удалось отойти от шаблона, увидеть новые стороны в изафетных словосочетаниях. Вместе с тем широкая постановка вопроса, вполне естественная, с большей глубиной обнаруживает неясные стороны, мимо которых нельзя пройти. В самом определении изафета как «сочетания двух существительных, из которых первое в родительном или неопределенном падеже является определением и одновременно дополнением к другому», С. С. Майзель как бы обособляет третий тип — «индентитивный, безаффиксный изафет». Правда, С. С. Майзель решительно распространяет свое определение и на этот тип, например в случае *fötr şapka* «фетровая шляпа», поскольку *şapka* является словом управляющим, а *fötr* — управляемым в силу обусловленности такой зависимости порядком слов (стр. 77).

Такого понимания в отношении типологически близких конструкций в адыгейском и кабардинском языках придерживался Н. Ф. Яковлев; он выделял «определительные дополнения», полагая, что по происхождению они «представляют собой тот общий член предложения, в котором определение и дополнение еще не были разграничены, дифференцированы друг от друга»¹. Различая в адыгейском оформленное дополнение, выражающее единичное или определенное значение [колхозы-и и-мылькы «колхоза (отдельного) (его) имущество»], и неопределенное дополнение, выражающее обобщенное значение [колхоз мылькы «(вообще) колхоза имущество, колхозное имущество»], Н. Ф. Яковлев предполагал при этом, что оформленное дополнение представляет собой дальнейшее развитие дополнения неопределенного².

Если признать, что приименное дополнение выражает отношение единичного предмета к единичному, а определение — общего к единичному, то можно усмотреть разницу в изафетных словосочетаниях в этом отношении, например в случае *bu kadının şapkası* «шляпа/ этой женщины» определение *bu* «этот, эта, это» в обычных условиях относится только к первому компоненту словосочетания, в случаях же *bu kadın şapkası* «это/женская шляпа» и *buşfür şapka* «это/фетровая шляпа» определение *bu* должно быть отнесено ко всему словосочетанию в целом, поскольку в последних двух случаях нет отношения единичного предмета к единичному, как в первом случае. Но весь вопрос в том, что во всех трех случаях первыми компонентами остаются имена существительные, выражающая соответственно принадлежность, относительность и качественность. В этом С. С. Майзель видел своего рода синкретизм дополнения и определения в изафетных словосочетаниях. Иными словами, в изафетных словосочетаниях признается исконность момента possessивности, а не атрибутивности. Вот почему С. С. Майзель признавал «неизафетным» словосочетание *komşu ev* «соседний дом», в отличие от *komşu evi* «соседский дом» (стр. 19). Можно, конечно, считать все это неправомерным, но сам С. С. Майзель исходил из того, что «любая часть речи, входящая в изафет, субстантивируется» и что, таким образом, «дифференциация предметности и качественности имен в турецком языке находит поддержку и точное средство проверки в изафете» (стр. 20—21).

С. С. Майзель подошел к изафетным словосочетаниям, так сказать, структурально, пытаясь прежде всего отграничить понятие изафета сочетаниями двух существительных. Прилагательное при сочетании с существительным (*uzun yol* «длинная дорога») изафета не образует. Не образует изафетных словосочетаний существительные, из которых второе имеет местоименно-притяжательный аффикс 1-го или 2-го лица ед. и мн. числа (*ser para-m* «мои карманные деньги», *ser para-n* «твои карманные деньги» и т. д.); это не относится к существительному с показателем 3-го лица — *ser parası* (*onun ser parası*) «его карманные деньги», так как предполагается, что в этом словосочетании «одни релятивный аффикс обслуживает два разных определения» (стр. 56). В то же время «изафетными» признаются сочетания числительных количественных с существительными (например, *iki masa* «два стола», *bin asker* «тысяча солдат»), ибо числительные количественные в турецком языке С. С. Майзель приравнивает к собирательным по значению (пара, пяток, сотня и т. д.), т. е. в конечном счете — к существительным (стр. 108). Это вполне согласуется с общей концепцией автора и его определенным изафетных словосочетаний.

Все в книге С. С. Майзеля бесспорно. В теоретическом отношении следует особо выделить недостаточное внимание автора к двум моментам: 1) лексико-семантической стороне изафетных словосочетаний и 2) исторической основе, исторически сложившимся формам образования изафетных словосочетаний. С. С. Майзель, несомненно, недооценивал лексико-семантические особенности изафетных словосочетаний, когда, например, случай *taş köprü* «каменный мост» (дословно: «камень-мост») рассматривал как изафет, где определение — имя вещественное, а определяемое — сделанный из него предмет (стр. 44), случай же *taş yürek* «камень-сердце» характеризовал как изафет, где определение означает имя вещественное, а определяемое — предмет, который с этим именем вещественным сравнивается (стр. 49). Он не учитывал, что метафоричность второго словосочетания делает это сочетание связанным, выражающим одно понятие — «каменное сердце, безжалостный (человек)» и т. п. Следовательно, граница между «предметностью» и «качественностью» существительных находится также в их лексико-семантических свойствах. Недостаточно убедительно обоснован в книге третий тип — «идентификтивный, безаффиксный изафет»; в частности, остается недоказанным положение, что в турецком языке, в с числительные количественные являются собирательными по своей природе.

По морфологическому признаку С. С. Майзель подразделял изафетные словосочетания на «двуаффиксные», «однаффиксные» и «безаффиксные». Между тем функции аффиксов нельзя рассматривать только внутри изафетных словосочетаний, устранив в данном случае задачу синтаксическую, так сказать, индивидуальность аффикса

¹ Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941, стр. 80.

² Там же, стр. 84.

род. падежа и местоименно-притяжательного (релятивного) аффикса. Нельзя прибегать к постоянному «примысливанию» «недостающих», «отпавших» и т. п. элементов словосочетаний (например, когда речь идет об «отпадении» местоименно-притяжательного аффикса 3-го лица при наличии тех же аффиксов 1-го и 2-го лица или в случае с «одноставным» изафетом и т. д.), если к тому нет убедительных данных. Без учета как лексико-семантических свойств имен, так и функций местоименно-притяжательных аффиксов нельзя уяснить внутреннюю связь типов изафетных словосочетаний, например: *taş köprü* «каменный мост» и *taş kömürü* «каменный уголь»; *şiş iğne* «вязальная спица» и *şiş kebabı* «шашлык»; *dağ eteği* «подножья (буквально: подол) горы» и *dağ topusı* «горная артиллерия»; *Barak efsanesi* «миф (относительно) Барака (длинношерстой собаки)» и *it başlı ulus efsanesi* «миф (относительно) собаконогового племени» и т. д. Здесь важно установить рамки возможной «относительности» имен. Но все это, видимо, проблемы сравнительно-исторического исследования изафетных словосочетаний.

Редактор снабдил книгу примечаниями, в которых кратко изложены возражения против ряда положений С. С. Майзея. Примечания эти сами по себе представляют большой интерес, но изложены они несколько безапелляционно, что вряд ли можно считать оправданным, поскольку еще очень многое остается неясным в вопросах, затрагиваемых в рецензируемой книге.

А. К. Боровко

Г. В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках.— Тбилиси, 1956. 154 стр. (Ин-т языковедения АН Груз. ССР).

П. К. Услар совершенно правильно считал, что в структуре исследованных им северо-восточных горских языков важное место занимает система так называемых классов (грамматических родов). Поэтому свои грамматичи он начинает с описания классов. Классы отмечались и в абхазском языке. Но о классах в языках Закавказья лингвистика до недавнего времени не знала. Заслуга открытия классов в картвельских языках принадлежит акад. А. С. Чикобава. Ему удалось вскрыть в древнейшей структуре именных основ этих языков наличие морфологической категории человека и вещи, а также древнейшие окаменелые детерминативные суффиксы¹.

Во «Введении» к рецензируемой книге (стр. VIII) Г. В. Рогава говорит: «Данная работа является продолжением исследования именных (и глагольных) основ в адыгских языках. Дается анализ материала адыгских языков такого рода в сравнительно-историческом аспекте. Факты адыгских языков сравниваются с данными как близко родственных абхазского и убыхского языков, так и более отдаленно родственных других иберийско-кавказских языков».

Историческое изучение рассматриваемой древнейшей категории показывает, что с нею генетически связаны такие морфологические категории, как категория падежа, числа, лица, возникшие в иберийско-кавказских языках на последующих этапах их развития. Поскольку для всех иберийско-кавказских языков можно установить материальное единство показателей грамматической категории человека и вещи (экспонент класса человека — префикс *v-*, а класса вещей — *d-*, *b-*, *r-* и т. д. в большей части этих языков), позволительно сделать вывод, говорят Г. В. Рогава, что эта категория восходит к языку-основе иберийско-кавказской семьи, другие же морфологические категории возникли в процессе дальнейшего развития уже отдельных групп этих языков. Наличие же и даже в отдаленно родственных языках в отдельных случаях общего материала для выражения категорий, например, лица, числа, падежа (и при словообразовании), возникших после дифференциации языка-основы, автор находит возможным объяснить тем, что исходный морфологический инвентарь этого языка был использован и для названных выше морфологических категорий (стр. IX). Но это лишь предположение, а не объяснение, и мы можем принять его только как рабочую гипотезу.

В соответствии с указанными установочными положениями, Г. В. Рогава изложила добытых ею исследованием результатов делит на две большие главы: I. «Экспоненты грамматических категорий человека и вещи в адыгских языках» и II. «Детерминативные суффиксы в адыгских языках». К книге приложены: 1) указатель слов, ос-

¹ См. А р н. Ч и к о б а в а, Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, Тбилиси, 1938; е о ж е, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942 на груз. языке; резюме на русск. языке. См. стр. 272—280). Этимология классных показателей дана также А. С. Чикобава в статье «Грамматические классы в истории картвельских языков и этимология классных показателей» («Сообщения АН Груз. ССР», т. V, № 4, 1944, стр. 453—454, на груз. языке).

нов и корней, 2) список сокращений и 3) список литературы на русском и зарубежных языках.

Необходимо предупредить читателя рецензируемой книги, что старые классные показатели (особенно в существительных) скрыты в окаменевшей форме. Естественно, что в книгах подобного типа — небольших по листажу, но очень богатых фактическим материалом, подаваемым чрезвычайно сжато, — автору не уйти от некоторых экскурсов, посвященных попутно возникающим вопросам, неразрывно связанным с особенностями материала или вызывающим разногласия между учеными. Так, этимологический анализ приведенных выше классных показателей влечет за собой ряд важных выводов: во-первых, деление на два класса осложнилось с течением времени подразделением класса человека на класс мужчины и класс женщины, так что получилось три класса¹; ср. аварск. *в-уго* (муж. р.) «я, ты, он есть» — I класс; *й-уго* (жен. р.) — II класс, выделившийся из III класса; *б-уго* — III класс (вещь). Этот класс П. К. Услар неправильно считал средним родом, полагая, что он совпадает с индоевропейским вещным, тем более что женщина незамужняя, лишенная свободы, уподоблялась вещи с префиксом *б-²*, как и животные. Во-вторых, важным в специфике иберийско-кавказских языков моментом является связь классных показателей с местоимениями и глаголами (например, *д* или *т* генетически связано с корнем личного местоимения 1-го лица мн. числа кабард. *да*, адыг. *тэ* «мы» как аффикс 1-го лица мн. числа глагола *-ды/тты*; ср. также корень местоимения 3-го лица мн. числа *d-ara*).

В иберийско-кавказских языках исторически было три спряжения: 1) классное (в аварском, андийском и других языках); 2) классно-личное (в абхазском, кистинском и других) и 3) личное (в адгских и картвельских языках). Эти три типа спряжения, отмечает автор (стр. 38), в иберийско-кавказских языках представляют собой три ступени развития спряжения глаголов в этих языках³. Большой интерес представляют критические замечания автора и других исследователей, цитируемых им (А. Н. Джавахишвили и С. Н. Джанашиа, А. С. Чикобава, В. Т. Топурия), на взгляды проф. Н. Ф. Яковлева, Д. А. Апхамафа и Г. Ф. Турчанинова; например, об аффиксе кабардинского языка *уэ-* (стр. 58—60); ср. также рассмотренные вопросы: о грамматических классах мужчин и женщин (стр. 60—62), о терминах родства (стр. 62—67), об отношениях основах в связи с критикой мнения Н. Ф. Яковлева (стр. 116—129), об окаменевших суффиксах и т. д.

В заключение нужно подчеркнуть, что автор удачно справился с поставленной нелегкой задачей: его книга написана в строго научном стиле, свободна от постановки недоказуемых гипотез; Г. В. Рогава, принадлежащий к школе А. С. Чикобава, всегда оперирует только языковыми фактами, хорошо подобранными и убеждающими читателя ясной и четкой аргументацией. Рассматриваемая монография — прекрасный образец правильной методики и методологии в сравнительно-историческом плане.

М. Я. Немировский

А. А. Цагарели. Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков. Под ред. [и с предисл.] А. Шанидзе. 2-е изд. — Тбилиси, 1957. 34 стр. («Труды Тбилисс. гос. ун-та им. Сталина», т. 67. Приложение).

Издательство Тбилисского государственного университета им. И. В. Сталина переиздало «Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков» профессора Петербургского университета А. А. Цагарели, существовавший на положении библиографической редкости, в последнее время почти недоступной специалистам (тираж литографированного издания 1872 г. составлял 47 экземпляров).

¹ См. Арн. Чикобава, К генезису второго грамматического класса в горских кавказских языках, «Сообщения АН Груз. ССР», т. III, № 4, 1942, стр. 379 (резюме на русск. языке).

² В. Т. Топурия, Грамматические классы и их экспоненты в лакском языке, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [АН Груз. ССР]», XII, Тбилиси, 1942, стр. 172 (на груз. языке; резюме на русск. языке).

³ См. Г. В. Рогава, К вопросу о переходе классного спряжения в личное спряжение в иберийско-кавказских языках, «Сообщения АН Груз. ССР», т. XIV, № 7, 1953; А. С. Чикобава, Категория грамматических классов и некоторые вопросы спряжения глаголов в грузинском языке, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», V, Тбилиси, 1953, стр. 62 (на груз. языке; резюме на русском языке); В. Т. Топурия, Глаголы с префиксальным *d-* в грузинском языке, «Труды Тбил. ун-та», XXV, 1943, стр. 148 (на груз. языке).

Исследование проф. А. А. Цагарели отражает целый этап в изучении грамматической структуры картвельской, или, по его терминологии, иберийской, лингвистической группировки Закавказья, в состав которой входят грузинский, мегрельско-чанский, или занский, и сванский языки. С целью «группировать наиболее выдающиеся этимологические явления» этих языков в обзоре дается критическое обобщение результатов, достигнутых картведистикой за весь предшествовавший период.

Работа начинается с критического замечания автора (аргументированного недостаточностью фактического материала, доступного науке того времени) по поводу попыток установления генетических связей картвельских языков с другими лингвистическими семьями. По мнению А. А. Цагарели, исследователи должны обратить особое внимание на бесписьменные картвельские говоры, «если желаем приобрести настоящее понятие о росте и развитии грузинского языка, не остановленного в диалектах вмешательством литературы» (стр. 10).

После анализа местоименных основ в картвельских языках автор формулирует основные положения, касающиеся глагольной структуры. Здесь устанавливается односложный характер корня глагола, наличие элементарного вида глагольной основы в форме императива, тенденция к бесследной утрате субъектного префикса 2-го лица и т. и. Далее фиксируется факт отсутствия категории грамматического рода в этих языках и прослеживаются аналогии в их системах склонения и принципах образования форм пассива. А. А. Цагарели вплотную подходит к выявлению исторических суффиксов детерминативов основ, подчеркивает роль префиксальной формы-и словообразования, кратко касается некоторых синтаксических проблем. Автор скептически относится к еще популярным в тот период индоевропейской и «туранской» теориям характера картвельской лингвистической модели, указывая на вполне оригинальный тип этой модели. Вместе с тем совершенно естественно, что в интерпретации некоторых наиболее сложных структурных моментов рассматриваемых языков, особенно комплекса вопросов, связанных с функционированием эргативной конструкции предложения, автору не удалось преодолеть общего уровня картведистики своего времени.

В противоположность как более ранним, так и некоторым более поздним обзорам аналогичного плана работа проф. А. А. Цагарели демонстрирует четкость методологических позиций автора, — солидного компаративиста, ориентированного к тому же в материале горных иберийско-кавказских языков. Ее новая публикация имеет большое значение, так как делает этот ценный труд, наконец, доступным для всех занимающихся проблематикой иберийско-кавказского языкознания и, вместе с тем, представляет несомненный исторический интерес: она восстанавливает приоритет А. А. Цагарели в констатации важных положений современной картведистики и, следовательно, делает очевидной его значительную роль в истории последней.

Г. А. Климов

G. Gougenheim, R. Michéa, R. Rivenc, A. Sauvageot. L'élaboration du français élémentaire. Étude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base. — Paris. 1956. 157 стр.

Французские ученые лингвисты и педагоги Ж. Гугенем, Р. Мишеа, Р. Ривенк и А. Соважо подводят итоги своей работы по составлению словарного и грамматического минимума французского языка¹, который по мысли авторов должен облегчить распространение французского языка за границей. Книга состоит из введения, четырех частей и приложений.

В первой части «История словарей минимумов» рассматриваются такие работы, как, например, бейсик-инглиш Ордена и Ричардса, словарь Уэста (*Defining vocabulary*), частотные словари Хенмона² и Вандер Беке³ и др. Основными недостатками указанных работ, по мнению авторов, являются преобладание в словарных минимумах книжных слов и вместе с тем отсутствие в них важных слов разговорной речи.

Во второй части «Частотность» дается обоснование списка слов, выделенных на основе критерия частоты их употребления, которая устанавливалась путем статистического исследования 163 текстов устной речи, записанных на магнитофоне в условиях, максимально приближенных к непринужденному разговору. Лица, речь которых

¹ «La français élémentaire», Paris, 1954.

² V. A. C. H e n m o n, A French word book based on a count of 400000 running words, Madison, Wis., 1924.

³ G. E. V a n d e r B e k e, French word book, New York, 1935.

записывались, принадлежали к различным слоям населения (студенты, инженеры, преподаватели, служащие, продавцы, рабочие, коммерсанты, крестьяне, домохозяйки и т. п.) из различных областей Франции. Тематика бесед была также самой различной: профессия, семья, друзья, путешествия, состояние здоровья, средства передвижения и др. В результате проведенного таким образом опроса в руках авторов оказалось 1090 страниц записанных текстов по 300 слов на страницу, всего 312 135 слов, из которых 7995 — различные лексические единицы. Из этих слов в список были включены только 1063 слова, которые встречались в текстах не реже 20 раз. В книге приводятся два варианта списка наиболее употребительных слов. В первом слова даются в порядке убывающей частотности. Этот список возглавляется глаголом *être*, обладающим самой высокой частотностью (14 083). Каждое слово сопровождается также цифрой, указывающей, в каком количестве текстов оно встречается. Во втором списке слова с теми же показателями частотности и встречаемости приводятся в алфавитном порядке. На основе анализа частоты употребления авторы приходят к выводу, что словами с наиболее высокой частотностью во французском языке являются служебные слова и глаголы *être* и *avoir*, которые так же часто употребляются как служебные слова. Из глаголов после *être* идут *avoir* с частотностью 11 552, *faire* (3174), *dire* (2391), *aller* (1876). Среди прилагательных наиболее частотными являются *petit* (836), *grand* (428), *bon* (334) и среди существительных *heure* (345), *jour* (338), *chose* (447). Оказывается, что слова с общим значением употребляются часто и в любых текстах, независимо от темы разговора.

Другое любопытное наблюдение заключается в том, что первые 38 слов, возглавляющие список, составляют около 50% любого разговорного текста. Вот эти слова в порядке их убывающей частотности: *être, avoir, de, je, il, ce, la* (article), *pas* (negation), *a, et, le, on, vous, un* (article), *ça, les* (article), *que* (conjunction), *ne, faire, qui, oui, alors, une* (article), *mais, des* (article indéfini), *elle, en* (préposition), *dire, y, pour, dans, me, se, aller, bien, du, tu, en*.

В третьей части книги, озаглавленной «Наличность», авторы указывают на недостаточность критерия частотности как основы для составления словаря-минимума, так как статистическое исследование частотности почти не дает конкретных общеупотребительных слов. Авторы предупреждают от смешения понятий «частотность» и «употребительность» слов. Конкретные слова обладают незначительной частотностью в связи с тем, что их употребление зависит от содержания речи, от темы разговора. В качестве примера авторы приводят следующие слова, которые оказались не включенными в список наиболее употребительных, но которые представляют собой общеупотребительные слова: *épicerie, allumette, autobus, boulangerie, cinéma, motocyclette, radio, téléphone, télévision, bébé, brigue, charrue, chèvre, chiffre* и др.

Авторы выдвигают критерий «наличности» слов (la disponibilité), который должен служить основой для включения общеупотребительных слов с малой частотностью в словарь-минимум. Степень наличности устанавливается способностью памяти быстро «распоряжаться» соответствующими словами. «Наличными» считаются слова, которыми говорящее лицо пользуется, не задумываясь. Это слова, которые как бы постоянно присутствуют в сознании говорящих.

Наличные слова, предназначенные для включения в словарный минимум, были определены путем опроса значительного числа учеников средних школ из различных частей Франции. Опрашиваемым предлагалось привести слова в связи с той или иной темой в порядке возникновения этих слов в памяти. Среди перечисленных слов преобладали слова с конкретным значением, главным образом существительные. Так, например, по теме «части тела» большинство опрошенных называли в первую очередь слова, *les yeux, les oreilles, le nez, le bras, les jambes, la main*; по теме «жилье» — *la fenêtre, la porte, le mur*. Глаголы, прилагательные, наречия и служебные слова приводились в редких случаях. Авторы приходят к выводу, что только сочетание принципов частотности и наличности может служить основой для создания словаря-минимума.

В четвертой части книги «Разработка элементарного французского языка» авторы излагают ход работы над составлением словарного и грамматического минимума на основе выдвинутых в предыдущих частях принципов. Из списка наиболее употребительных слов в словарь-минимум были включены только слова, которые встречаются не реже 29 раз во всех текстах. Кроме того, были исключены слова, которые встречались менее, чем в пяти текстах, независимо от их частотности (например, *précieux, préciosité, suédois*), слова, связанные с условиями опроса (например, *enregistrer, micro, accent*), слова фамильярно-бытовые и просторечно-грубые (*gosse, bouquin, vélo, copain, se foutre, truc*), синонимы, обладающие меньшей частотностью, и т. д. К словам, оставшимся в списке частотности (всего 700 слов), были присоединены слова, обладающие высокой степенью наличности, установленной путем опроса (см. выше). Далее, в список словарного минимума были внесены слова, имеющие общекультурное значение (*cinéma, culture, théâtre, esprit, musique, peinture, art, artiste, effet, justice, paix, poésie, progrès, sculpteur, vérité*), слова, относящиеся к гигиене и здравоохранению (*docteur, médecin, malade, blessure, propre, bain, brosse, peigne, rasoir, savon, se laver, nettoyer* etc.) и некоторые технические и административно-политические термины (*ci-*

seaux, charrue, clé, électricité, drapeau, frontière, gouvernement, loi, pays, congé, sataire syndicat, sécuritè, sociale, décret, préfet). Установленный таким путем словарь-минимум содержит 1368 слов, из них существительных 637 (46,5%), глаголов 322 (23,5%), прилагательных 94 (6,9%), служебных слов 248 (17,6%), наречий и прочих слов 37 (5,5%).

Грамматический минимум был установлен на основе анализа тех же текстов разговорной речи. За пределами грамматического минимума оказываются формы, характерные для письменной речи, как, например, *passé, simple, passé, antérieur*. Из относительных местоимений сохранились только *qui* и *que*.

Авторы пытаются установить коэффициент понимаемости (*coefficient de compréhension*) разработанного таким образом словарного минимума в текстах, относящихся к различным стилям. В текстах разговорной речи достигается до 90% понимаемости, в газетных статьях до 50%, в художественной литературе достигается до 65,75% реального понимания текста, в научной речи 16,38%.

В приложениях к книге приводятся тексты, адаптированные при помощи словаря-минимума, а также ряд текстов, записанных на магнитофоне в условиях непринужденной разговорной речи и послуживших основой для статистического исследования. Книга заканчивается списком библиографии.

3. П. Левит

Henri Frei. Le livre des deux mille phrases («Société de publications romanes et françaises», XL). — Genève, 1953. 92 стр.

Работа А. Фрея посвящена вопросу, который чрезвычайно важен для методологии языкознания: как следует подбирать материалы для лингвистических исследований, что считать достаточным и необходимым материалом?

До сих пор в языкознании не выработан четкий и строгий ответ на этот вопрос. Реальность, данная лингвисту, — это речь во всех ее многообразных проявлениях. А число фактов речи бесконечно велико. Не имея точных критериев для выделения тех или иных фактов, лингвисты часто выбирают свой материал произвольно, опираясь только на интуицию. Отсюда стремление собрать как можно больше фактов. При этом забывают, что любое конечное число фактов все равно мало по сравнению с бесконечностью речи. А нагромождение фактического материала обычно приводит к его неоднородности.

Разбирая семитомную грамматику Дамуретта и Пишона¹, А. Фрей справедливо отмечает, что ее огромный материал (34 000 примеров) обесценивается неоднородностью: здесь и проза, и стихи самых разных «периодов, авторов и стилей», речь горожан и крестьян, провинциалов и парижан, детей и стариков и т. д. На таком материале трудно обосновать четкую единую систему описания, так как здесь смешаны все стили и уровни языка («подсистемы общей системы»).

Достоинство книги А. Фрея в том, что, не вдаваясь в абстрактное теоретизирование, автор предлагает совершенно конкретный метод отбора фактов речи для исследования — так называемый «словарь фраз» — и дает результат его применения: «словарь фраз» французского языка, основанный на речи молодого парижанина.

Этот словарь представляет собой набор из 2000 фраз, произнесенных одним и тем же лицом в самых различных обстоятельствах и выражающих «самые банальные и самые обычные идеи» (стр. 13); это обрывки разговоров за едой, разговоров по поводу транспорта, газет, семьи, болезней, квартир и т. д. В целом, это — о д н о р о д н ы й образчик французской речи.

В основу словаря положен вопросник, аналогичный тем, которые издавна применяются диалектологами. А. Фрей прав, настаивая на широком применении того, что он называет «методом спровоцированного наблюдения» вообще в языкознании, а не только в диалектологии. Однако он подчеркивает, что в то время как диалектологические вопросники ориентируются на получение о т д е л ь н ы х нужных слов и форм, вопросник для «словаря фраз» должен давать некоторую с и с т е м у способов выражения, которым пользуются носители языка в своей повседневной жизни, и поэтому он должен охватывать основные сферы человеческого общения.

Вопросник, разработанный А. Фреем, был применен, кроме французского, еще для немецкого, английского и японского языков (из них опубликован французский «словарь фраз»). Собранный материал располагается по темам («Части тела»,

¹ J. D a m o u r e t t e e t É. P i c h o n, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, Paris, [1927—1943].

«Сон, усталость, отдых», «Кухня», «Еда», «Курение», «Утверждение и отрицание», «Музыка» и т. д.) — всего 150 тем, сведенных для удобства в 13 разделов. Автор рассматривает охват данного вопросника (а следовательно, и словаря) и классификацию тем не как окончательный результат, а как опытный вариант, подлежащий разработке и усовершенствованию.

Теоретическое значение работы А. Фрея состоит в том, что он заострил внимание на вопросе о выборе материала. Разумеется, вопрос не решен им окончательно. Так, например, в его словаре скудно представлена диалогическая речь и вовсе отсутствуют отрывки связного повествования, в то время как диалог и рассказ играют большую роль в человеческом общении. Можно оспаривать и полноту тематики и освещение отдельных тем. Разрабатывая мысли А. Фрея, еще придется решать вопрос об исчерпывающем охвате явлений речи (чего сам Фрей не сделал).

В этой связи интересна работа, начатая несколько лет назад видными французскими лингвистами А. Соважо и Ж. Гугенемом¹ с магнитофонными записями французской речи на улицах.

Книга А. Фрея является также ценным практическим пособием для изучающих французский язык: по «Словарю» Фрея можно узнать, что говорят французы, не услышав фразы собеседника, как выражают удивление, как говорят «воротник жмет шею» или «это написано в газете» и т. д. — сведения, которые не даются словарями другого типа.

И. А. Мельчук

¹ См. A. Sauvageot, L'investigation relative au français élémentaire, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», XI (années 1952—1953), Paris, 1954.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА АН СССР

По представлению Отделения литературы и языка Президиум Академии наук СССР принял постановление (№ 179 от 14 марта 1958 г.) «Об организации Института русского языка АН СССР на базе русских секторов Института языкознания АН СССР».

В постановлении указывается, что возросшее мировое значение русского языка и задачи дальнейшего подъема культуры русской речи вызывают необходимость более углубленного дифференцированного изучения русского языка в его современном состоянии и в его истории на широкой славистической базе.

В соответствии с постановлением перед Институтом русского языка АН СССР поставлены следующие задачи:

- а) сравнительно-историческое изучение славянских языков, преимущественно восточнославянских;
- б) изучение фонетического, грамматического и лексического строя древнерусского языка;
- в) изучение русских народных говоров и языка народно-поэтического творчества;
- г) исследование истории русского литературного языка с древнейшей поры до современности соотносительно с историей других славянских литературных языков;
- д) изучение строя современного русского литературного языка, закономерностей его развития, разработка принципов нормализации и упорядочения русского литературного языка;
- е) исследование языка русских писателей и литературных направлений XIX—XX вв., в первую очередь — языка советских писателей, теоретических вопросов стилистики литературного языка и языка художественной литературы;
- ж) разработка вопросов истории, теории и практики русской лексикографии и связанных с этим вопросов лексикологии;
- з) падеграфическое и лингвистическое издание памятников, разработка вопросов лингвистического источниковедения;
- и) подготовка исследований, посвященных истории русского языкознания.

В составе Института русского языка АН СССР образованы: Сектор сравнительного и исторического изучения славянских языков (с группой древнерусского словаря); Сектор диалектологии; Сектор истории литературного языка (с группой словарей писателей); Сектор современного литературного языка и культуры речи; Сектор языка художественной литературы; Словарный сектор (в Ленинградском отделении Института языкознания СССР); Сектор библиографии, источниковедения и издания памятников с Отделом рукописей; Лаборатория экспериментальной фонетики.

Директором института назначен акад. В. В. Виноградов.

В связи с созданием Института русского языка основные научные задачи Института языкознания АН СССР, как указывается в постановлении, заключаются в изучении языков народов СССР в их современном состоянии и истории (кроме русского), а также родственных им зарубежных языков; изучение романских и германских языков; разработка вопросов общего и прикладного языкознания.

Утверждена новая структура Института языкознания АН СССР, в состав которого входят: Сектор общего языкознания (с группой украинского и белорусского языков и группой балтийских языков); Сектор прикладного языкознания (с группой машинного перевода); Сектор тюркских языков; Сектор кавказских языков; Сектор иранских языков; Сектор финно-угорских языков; Сектор германских языков; Сектор романских языков и Редакционно-издательская группа, обслуживающая и Институт русского языка. Кроме того, в Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР входит Сектор индоевропейских языков, Сектор алтайских языков и Сектор падеоазиатских и самодийских языков.

Утверждены также новые составы Ученых советов обоих институтов.

ИЗУЧЕНИЕ СИБИРСКИХ ГОВОРОВ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Изучение русских говоров Сибири началось в Томском университете в 1946 г., когда доп. А. А. Сквордовой была организована первая диалектологическая экспедиция. Участники экспедиции обследовали старожильческие русские поселения, основанные в XVII—XVIII вв. вблизи г. Томска. Экспедиция показала различия между говорами старожилков и «новоселов» (поселенцев XIX—XX вв.). После ее проведения перед кафедрой русского языка были поставлены задачи монографического исследования старожильческих и более поздних говоров и создания атласа говоров Сибири.

С 1947 г. началось обследование населенных пунктов по р. Оби и ее притокам. С этого времени внимание работников кафедры было обращено не только на старожильческие говоры, но и на говоры «новоселов». Обследовались как исконно русские поселения, так и те, в которых первоначально было тюркское население или жили селенцы. С 1949 г. для выяснения места говоров Томской области среди других говоров Западной Сибири радиус диалектологической работы кафедры русского языка был расширен за пределы Томской области. Были обследованы населенные пункты по старому водному пути с Иртыша на Енисей (часть Тюменской области и Красноярского края), а также говоры Кемеровской и Новосибирской областей, говоры «новоселов» орловцев Новосибирской области, говоры старожилков некоторых поселений Омской области.

В настоящее время кафедра почти закончила обследование древних населенных пунктов Томской области. Обследованы старейшие поселения XVI в.— Нарым (б. Нарымский острог) и с. Кетское (б. Кетский острог); из 33 русских поселений XVII в. диалектологические экспедиции были в 28. Всего кафедрой обследовано 192 населенных пункта Западной Сибири. Составлено 99 карточек по вопросам АН СССР.

По имеющимся диалектологическим материалам кафедры написано несколько кандидатских диссертаций. В диссертациях В. А. Сенкевича «Говор Парабельского района Томской области» (1950) и В. В. Палагиной «Современный говор старожильческого населения западной части Томского района Томской области» (1951) дается описание русских говоров, прослеживаются пути их изменений. В диссертациях П. Г. Черемисиной «Современные говоры по нижнему течению р. Ия и их истории» (1949) и М. Г. Свиридовой «Орловские говоры на территории Кыштовского района Новосибирской области» (1953) анализируются изменения южновеликорусских говоров в окружении старожильческих сибирских. В 1957 г. закончена диссертация О. И. Блиновой «Производственная лексика с. Вершинино Томского района Томской области», посвященная вопросам сложения и изменения производственной терминологии. Печутся кандидатские диссертации: Ф. П. Ивановой «Бытовая лексика говоров Томской области», О. М. Соколовой «Глагольная система говоров Томской области», С. И. Ольговича «Пути освоения иноязычных слов старожильческими русскими говорами».

Опубликован ряд статей, написанных по диалектологическим материалам кафедры русского языка — А. А. Сквордовой «Основные задачи изучения русских говоров Западной Сибири»¹, В. В. Палагиной «Фонетические особенности говора дер. Заливцо Тарского района Омской области»² и «Синтаксические особенности говора западной части Томского района»³, В. А. Сенкевича «Заметки о говоре Парабельского района Томской области»⁴, М. Г. Свиридовой «Орловские говоры на территории Новосибирской области»⁵, Е. П. Молчановой «Фонетическая система старожильческого говора южной части Томского района Томской области»⁶, К. М. Браสลавец «Особенности вокализма говора д. Усть-Речка Колпашевского района Томской области»⁷ и др.

Исследования показывают, что старожильческие говоры нашей области представляют собой определенное единство. Сложившись на базе северновеликорусских говоров⁸, они развили адекватное произношение. Многие говоры Томской области утратили типичные северновеликорусские черты (постпозитивный член, особые безличные конструкции, деепричастное сказуемое, совпадение твор. падежа мн. числа существительных с дат. падежом и др.), многие приобрели новые особенности (например, заимствовали у абортенгов Сибири неславянскую лексику, типа *йбальджа* (часть «черка-

¹ «Труды Томск. ун-та», т. 129, 1955.

² Там же.

³ «Уч. зап. [Томск. ун-та]», № 19, 1954.

⁴ Там же.

⁵ «Труды Томск. ун-та», т. 129, 1955.

⁶ «Уч. зап. [Кемеровск. пед. ин-та]», вып. 1, 1956.

⁷ «Уч. зап. [Южно-Саялинск. пед. ин-та]», т. 1, 1957.

⁸ Архивные материалы, таможенные и окладные книги первой половины XVII в., хранящиеся в научной библиотеке Томского университета, подтверждают положение о том, что первые насельники территории, соответствующей современной Томской обл., были северновеликорусами.

на» — ловушки на белку, колонка и других мелких зверей), *пльнджа* (1. болото, 2. заливной луг), *чарым* (наст), *ютуш* (горизонтальная жердь в «запоре» — рыбозаградительном сооружении), *камб* (приманка из живой рыбы) и т. п.]

Наряду с изучением различных сторон сибирских говоров кафедра русского языка ведет работу по составлению диалектного словаря. Лексические материалы собираются по специальным тематическим вопросам преподавателям кафедры (рыболовецкая, охотничья терминология, терминология ямщины, кедрового промысла, нетерминологическая лексика и т. п.). Сейчас авторский коллектив из пяти человек (доц. В. В. Палагина и ассистенты О. И. Блянова, О. М. Соколов, Ф. П. Иванова, М. Н. Вьюкова) работает над составлением словаря говоров Томской области. В настоящее время в картотеке словаря насчитывается более 25 тыс. карточек, составлен словарь будущего словаря, охватывающий около 5 тыс. слов, написан первый вариант некоторых словарных статей. Идет сбор материалов по разделам, слабо представленным в словнике (диалектная фразеология, акцентологические диалектизмы, слова с лексикализованными фонетическими особенностями и др.). Предполагается приступить к сбору местных топонимов.

В. В. Палагина

О РАБОТЕ НАД СЛОВАРЯМИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА XVI И XVII ВВ.

Для польского языкознания после второй мировой войны характерно интенсивное развитие исследований в области лексикологии. Это проявляется не только в продолжении трудов, начатых в довоенное время (Словарь древнепольского языка, охватывающий лексику до 1500 г., тетради 1—10, 1953—1957 гг.; начатый в 1930 г. Словарь древнепольских личных имен, работу над которым и теперь ведет проф. В. Ташицкий; готовящийся с 1920 г. под руководством проф. М. Плезы Словарь средневековой латыни в Польше, тетради 1—7, 1953—1957 гг.), но и в организации новых подобных изданий: Словарь польского языка XVI в., Словарь польского языка XVII в. (под руковод. проф. Г. Конечной), Словарь современного польского языка (под ред. проф. В. Дорошевского), Словарь языка Мицкевича (под ред. С. Храбца и проф. К. Гурского). Кроме того, следует упомянуть о подготовляемом в Кракове под руководством проф. К. Нитына Словаре польских диалектов, Общеславянском словаре (под руковод. проф. Т. Лера-Славинского и проф. Ф. Славского), а также Словаре силесских фамилий проф. С. Роспонда (готовится во Вроцлаве).

Работу над Словарем польского языка XVI в. начал в 1949 г. Институт литературоведческих исследований ПАН (Instytut Badań Literackich) в четырех коллективах: в городах — Краков (проф. В. Ташицкий), Познань (проф. В. Курашкевич), Торунь (проф. С. Храбец), Вроцлав (проф. С. Бонк и проф. С. Роспонд). Общим руководителем и координатором работы является проф. М. Р. Майенова. Словарь этот охватывает промежуток времени с 1501 до 1600 г. и опирается прежде всего на опубликованный материал и только в незначительной мере учитывает рукописные источники. Материалом для него послужила научная литература XVI в., описательная и повествовательная проза, трагедии, поэмы, религиозная, назидательная, поучительная и политическая литература, сеймовые дневники, цутовые записки, судебные роты, молитвенники и псалтыри. Представлена также поэзия во всех ее видах: лирическая, панегирическая, поучительная и сатирическая, эпиграммы (так называемое *fraszki*), драмы и диалоги. Учитываются библейские переводы и словари XVI в. Этот состав источников гарантирует полный охват словарика исследуемого времени с максимальным различием значений.

Относительно способа сбора лексического материала можно сказать, что вначале полная выборка была произведена только из мелких произведений (все слова во всех контекстах), из более же обширных выписывался материал лишь на половину или на $\frac{1}{5}$ (из каждой второй или пятой страницы). Таким образом, было расписано некоторое количество памятных, но впоследствии метод работы был изменен, и теперь из всех источников, несмотря на объем, делается полная выборка. Только в этом случае имеется полная гарантия, что не будут пропущены редкие слова и значения. Кроме того, полный материал дает возможность применить статистику форм и значений.

Первая стадия работы (сбор материала) будет окончена до 1959 г. (в итоге это даст свыше 7 млн. карточек для 35 тыс. заглавных слов), что позволит перейти ко второй стадии, т. е. к редактированию отдельных словарных статей.

Два года тому назад был издан макет словаря («Słownik polszczyzny XVI wieku», Wrocław, 1956, стр. LIX+118), содержащий его характеристику, инструкцию для сбора материала, редакционную инструкцию, перечень источников, а также несколько

ко десятков словарных статей. Каждая статья содержит заглавное слово, его разновидности, статистику форм и значений и цитаты из «Словаря древнепольского языка». В построении выделяются три части: грамматическая, семантическая и фразеологическая. Все они снабжены обильным материалом с числовым обозначением всех имеющихся в картотеке форм и значений. Опираясь на накопленный опыт, можно предполагать, что словарь будет готов через 15 лет, т. е. в 1972—1973 гг.

Упомянутый нами макет словаря стал предметом особого обсуждения, организованного Институтом литературоведческих исследований ИАН 8 января 1958 г. в Варшаве (с докладами проф. М. Р. Майеновой и проф. С. Урбанчика). Предварительно были распространены полученные редакцией отзывы зарубежных ученых. В дискуссии, продолжавшейся весь день, принимали участие многие польские и зарубежные ученые (среди них В. Дорошевич, К. Гурский, С. Храбец, П. Зволинский, Ф. Марш, И. Бауэр), причем особенного внимания заслуживает замечание проф. Е. Куриловича о полисемии. Все высту­павшие в прениях подчеркивали огромное значение этого словаря, учитывая переломный характер XVI в. в истории развития польского языка. Состояние работы и применяемые методы были признаны удовлетворительными и гарантирующими высокую научную ценность будущего словаря. Его задачи — послужить не только польской исторической лексикографии, истории и исторической грамматике польского языка, — т. е. лингвистике, но и истории в самом широком смысле этого слова.

М. Карась

Сектор истории польского языка — один из трех секторов Института языкознания Польской Академии наук в Варшаве — был организован в середине декабря 1954 г. Работа сектора ведется в нескольких направлениях, однако основной задачей в настоящее время является подготовка словаря польского языка XVII в. (точнее говоря, XVII и первой половины XVIII в.). Этот словарь должен стать связующим звеном между словарями, составление которых началось раньше: словарем древнепольского языка до XV в. включительно (работа ведется в Кракове), словарем XVI в. (работа ведется в Институте литературных исследований), с одной стороны, и составляющимся в Варшаве словарем современного польского языка, который охватит период начиная со второй половины XVIII в., с другой. Кроме того, сектор подготавливает издание словарей языка отдельных наиболее крупных писателей XVII в. Одним из первых словарей такого типа будет словарь языка Яна Хризостома Пасека.

Словари языка писателей XVII в. нужны потому, что словарь Кнapiишa (Кнapiского), изданный в Польше в 1621 г., отражает собственно говоря лексику конца XVI в. Польские лингвисты часто ощущают в своей работе отсутствие какого-либо документального материала по истории отдельных слов XVII в. Словарь языка Пасека, который будет содержать около 8 тыс. словарных статей, в принципе не встречающихся в словаре Кнapiишa, а также другие словари того же типа существенным образом дополняют имеющийся пробел.

Опыт лексикографической работы, накопленный при издании словарей языка отдельных писателей XVII в., будет, разумеется, широко применен в дальнейшем при составлении полного словаря общенародного языка этой эпохи.

В работе над словарями всегда используются либо автографы, либо — если их нет — наиболее древние копии или первые печатные издания. Микрофильмы или фотоконии рукописей (или первых печатных изданий) используются при переписке текста на матрицы и размножаются в необходимом для выборки отдельных слов количестве экземпляров. Именно данный метод переноса текста на матрицы (техника эта оказалась не более дорогой, чем какая-либо другая) позволил параллельно с лексикографической картотеккой создать также «флексионную» картотеку. Мы, кроме того, предполагаем, что, опираясь на опыт нескольких лет работы над лексикографической и «флексионной» картотекками, мы сможем в 1958 г. начать работу уже в трех направлениях и по методу словарей «атего» сделать попытку подготовить параллельно также материалы к индексам по словообразованию.

До сих пор еще не совсем ясны методы составления синтаксической и фразеологической (или синтаксическо-фразеологической) картотеки. Мы предполагаем, что ознакомление с применяющейся в СССР методикой синтаксических исследований поможет разрешить ряд затрудняющих нас в этой области вопросов.

Приведем несколько цифр и пояснений, которые касаются уже имеющихся результатов нашей работы. У нас выработаны соответствующие инструкции (лексикографическая, «флексионная», фразеологическая и инструкции по обработке словарных статей), обработан проект канона источников; кроме того, мы переписали, прокорректировали и перепечатали около 240 тыс. карточек. При выписке вплоть до последнего времени мы давали полную документацию словарной статьи, полагая, что в словарях языка отдельных писателей все примеры будут даны со ссылкой на источники. 65 тыс.

карточек уже снабжены символами флексий. В течение этого года подготовлена первая редакция — 1 тыс. словарных статей для словаря языка Пасека. Месячный план каждого нашего сотрудника предполагает в среднем выписку материала для 15 матриц и подготовку первой редакции 16 словарных статей. Кроме того, сотрудники ведут научную работу, используя собранные нами материалы. Создают небольшие по объему монографии по польскому языку XVII в. Часть этих работ уже напечатана или будет напечатана в ближайшее время в журнале «Poradnik Językowy». Наши материалы используют также студенты Варшавского университета, когда пишут курсовые или дипломные работы.

С. Шлиферштейн

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕСТЬ 40-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

11 января 1958 г. в Варшаве состоялось научное заседание Комитета языкознания, посвященное 40-й годовщине Октябрьской революции. В этом заседании, кроме членов комитета, принимали участие многие научные работники вузов и научно-исследовательских институтов Польши. Присутствовали также ученые многих славянских и неславянских стран, находившиеся в Варшаве по случаю заседания Международного комитета славистов в связи с подготовкой к конгрессу в Москве.

Программа научного заседания содержала следующие доклады, посвященные развитию и достижениям советского языкознания: проф. В. Дорошевский (Варшава) «О советской лексикологии»; проф. Вл. Курашневич (Познань) «О грамотах на бересте» (доклад не читался из-за болезни автора); проф. Яблоўска-Обрембска (Варшава) «О состоянии работ над диалектологическими атласами в Советском Союзе»; проф. Эд. Штибер (Варшава) «О труде проф. Р. И. Аванесова „Фонетика современного русского литературного языка“».

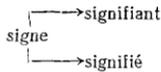
В докладе проф. В. Дорошевского были представлены развитие советской лексикологии, ее исследовательские методы, одновременно показана ее тесная связь с теоретическими достижениями дореволюционного русского языкознания (Срезневский, Шахматов), отмечено большое значение трудов С. П. Обнорского, В. И. Чернышева, Л. В. Щербы, Е. С. Истриной и В. В. Виноградова. Главная задача, вставшая перед советской лексикологией, — работа над словарями языков различных народностей СССР, которые только в послереволюционное время смогли во всей полноте пользоваться собственным языком в печати, науке и литературе. Отсюда вытекала необходимость работ над двуязычными словарями. С другой стороны, не были оставлены работы и над одноязычными словарями. Важным достижением в этой области, по мнению докладчика, являются словари Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, академический «Словарь современного русского литературного языка», а также «Словарь языка Пушкина».

Проф. А. Яблоўска-Обрембска подробно осветила историю диалектологических исследований в Советском Союзе, обращая особое внимание на работы по составлению диалектологических атласов. Работы эти охватывают прежде всего русские говоры, но одновременно ведутся исследования в области украинских и белорусских диалектов. Подготовительная стадия работы дала возможность воспитать соответствующие научные кадры, усовершенствовать исследовательские методы и способы собирания материалов. Но ряду русских и белорусских говоров сбор материалов, собственно говоря, окончен. В конце прошлого года вышел из печати первый том атласа, который охватывает говоры на юго-восток от Москвы («Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», под ред. Р. И. Аванесова) и содержит 200 карт (главным образом, грамматических), отражающих возникшую в процессе исторического развития этой части России языковую дифференциацию. Данные, зафиксированные атласом, имеют существенное значение для истории русского языка.

Доклад проф. Э. Штибера был посвящен подробному критическому разбору книги Р. И. Аванесова. Докладчик оценил ее как большое достижение советского языкознания. На первый план выдвигается методологический аспект этой работы. Она соединяет достижения русского языкознания с достижениями других языковедческих школ, серьезно способствуя дальнейшему развитию фонологических исследований.

В дискуссии, которая развернулась после упомянутых докладов, обсуждалась исключительно работа проф. Р. И. Аванесова. В ней принимали участие проф. Е. Куршилович (Краков), проф. Р. Якобсон (Гарвард, США) и проф. В. Дорошевский (Варшава). Книга проф. Р. И. Аванесова была оценена как большое достижение советского языкознания в области фонологии. В обсуждении подчеркивались прежде всего ее значительные методические достоинства, а также постановка

некоторых отдельных фонологических вопросов русского языка. Широким признанием, например, пользовалось толкование фонемы как социально используемой единицы. Вроде такой подход является продолжением взглядов Бодуэна де Куртэна (а позже и Ф. де Соссюра, познакомившегося с бодуэновскими научными достижениями казанского времени, свободными от психологических наслоений). Проблема фонетической (или фонологической) единицы не была, однако, достаточно ясно освещена и у Ф. де Соссюра (З. Штибер, В. Дорошевский), поскольку неизвестно, как следует толковать языковой знак в его схеме:



Разрешение этой основной фонологической проблемы очень важно. По мнению Бодуэна де Куртэна и де Соссюра, фонемы сохранялись в памяти, другие же ученые (например, Блумфилд) считают их социально используемыми единицами. К этому мнению склоняется также и В. Дорошевский, выдвигая как главный признак фонемы ее постоянную актуальность, а не потенциальность. Именно последствием актуальности является ее изменчивость. Связь советской фонологии с теориями Бодуэна де Куртэна видна также в отношении к морфемам. По Аванесову, учение о фонемном ряде включается в фонологию. При этом оппозиции типа $k : \check{c}$ (*рука : ручка*), не обусловленные в современном языке фонологически, выходят за пределы фонологии. Конечно, надо принимать во внимание оба аспекта (Е. Курилович, Р. Якобсон), как полагает Аванесов и как требуют и другие языковеды (например, Блумфилд). Для Бодуэна де Куртэна оппозиция $\delta : m$ (*еда : ема*) — это варианты одной и той же фонемы. В тесной связи с этой проблемой остается открытым поставленный проф. Р. И. Аванесовым и выдвигаемый в дискуссии вопрос так называемого фонемного ряда. По мнению Р. И. Аванесова, фонемный ряд — это звено между фонемой и морфемой. В книге Р. И. Аванесова читаем: «Фонемный ряд как бы вбирает в себя все несущественное для морфемы как значимой единицы, все внешнее, позиционно обусловленное и является, таким образом, своеобразным мостом между звуковой оболочкой языка, содной стороны, и грамматическим строем и словарным составом, с другой» (стр. 32). Так, например, в русском языке фонемный ряд o, Λ, \check{y} вытекает из позиционных изменений сильной фонемы o , подобно δ, δ', t по отношению к δ — *еда, еды, еда'е, еда'ды, ема*. Установление и принятие таких рядов (опозиций, вариантов) позволяет утверждать, что во всех приведенных выше формах имеется одна и та же морфема *вод* — с двумя рядами фонем o, Λ, \check{y} ; δ, δ', t , причем различная реализация главной фонемы (o, δ) обуславливается впоследствии различными их позициями, другой фонетической средой. С семантической точки зрения варианты играют ту же самую роль, что основная фонема, они не вносят в морфему никакого нового содержания. Кроме того, надо сказать, что этот ряд не всегда должен содержать основную фонему — иногда выступают только варианты, например, Λ, \check{y} — *т'а'м'а'р, т'ы'л'а'р'б'н'ьк*, и тогда мы имеем как будто бы редуцированные единицы, «так сказать, низшего ранга» (стр. 33).

Использование понятия фонемного ряда очень важно при применении разного рода транскрипций (В. Дорошевский), так как делает ненужным выделение этих различных вариантов при морфологическом анализе.

Проблема фонетических транскрипций — второе важное достижение работы Аванесова. Кроме З. Штибера, вопрос этот затронул Р. Якобсон, констатируя, что предлагаемая проф. Р. И. Аванесовым тройная система транскрипции отражает три разных исследовательских подхода. Всякая запись отражает отношение наблюдателя к предмету. Фонетическая запись отражает все без отбора и различия, отношение же фонетиста к звучащей речи, но Якобсону, соответствует отношению лица, которому известен шифр, но не известен ключ. Фонолог, напротив, знает ключ и может говорить, но он не всегда сумеет отождествить отдельные реализации, не сумеет точно подобрать фонемы. Слыша слово *ром*, он не знает, есть ли это *род* или *ром*. Первый подход говорящего, второй — слушателя. Третий, наконец, — это позиция активного деятеля. Он не только говорит, знает фонемы, но и умеет их применять. Знает, в каких позициях звуки *m, \delta* могут сливаться. В таком случае говорящий оперирует морфемами и всякие варианты сводит к основной фонеме, согласно определенным правилам, свойственным данному языку. Эти три рода подхода к языку нуждаются в разных способах записи. Отсюда тоже вытекает необходимость разграничения этих различных записей.

Отмечалась также правильность интерпретации ударения как словесного фактора, не связанного с фонемами. Но это отнюдь не значит, что исследование в области ударения надо исключать из фонетического описания, из фонологической системы. Не менее важным является также описание морфологических типов и определенных мест, в которых можно установить точные правила употребления ударения.

Что касается исходного пункта фонологического анализа, то им могут быть слова, но нельзя пренебречь исследованием морфем, так как только в этом случае можно более точно определить взаимное отношение некоторых фонем. Например, русские *и, ъ* являются самостоятельными фонемами, но с точки зрения структуры морфемы можно их рассматривать как комбинаторные варианты: *л'ис' [ǐ]и // л'ис' [ǐ]ѣ*.

При обсуждении докладов наибольший интерес вызывали проблемы фонологии и ее отношения к фонетике и морфологии. Четко была подчеркнута связь фонетического и фонологического (функционального) описания, как неотъемлемых частей лингвистического анализа, дающая единственную возможность полного исследования языка, ибо в системе языка нельзя отделять материю от ее проявления. Всякая же крайность в этом отношении скрывает сущность языковой структуры.

М. Карась

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С каждым годом в нашей стране возрастает количество литературы, переводимой на русский и другие языки народов СССР. Неуклонно повышается качество переводов. Однако на этом общем фоне успехов советских переводчиков продолжает оставаться неудовлетворительным положение с транскрипцией иностранных имен.

Вряд ли есть нужда приводить примеры неправильной транскрипции, встречающейся в нашей переводной литературе. Даже в хороших переводах с наиболее распространенных европейских языков до сих пор встречаются написания имен, которые свидетельствуют о недостаточном внимании переводчиков и издательств к этому вопросу.

Особенно недопустима неверная транскрипция в различных географических изданиях, атласах, картах, лонжах, что, к сожалению, тоже имеет место.

Крайне неприятно видеть, как создаются неправильные традиции при переводах с языков, литература которых до недавнего времени еще плохо была известна нашему читателю. Ведь если все мы свыклись с транскрипцией *Гейне*, то совершенно не оправдано создание неточных передач иностранных имен в тех случаях, когда традиции еще нет.

О невнимании к проблемам транскрипции свидетельствует то обстоятельство, что, в общем, каждое издательство практически руководствуется своими принципами. В тех же издательствах, где имеются соответствующие инструкции по транскрибированию иностранных имен, эти инструкции нередко бывают не вполне точными.

Представляется, что разумным выходом из создавшегося положения было бы создание единых всесоюзных правил транскрибирования иностранных имен, составленных и широко обсужденных специалистами, изданных после этого типографским способом и принятых в качестве обязательных для всех издательств СССР. Для наиболее распространенных языков со сложной орфографией (например, английского), по-видимому, было бы целесообразным издать также списки наиболее часто встречающихся имен, транскрипция которых в силу нечеткости правил орфографии представляет затруднение. Поскольку, разумеется, эти списки не могут включать в себя всех возможных в издательской практике случаев, было бы, на наш взгляд, оправданным создание своего рода комиссии по вопросам транскрипции, состоящей из специалистов по различным языкам, в которую издательства могли бы обращаться в спорных или неясных случаях.

В. П. Берков

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19 февраля 1958 г. на заседании Ученого совета филологического факультета МГУ состоялась защита докторской диссертации О. С. Ахмановой «Общая и русская лексикология». О. С. Ахманова во вступительном слове сказала, что ее работа, имея общезыковедческий характер, ставит своей целью исследование и уточнение основных категорий лексикологии, к которым она относит проблемы «отдельности» и «тождества» слова. Исследованию «отдельности» слова была посвящена первая часть работы О. С. Ахмановой, утвержденная к печати (1954 г.) Ученым советом Института языкознания АН СССР и частично опубликованная в отдельных статьях.

В представленной же в качестве диссертации книге¹ исследуется вторая проблема — «тождества», причем изложение ее расчленено на три главы, в которых рас-

¹ О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957.

считаются виды варьирования слова: 1) лексико-семантическое (и омонимия как предел такого варьирования); 2) лексико-фразеологическое (и фразеологическая единица); 3) фонетическое и морфологическое (и синонимия).

Такое направление работы, указывает О. С. Ахманова, было определено исследованиями учителя диссертантки — проф. А. И. Смирняцкого, который, в свою очередь, исходил из положений известной работы акад. В. В. Виноградова «О формах слова».

Возможность определения омонимии как предела варьирования слова (также впервые данное В. В. Виноградовым) и была принята О. С. Ахмановой в основу построения ее книги.

В диссертации имеется еще отдельная часть, посвященная стилистической дифференциации слов, где дана классификация основных стилистических типов слов на материале русского языка; там же предложена и система основных понятий лингвистилистики как отдельной лингвистической дисциплины.

Официальные оппоненты проф. Е. М. Галкина-Федорук, проф. Р. А. Будагов и проф. А. Б. Шапиро единодушно характеризовали представленное исследование как новый вклад в общую лексикологию, как работу, вполне отвечающую требованиям, предъявляемым к докторской диссертации. В своих выступлениях оппоненты затронули также ряд общетеоретических и частных вопросов, поставив их на обсуждение в порядке «научной полемики». Так, Р. А. Будагов, отметив большое теоретическое значение диссертации, остановился, в частности, на проблеме «влияния языка». Оппонент заявил, что он не возражает против установления О. С. Ахмановой двух основных групп структурных различий между языками: 1) различий, не влияющих на мышление и не связанных с ним (например, «75» в разных языках связано то с десяткой и семеркой, то с другими числами), 2) различий, не безразличных для мышления (ср., например, разграничения в понятиях «рука» и «нога» в языках германских и романских и неразграничения в языках славянских). Однако Р. А. Будагов предложил еще одну (третью) группу — «отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности», — еще более, чем первая и вторая группы, связанную с мышлением.

А. Б. Шапиро отметил, что О. С. Ахманова правильно указывает на разность содержания, вкладываемого учеными (и не только лингвистами) в слова *значение* и *семантика*. Но сам автор диссертации, однако, говорит А. Б. Шапиро, неоследователен в этой терминологии. Не до конца убедительной считает оппонент и критику С. О. Ахмановой взглядов Гумбольдта и неогумбольдтианцев.

В качестве неофициального оппонента выступил проф. В. А. Звегинцев, который, также присоединившись к общей весьма положительной оценке диссертации, особо остановился на проблеме влияния языка на мышление (см. работы Сеняра и особенно Уорфа — в его крайних выводах). В. А. Звегинцев подчеркнул, что язык способен оказывать влияние на нормы поведения (для этой цели могут служить и стилистические средства языка). Возражая Р. А. Будагову, В. А. Звегинцев отметил, что экспрессивные и эмоциональные элементы включать в значение слова нельзя. Значения слов, говорит В. А. Звегинцев, определяются тремя факторами — предметом, понятием отдельного предмета и системой языка. Эти факторы не могут подпадать под влияние эмоциональных элементов; последние всегда связаны с большинством слов, но это не значит, что они входят в значение слов.

После ответа диссертантки официальным оппонентам и (отдельно, как полагается теперь по уставу) оппоненту неофициальному Ученый совет филологического факультета МГУ высказался за присвоение О. С. Ахмановой искомой степени доктора филологических наук.

21 февраля 1958 г. в Институте языкознания АН СССР состоялась защита докторской диссертации Н. А. Янко-Триницкой на тему «Возвратные глаголы в современном русском языке». В задачу представленного к защите исследования входило рассмотрение семантических отношений, существующих между соотносительными возвратными и невозвратными глаголами в современном русском литературном языке и одновременно с этим выяснение значения аффикса *-ся* и тех условий, которые определяют разнообразие значений отдельных разрядов возвратных глаголов. В диссертации была предложена классификация возвратных глаголов, основанная на сопоставлении значения возвратных глаголов со значением производящих невозвратных глаголов. Детальный анализ значений отдельных разрядов и типов возвратных глаголов лег в основу содержания работы, состоящей из введения, пяти глав и заключения.

В своем вступительном слове Н. А. Янко-Триницкая коснулась упомянутой выше основной задачи исследования, подчеркнув при этом тот факт, что проблема изучения возвратных глаголов и значения аффикса *-ся* в современном русском языке — это проблема глагольного словообразования, а аффикс *-ся* — аффикс словообразовательный.

Н. А. Янко-Триницкая подробно остановилась на классификации прямо-сопоставимых возвратных глаголов (многоголов, основы которых встречаются в современном языке и без частицы -ся).

Официальные оппоненты Н. А. Янко-Триницкой проф. Е. М. Галкина-Федорук, проф. П. С. Кузнецов и проф. А. Б. Шапиро высоко оценили научные достоинства диссертации. Согласившись с предложенными общими принципами изучения возвратных глаголов и с основами их классификации, они высказали ряд замечаний, касающихся отдельных положений работы, частных принципов классификации, подачи и объяснения материала.

Оппоненты возразили против данного в диссертации решения проблемы отдельности слова (Е. М. Галкина-Федорук и П. С. Кузнецов), поставили в упрек диссертантке отказ от исторического объяснения частицы -ся (Е. М. Галкина-Федорук) и слишком широкое толкование страдательности в русском языке (А. Б. Шапиро), указали на недостаточность освещения употребительности страдательных глаголов совершенного вида по временам (П. С. Кузнецов), на неубедительность изложения значения включенного объекта в невозвратных глаголах, в которых, по мнению А. Б. Шапиро, можно усматривать значение свойства, общности или постоянства действия, а также указали на недостаточную доказанность утверждения продуктивности образования страдательных глаголов (Е. М. Галкина-Федорук).

В заключительном слове Н. А. Янко-Триницкая признала правильность отдельных возражений оппонентов и уточнила некоторые затронутые ими положения своего исследования.

Ученый совет Института языкознания АН СССР высказался за присуждение Н. А. Янко-Триницкой искомой степени доктора филологических наук.

21 марта 1958 г. на заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялась защита диссертации Н. Ю. Шведовой «Очерки по синтаксису русской разговорной речи. (Вопросы строения предложения)», представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук.

Материалом исследования Н. Ю. Шведовой послужили собственные наблюдения автора над живой речью и произведения русской художественной литературы. Разговорная речь рассматривается Н. Ю. Шведовой как особая функциональная разновидность литературного языка, функционирование которой характеризуется — речи письменной. Синтаксис разговорной речи имеет свою систему норм; для разговорной речи характерна строгая обязательность употребления готовых языковых формул, которые используются непосредственно в процессе говорения, не подвергаясь предварительному отбору; определяющее значение для многих синтаксических построений разговорной речи имеет момент лексической их ограниченности. Объектом изучения в работе являются предикативно-значимые построения. Построения разговорной речи образуют, по классификации автора, четыре большие группы: 1) построения, представляющие собою разного вида соединения полнозначных слов; 2) построения с частями и с модальными словами, функционально сближающимися с частями; 3) построения с междометиями и междометными сочетаниями; 4) фразеологизированные построения. Описание каждой из этих групп посвящена особая глава; отдельно рассматриваются строящиеся на основе лексического повторения вторые реплики диалога.

В диспуте, помимо официальных оппонентов — проф. Р. И. Аванесова, проф. Р. А. Будагова и проф. В. П. Сухотина, выступали также ст. научн. сотр. Б. В. Горюнг, проф. А. Б. Шапиро, проф. П. С. Кузнецов и доц. О. М. Барсова.

Основные возражения официальных и неофициальных оппонентов сосредоточились на проблемах модальности и предикативности, интонации разговорной речи, функции частиц и междометий как строевых элементов предложения. В своей работе Н. Ю. Шведова принимает существующее в науке широкое и недостаточно четкое понимание категорий модальности и предикативности и характера их взаимоотношения друг с другом (на это указывали в своих выступлениях Р. И. Аванесов, В. П. Сухотин, А. Б. Шапиро); вызывает сомнение проводимое автором разграничение объективной модальности и модальности субъективной (Р. И. Аванесов, А. Б. Шапиро). Призывая отказ автора диссертации от специального исследования интонации синтаксических построений разговорной речи допустимым и закономерным, оппоненты подчеркнули необходимость изучения вопроса о взаимоотношении грамматических и интонационных факторов (Р. И. Аванесов, Р. А. Будагов) и указали на то, что собственно лингвистическая, объективная сторона интонации вполне может быть опознана при изучении письменного текста методом простого наблюдения (Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов). Была отмечена спорность положений автора об отсутствии у частиц, взятых вне пред-

ложения, собственных лексических значений (Р. И. Аванесов, Р. А. Будагов, А. Б. Шапиро) и о конструирующей роли частей и междометий в образовании предикативно-значимых построений (Р. И. Аванесов, А. Б. Шапиро).

В то же время оппоненты были единодушны в своей высокой оценке представленной к защите диссертации. Монография Н. Ю. Шведовой является первым серьезным исследованием в области синтаксиса русской разговорной речи за последнее время, пролагающим пути для дальнейшей работы в этой области. Было отмечено также, что работа Н. Ю. Шведовой является значительным вкладом не только в русское языкознание, но и в общее языкознание, способствуя выяснению особенностей строя разговорной разновидности литературного языка (Б. В. Горнунг, О. М. Барсова).

Ученый совет Института языкознания АН СССР высказался за присуждение Н. Ю. Шведовой степени доктора филологических наук.

11 января 1958 г. в Йошкар-Ола общественность Марийской АССР отметила 75-летие со дня рождения основоположника марийского языкознания, почетного члена Финно-угорского общества в Финляндии, доктора филологических наук В а л е р и а н а Михайловича Васильева.

В. М. Васильеву, марийцу, вышедшему из крестьянской семьи, первому доктору советского марийского языкознания, принадлежит более 200 печатных работ по лексикографии, научной и практической грамматике, по диалектологии марийского языка, а также фольклору и народной музыке его народа. В. М. Васильев широко известен в Марийской республике и как переводчик на родной язык Конституции РСФСР, революционного гимна «Интернационал», а также ряда художественных произведений русских классиков (Пушкин, Крылов).

14 марта 1958 г. состоялось торжественное заседание Ученого совета филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, посвященное 60-летию со дня рождения и 40-летию педагогической и научной деятельности доктора филологических наук профессора МГУ Е д о к и М и х а й л о в н ы Г а л к и н о й - Ф е д о р о в к. На заседании были оглашены приказы, приветствия, адреса и телеграммы Министерства высшего образования СССР, Министерства просвещения РСФСР и от ряда научных учреждений и высших учебных заведений как Москвы, так и других городов. Юбилера тепло приветствовали профессора университетов, пединституты, делегация учительства, студентов, издательства, редакций и т. д.

14 апреля с. г. в Киеве Академия наук УССР и Киевский университет им. Т. Г. Шевченко провели совместное торжественное заседание в связи с 70-летием со дня рождения и 50-летия научной и педагогической деятельности академика АН УССР, члена-корреспондента АН СССР, Л е о н и д а А р с е н ь е в и ч а Булаховского.

Со вступительным словом, в котором была дана характеристика Л. А. Булаховского как ученого и как человека, выступил председательствовавший на собрании президент АН УССР академик А. В. П а л а д и н.

Министр просвещения УССР академик Укр. АН И. К. Белодед сделал доклад — «Наукова діяльність Л. А. Булаховського».

После доклада был заслушан ряд приветствий от собравшихся киевских ученых, а также от представителей прибывших на юбилей делегаций из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Харькова и др. городов. Была оглашена и часть полученных многочисленных адресов и телеграмм, поступивших на имя юбилера от АН СССР, национальных академий, университетов, пединституты страны, а также и от зарубежных ученых и научных учреждений братских социалистических республик (Чехословацкая Академия наук, Карлов университет и др.).

В ответном слове, произнесенном частью на русском и частью украинском языках, Л. А. Булаховский выразил свою глубокую благодарность всем отметившим значительные для него даты.

9 апреля состоялось открытое заседание Ученого совета филологического факультета МГУ, посвященное памяти акад. М. М. Покровского (1869—1942), выдающегося русского филолога, лингвиста и литературоведа, 40 лет научной и педагогической деятельности которого прошли в стенах Московского университета.

Первым выступил бывший слушатель лекционных курсов М. М. Покровского, проф. МГУ С. И. Раддиг. Он охарактеризовал своего учителя как необычайно глубокого исследователя и блестящего лектора. Краткий анализ ряда лингвистических работ акад. М. М. Покровского дал проф. Н. С. Чемоданов. Доклад «Исследования М. М. Покровского в области семасиологии» сделал акад. В. В. Виноградов. Проф. А. И. Ефимов остановился в своем выступлении преимущественно на исследованиях акад. М. М. Покровского в области метафоризации слов. О литературоведческих исследованиях М. М. Покровского сделали сообщение член-корр. АН СССР Д. Д. Благой и доц. Ю. Б. Виннер.

Всесоюзная гос. библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ) продолжает начатую в 1955 г. публикацию труда «Систематический указатель статей в иностранных журналах. Языкознание и методика преподавания иностранных языков»¹. Вышли в свет три годовых выпуска этого издания (по 15—17 печ. листов каждый). Указатели отражают журнальные поступления не только ВГБИЛ, но и других крупнейших библиотек Москвы (в первых трех выпусках содержатся сведения более чем о 7 тыс. статей, опубликованных в 1954, 1955 и 1956 гг. в 160 периодических изданиях и сборниках). Материал в каждом выпуске располагается по отдельным языковым группам и языкам; специальные разделы указателя посвящены информационным сведениям о состоянии языкознания за рубежом, персоналиям лингвистов, основным вопросам общего языкознания, теории и практике перевода, рецензиям.

В Англии в апреле 1958 г. началось издание нового международного журнала «Язык и речь» («Language and speech»), редактируемого Д. Б. Фрайем в сотрудничестве с Ф. Гольдман-Эйслер, П. Динесом и А. К. Гимсоном. Среди основных тем, которые будут освещаться в журнале, редакция выделяет следующие: структура языка, психология языка и речи, передача и принятие речи, машинный перевод, автоматическое распознавание и автоматический синтез устной речи, языковая статистика, расстройство языка и речи. Предполагается, что в журнале вокруг основных проблем исследования языка и речи объединятся лингвисты, философы, логики, психологи, физиологи, физики, инженеры, статистики. В первом номере журнала печатаются следующие статьи: К. С. Харрис (Лаборатория Хаскинс, Нью-Йорк) «Ключ для различения фриктивных согласных американского английского языка в произносимых слогах»; Г. Хердан (Бристольский ун-т) «Соотношение между функциональной нагрузкой фонем и частотой их употребления»; А. Р. Лурья (Московский ун-т) «Афазия и анализ речевых процессов»²; Д. В. Фрай и П. Динес (Университетский колледж, Лондон) «Решение некоторых основных проблем автоматического распознавания устной речи»; Ф. Гольдман-Эйслер (Университетский колледж, Лондон) «Речевой анализ и мозговые процессы». Программа журнала имеет общие черты с программой немецкого журнала по прикладной лингвистике «Sprachforum», но, в отличие от последнего, в журнале «Язык и речь» предполагается главным образом публикация работ по новейшим областям прикладной лингвистики (при этом в основном будут печататься работы, основанные на результатах экспериментальных исследований). Сфера, охватываемая программой журнала и отвечающая насущным интересам развития прикладного языкознания и смежных дисциплин, соответствует кругу вопросов, которыми занимается недавно созданный у нас Комитет по прикладной лингвистике (см. ВЯ, 1958, № 3).

¹ Заказы на эти продолжающиеся издания (их примерная стоимость 7—8 руб.) следует направлять по адресу: Москва К-9, Брюсовский пер., д. 8/10, Изд-во Всесоюзной книжной палаты.

² Информацию о новейших работах А. Р. Лурья редакция предполагает поместить в одном из следующих номеров журнала.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Доклады к IV Международному съезду славистов

- В. И. Борковский. Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков.— М., 1958. 47 стр.
- В. В. Иванов и В. Н. Топоров. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков.— М., 1958. 41 стр.
- С. И. Котков. «Слово о полку Игореве» (Заметки к тексту).— М., 1958. 43 стр.
- П. Н. Берков. Русско-польские литературные связи в XVIII веке.— М., 1958. 63 стр.
- Д. С. Лихачев. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России.— М., 1958. 67 стр.
- Д. Ф. Марков. Проблема генезиса социалистического реализма в болгарской литературе.— М., 1958. 52 стр.
- В. Я. Пропп. Основные этапы развития русского героического эпоса.— М., 1958. 34 стр.
- П. Н. Третьяков. Итоги археологического изучения восточнославянских племен.— М., 1958. 35 стр.

Вопросы советской науки. Вопросы лексикологии, семасиологии и теории лексикографии. Сост. бригадой специалистов под руков. члена-корр. АН СССР С. Г. Бархударова.— [М.], Изд-во АН СССР, 1957. 24 стр. (Академия наук СССР).

Вопросы советской науки. Проблема образования и развития литературных языков. Сост. бригадой специалистов под руков. акад. В. В. Виноградова.— [М.], Изд-во АН СССР, 1957. 20 стр. (Академия наук СССР).

Западные языки и литературы. II (1958), № 1. [На китайск. яз.; содерж. паралл.— на китайск., русск. и англ. яз.].

Информационный бюллетень ЮНЕСКО, 1958, №№ 21, 22, 23.

Третья научная сессия 8—11 апреля 1958 г. План работы и тезисы докладов.— Тбилиси, 1958. 55 стр. (Тбилисский ун-т, филол. фак-т).— На груз. и русск. яз.

Ученые записки [Борисоглебск. пед. ин-та]. Вып. IV.— 1958. 195 стр.

Н. Д. Андреев и Б. В. Братусь. Индонезийская транскрипция русских слов.— Л., 1958, 16 стр.

Дж. А. Гарибян. Лексика и фразеология Азовских повестей 17 века. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 29 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

А. А. Кривицкий. Формы личных и возвратных местоимений современного белорусского языка в их истории. Автореф. канд. диссерт.— Минск, 1958. 20 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

А. Курышжанов. Формы и значения падежей в языке Codex Sinaiticus. Автореф. канд. диссерт.— Алма-Ата, 1956. 15 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Казах. ССР).

Т. М. Николаева. Анализ русского предложения.— М., 1958. 24 стр. (Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР). Ротапринт. изд.

И. С. Рахманкулова. Видовое значение причастий в современном немецком языке. (На материале согласуемого определения). Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 14 стр.

Э. П. Стасюлевичюте. Отрицательные префиксы *un-* и *in-* в современном английском языке. Автореф. канд. диссерт.— М., 1958. 15 стр. (Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской).

Т. Н. Чернышева. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области. (Фонетико-морфологический обзор). Автореф. канд. диссерт.— Киев, 1957. 20 стр. (Киевск. ун-т им. Т. Г. Шевченко).

Л. А. Шелюховская. Структурно-морфологические типы сложных существительных и их продуктивность в современном русском литературном языке. Автореф. канд. диссерт.— Алма-Ата, 1958. 19 стр. (Алма-атинский пед. ин-т им. Абая).

Б. М. Гавришків. Борьба Г. Е. Лессинга за обогащения немецкой литературной речи.— Львів, 1957, 43 стр.

Б. М. Гавришків. Німецька літературна мова XVIII століття в критичній оцінці Г. Е. Лессинга.— Львів, 1957. 51 стр. (Український поліграфічний ін-т ім. Івана Федорова. Кафедра іноземних мов).

Татар әдәбиәтенең алфавиты һәм орфографиясе (Алфавит и орфография татарского языка).— 1958. 27 стр. (Казан филиалы тел. әдәбияты һәм тарих ин-ты).

Akademiķis Jānis Endzelīns. Bibliografija.— Rīgā, 1958. 108 стр. («Padomju Latvijas zinātnieki». Latvijas PSR Linatņu Akadēmija. Fundamentālā bibliotēka). Тит. л. и предст. паралл.— на латышск. и русск. яз.

E. C o s e r i u and I. W. V á s q u e s. For the unification of the Phonic sciences: A Provisionary scheme.— Montevideo, 1952. 9 стр. (Universidad de la república. Facultad de humanidades y ciencias. Instituto de filología. Departamento de lingüística).

E. C o s e r i u. Sistema, Norma y Habla.— Montevideo, 1952. 67 стр. (Facultad de humanidades y ciencias. Instituto de filología. Departamento de lingüística).

Esperanto triumfanta. Organo de Esperanto-societo de Minas Gerais. Jaro 3-a. № 13 (1).— Belo Horizonte, Brasil, 1957.

E. E i c h l e r. Die Orts- und Flussnamen der Kreise Delitzsch und Eilenburg,— Halle (Saale), 1958. 252 стр. («Deutsche-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte», № 4).

The international language review. A clearing house for facts, theories and fancies on the history, science and bibliography of the international language movement, vol. IV, № 9—10, oct. 1957 — march 1958.

Język polski. Organ T-wa miłośników języka polskiego. XXXVII, 2.— Kraków, Marzec — Kwiecień, 1957. 160 стр.

R. J a k o b s o n, G. H ü t t l - W o r t h, G. B e e b e. Paleosiberian peoples and languages. A bibliographical guide. New Haven, 1957. 222 стр. Behavior science bibliographies).

Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego. 3—4 (16—17).— Warszawa, Państw. wyd. naukowe, 1956. 365 стр.

L. J. P i c c a r d o. El concepto de «Oración».— Montevideo, 1954. 37 стр. (Universidad de la república. Facultad de humanidades y ciencias. «Investigaciones y estudios»).

L. J. P i c c a r d o. Le concept de «Parties du Discours» (with an English summary).— Montevideo, 1952. 23 стр. (Universidad de la república. Facultad de humanidades y ciencias. Instituto de filología. Departamento de lingüística).

Poradnik językowy. Miesięcznik Redakcji Słownika języka polskiego. Rok 1957, zes. 4 (149).— Warszawa, «Wiedza powszechna», Kwiecień, 1957. 192 стр.

J. P. R o n a. La Obra de federico brozny en el dominio indoeuropeo.— Montevideo, 1957. 105 стр. (Universidad de la república. Facultad de humanidades y ciencias. Instituto de filología. Departamento de lingüística).

Scienca revuo. Oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista. Eldonado de J. Muusses purmerend Nederlando. Vol. 9, №№ 2—3 (34)—35.— I—III, 1958.

H. B i r n b a u m. Untersuchungen zu den Zukunftsschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen. Ein Beitrag zur historischen Verbalsyntax des Slavischen.— Stockholm. 1958. 327 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. А. Бокарев (Москва). Смычногортанные аффрикаты прадагестанского языка (опыт реконструкции)	3.
Вяч. В. Иванов (Москва). Проблема языков <i>centum</i> и <i>satem</i>	12
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ	
В. И. Григорьев (Москва). Несколько замечаний о структурализме и семантике	24
Р. А. Будагов (Москва). Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния	37
Е. А. Седелник о в (Новгород). Несколько слов о синтагматической теории	51
Б. В. Горнунг (Москва). К дискуссии о балто-славянском языковом и этническом единстве	55.
ДЕЯТЕЛИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ	
С. Г. Бархударов (Москва). Академик С. П. Обнорский (К семидесятилетию со дня рождения)	63.
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ	
А. В. Суперанская (Москва). Международный алфавит и международная транскрипция	78
Г. Ф. Благова (Москва). Соотносительные глагольные формы и их развитие в узбекском литературном языке	86
В. И. Абаев (Москва). Из истории слов	96
ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ	
Жан Фурке (Страсбург). «Синхроническая» точка зрения при изучении германских литературных языков и диалектов	99
Л. Андрейчин (София). К вопросу о влиянии русского языка советской эпохи на развитие современного болгарского языка	103
Рефераты	105.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Обзоры	
А. В. Степанов (Москва). Вопросы стилистики художественной речи в «Ученых записках» и «Трудах» (1955—1957)	108
Рецензии	
В. Н. Тоноров (Москва). <i>K. Moszyński. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego</i>	116
Л. А. Булаховский (Киев). <i>Chr. S. Stang. Slavonic accentuation</i>	124
О. Н. Трубачев (Москва). Новые этимологические словари славянских языков	129
Н. С. Ашукин (Москва). Словарь языка Пушкина. Т. II.	136
А. К. Боровков (Ленинград). <i>С. С. Майзель. Изафет в турецком языке</i>	137
М. Я. Немировский (Ростов н/Дону). <i>Г. В. Рогова. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках</i>	140
Г. А. Климов (Москва). <i>А. А. Чагарели. Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков</i>	141
З. Н. Левит (Минск). <i>G. Gougenheim, R. Michêa, R. Rivenc, A. Sauvageot. L'élaboration du français élémentaire. Étude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base</i>	142
И. А. Мельчук (Москва). <i>H. Frei. Le livre des deux mille phrases</i>	144
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ	
О создании Института русского языка АН СССР	146
В. В. Палагина (Томск). Изучение сибирских говоров в Томском университете	147
М. Карась, С. Шлиферштейн (Варшава). О работе над словарями польского языка XVI и XVII вв.	148
М. Карась (Варшава). Заседание Комитета языкознания Польской Академии наук	150
В. П. Берков (Ленинград). Письмо в редакцию	152
Хроникальные заметки	152
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	157

S O M M A I R E

Articles: E. A. B o k a r e v (Moscou). Les affriquées occlusives glottalisées du proto-daghestanien (Essai de reconstruction); V. V. I v a n o v (Moscou). Le problème des langues centum et satəm; **Discussions:** V. I. G r i g o r i e v (Moscou). Quelques remarques sur le structuralisme et la sémantique; R. A. B o u d a g o v (Moscou). Le système de la langue et la délimitation de son histoire et état moderne; E. A. S e d e l n i k o v (Novgorod). Quelques remarques sur la théorie syntagmatique; B. V. G o r n u n g (Moscou). Une contribution à la discussion sur l'unité linguistique et ethnique des langues balto-slaves; **Personnalités de la linguistique soviétique:** S. G. B a r k h o u d a r o v (Moscou). 70-ième anniversaire de l'académicien S. P. O b n o r s k i; **Communications et notices:** A. V. S o u p e r a n s k a i a (Moscou). L'alphabet international et la transcription internationale; G. F. B l a g o v a (Moscou). Les formes verbales correspondentes et leur développement dans la langue ouzbek littéraire; V. I. A b a y e v (Moscou). De l'histoire des mots; **Matériaux publiés dans les périodiques étrangers:** Jean Fourquet (Strassbourg). L'introduction du point de vue «synchronique» dans l'étude des langues littéraires et des dialectes du domaine germanique; L. A n d r e i t c h i n e (Sofia). A propos de l'influence du russe de l'époque soviétique sur le développement du bulgarien moderne; **Comptes rendus; Critique et bibliographie; Vie scientifique:** Sur l'organisation de l'Institut académique de la langue russe en URSS. V. V. P a l a g h i n a (Tomsk). L'étude des dialectes siberiens à l'Université de Tomsk; M. K a r a ś, S. S c h l e f e r s t e i n (Varsovie). Le travail au dictionnaire du polonais de XVI—XVII siècles; M. K a r a ś (Varsovie). Réunion du Comité de linguistique générale de l'Académie des Sciences polonaise; V. P. B e r k o v (Léningrad). Lettre à la rédaction.

C O N T E N T S

Articles: E. A. B o k a r e v (Moscow). The glottalized occlusive affricates of the Proto-Daghestanian language (An experiment of reconstruction); V. V. I v a n o v (Moscow). The problem of the centum and satəm languages; **Discussions:** V. I. G r i g o r i e v (Moscow). Some remarks on structuralism and semantics; R. A. B o u d a g o v (Moscow). The system of language and the delimitation of its history and modern state; E. A. S e d e l n i k o v (Novgorod). Some remarks on the syntagmatic theory; B. V. G o r n u n g (Moscow). Contribution to the discussion on the Balto-Slavonic language and ethnic unity; **Personalities of Soviet linguistics:** S. G. B a r k h o u d a r o v (Moscow). The 70th anniversary of academician S. P. O b n o r s k y; **Notes and queries:** A. V. S o u p e r a n s k a y a (Moscow). The international alphabet and the international transcription; G. F. B l a g o v a (Moscow). Corresponding verbal forms and their development in the Uzbek literary language; V. I. A b a y e v (Moscow). From the history of words; **From foreign periodicals:** Jean Fourquet (Strassburg). The importance of the «synchronic» point of view in the study of germanic literary languages and dialects; L. A n d r e i c h i n (Sofia). The influence of Russian of the Soviet epoch on the development of modern Bulgarian; **Abstracts; Critics and bibliography; Scientific life:** On the organisation of the Academic Institute of the Russian language in the USSR. V. V. P a l a g h i n a (Tomsk). The study of Siberian dialects at the Tomsk University; M. K a r a ś, S. S c h l i e f e r s t e i n (Warsaw). Work on the dictionary of the Polish language of the XVI—XVII centuries; M. K a r a ś (Warsaw). The sitting of the general linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences; V. P. B e r k o v (Leningrad). A letter to the editorial office.

Г-07430 Подписано к печати 26 VII 1958 г. Тираж 8250 экз. Зак. 541

Формат бумаги $70 \times 108^{1/16}$ Бум. л. 5 Печ. л. 13,7 Уч.-изд. л. 15,8

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10